

июль 1966

7

В НОМЕРЕ

ПРОЗА

Николай ШЕИНАИОВ. Бсл, 11 ночь в окне, Д

Повесть

Альберт ЛИХАНОВ. Сто шестой элемент,

Рассказ

Игорь МИНУТКО. Одесский трамвай, Рассказ

П. БАГРЯК, Кто? Приключение- ЯП екая повесть .....

• ПОЭЗИЯ

Проект СМЕЛЯКОВ. Стихи, написанные на почте. Стихи, написанные в фотоателье.  
Стихи, написанные 1 Мая. Стихи, написанные ненароком . . .

Булат ОКУДЖАВА. На тихоокеанском берегу. Не о смерти. Александр Сергееч.  
Поэзия в столовке заводской л\*

Олег ДМИТРИЕВ, Окно напротив. Московское мгновение. Очередь 1946 го- }А да.  
Черепаша

Дондок УЛЗЫТУЕВ. Жаворонок. Напутствие. «И вот теперь уже сквозь годы...»  
Перевод с бурятского В. Ле- \\\ оновича .....

Дмитрий ГОЛУБКОВ, Страница старой »1 книги, «Цветет бузина...». Бессмертье J

30

Сергей ИОФФЕ, Баллада о костре

Валерий СУХАРЕВ. По Оке..... 39

Владимир БАРДИН. Топографы. «Я, как 5Q всегда, открою дверь...» , , , , л\*

Песни Новеллы МАТВЕЕВОЙ. Фокусник. Заклинательница змей. Цыганка-  
молдаванка. Пожарный. Песня про к тел. Страна Дельфиния. Вступительная статья  
«Песенная поэзия Новеллы Матвеевой» — Григория МЕДЫН-А4 Ж.Л

ского..... • — 04

• ПУБЛИЦИСТИКА

61

Илья ЗВЕРЕВ. Романтика для взрослых. и\*

Андрей БАТАШЕВ, Квинтет мастеров 67

Лев ТИМОФЕЕВ. Татьянины яблоки , , \*\*

Ю. ЗЕРЧАНИНОВ. Четыреста шестьдесят Jg первый толчок

• МОЕМУ ДАЛЬНЕЙШЕМУ ПОТОМСТВУ...»

К 90-летию со дня рождения М. М. Литвинова. Публикация и комментарии ЙД

3. Шейниса.....

Екатерина ШЕВЕЛЕВА. Дин Рид — гость 4ПА «Юности».....

ФСРЕДИ КНИГ

82

Маленькие рецензии и аннотации

ШЭСТРАДА

93

А. АЛЕКСЕЕВ. Я — конференсье

• НАУКА И ТЕХНИКА

99

Рэм ПЕТРОВ. Биологические химеры

• СПОРТ

108

Елена СЕМЁНОВА. Девяносто шесть . . . , ие

т п ц х л 1 с о е

111

Г. РЫКЛИН. Его любимое занятие ...

112

Феликс КРИВИН. Маленькие новеллы , †

На 1 — 4-й страницах обложки рисунок Л. КАРТАШЕВА.

Портреты Николая Жернакова (стр. 3), Альберта Лиханова (стр. 28) и Игоря Минутко (стр. 35) работы художника В. КРАСНОВСКОГО.

Художественный редактор Ю. Цишевский.

Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского, 52. Тел. Д 5-17-83.

Технический редактор Л. З я б к и н а.

Рукописи не возвращаются.

А 10645. Подп. к печ. 11/VI 1966 г. Формат бумаги 84x108'/ie. Объем 7,25 физ. печ. л, — 12,18 усл. печ. л.

Тираж 2 000 000 экз. Изд. № 1349. Заказ № 1483.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина, Москва, А-47, ул. «Правды», 24.

## ПОВЕСТЬ

Николай ЖЕРНАКОВ

Белая ночь в окне

Глава первая

Трудно сказать, который час. На Северной Двине июнь, а в это время ночи пронизаны светом междузорья. Вечерняя заря потухла, обесцветила небо, но не омрачила его. Серебристо-матовый свет льется неведомо откуда, словно и сверху и от самой земли. Сквозь него мягко прочерчиваются гребни лесных вершин вдаль, но вблизи четко обрисовано каждое дерево. И сосновая рощица на холме, рядом с поселком, проглядывается насквозь.

К полуночи, перемежаясь, затихли птичьи голоса. Они, как всегда, угасли вместе с зарей. Но она уже скоро снова затеплится почти на том же месте, где затухала. Вот-вот надо ждать новых песен.

Садик смородины и малины прижился и хорошо разросся под окном. Даша сама осенью посадила его и теперь радовалась лесным музыкантам. Они избрали местом своих зоревых сборищ ее любимые кусты.

Надо бы распахнуть окно, но даже убрать занавески она не решается. Не потому, конечно, что тот, кто сидит напротив окна, на пне, на берегу речки Вайнушки, может подумать, что Даша не спит из-за него. Нет, ей просто лень подняться.

А сон все не приходит. Прислонилась виском к спинке кровати, металл приятно холодит лоб, даже голова перестала болеть. А что в груди пустота какая-то — тек чего ж ты хочешь, Дарья Борисовна? День-деньской покрутишься в делянках, идешь домой — ноги гудят.

Сегодня шла, думала: как через порог Шагну, так и свалюсь. А тут, видишь, какой сон! Сон наяву...

За тонкой стеной-перегородкой сегодня не слышно обычного в этот час храпа. Неужели и соседка не спит? Скорее всего не спит, слушает. Прижала ухо к своему коврику с лебедями и слушает. А может быть, тоже смотрит в окно. Из-за косяка, прикрыв лицо занавеской, следит за ним, угадывает: что он за человек? Она ведь страшно любопытна, Дашина соседка. А сама Даша разве не такая же? Нет, полно искать недостатки в других, полно!

— Вот и кавалера, слава богу, завели, Дашенька... — пропела соседка, едва лишь Даша вечером после работы ступила на крыльцо.

— Вы о чем?

Соседка только поджала губы. Дескать, не хотите откровенно, не надо.

Но тут же — не утерпела — пояснила:

— Уж два раза наведывался сюда один. Молодой такой. И не скажу, чтобы некрасивый. В шляпе.

«Кавалер»... Слово-то какое противное. Даша — и «кавалер». Не вяжется. А может, это не он приходил? Кто же тогда?

— Да вот он вышагивает, спрашиватель ваш, — соседка кивнула в сторону поселка.

Даша взглянула. Владимир... Она потерялась, схватилась за соседкино плечо, быстро шепнула:

— Прошу вас... Прошу... Меня нет дома, — и, чуть не столкнув ее с крыльца, рванулась в свою комнату.

У соседки любопытством загорелись глаза. Немедля шмыгнула вслед за Дашей.

— Хорошо... Пусть вас дома нет. Да когда он спрашивает, чего я должна ему говорить?

— Что хотите. Ну... уехала, ушла, неизвестно когда будет. Только, бога ради, подите, подите к нему!

Соседка вышла. Даша сидела ни жива, ни мертва, улавливала разговор в коридорчике. И удивительно! Почему-то только тут и поняла, что соседка еще тоже молодая. Да и голос у нее перестал скрипеть, совсем изменился, наполнился силой и певучестью:

— Вы опять к нам? Пожалте...

Владимир пробормотал в ответ что-то невнятное. И снова ее певучий голос:

— Нет ее. Ушла и не сказала, когда будет. У нее ответственная работа, знаете ли...

Вот как распелась: «Знаете ли, знаете ли...» Кто ее просит о работе? И отчего это она вздумала жеманиться?

Вместе с досадой на явное жеманство соседки вспомнилось Даше давно забытое выражение лица Владимира. Когда женщина ему нравилась, он принимал томный, чуть задумчивый вид человека занятого. В то же время как бы давал понять, что он рад.

Неужели, и расспрашивая о Даше, Владимир кокетничает?

— Что за работа у товарища Обуховой, это не секрет?

— Нет, зачем же! Она начальник какой-то. Над дорогами, что ли... Да, над лежневыми.

Шорох тяжелой наружной двери. Потом нарочито испуганный вскрик:

— Ой, ой! Подождите-ко... А как о вас сказать-то? Зовут-то вас как?

И приглушаемый дверью ответ:

— Скажите: «Спрашивал Владимир».

Даша выскочила в коридорчик, как только за Владимиром закрылась дверь.

Какое сияние на наивно-догадливой физиономии соседки! Она, кажется, рада? Чему же? Очень все неприятно...

— Пожалуйста, и в десять меня нет... — заторопилась Даша. — Да-а... Лучше скажите, чтобы совсем не приходил больше.

Соседку даже передернуло:

— Что я вам — почта?!

Даша непонимающе поглядела на нее и, спохватившись, смешалась еще больше:

— Простите, Алевтина Ивановна... Ведь, кроме вас, некому.

И стыд за свою беспомощность и досада на себя за это и на то, что никого нет, кроме Алевтины Ивановны, которая теперь знает так много, — все разом захватило Дашу, мешало собраться с мыслями, принять какое-то важное, срочно необходимое решение. То краснея, то бледнея, она только говорила просяще:

— Это так важно... Очень важно.

В глазах соседки заиграла полуулыбка, полуусмешечка. Следовало бы оборвать ее, поставить на место, а надо молчать и слушать:

— Ладно уж вам... Передадим все как надо...

Что она думает, эта женщина? Даша еще поговорит с начальником лесопункта об этой Алевтине Ивановне. Заведующая клубом, а все время дома. Да еще открыто признает, что вся ее работа — висячий замок: «Открыть да закрыть». В клубе бывает лишь какое-то подобие танцев да изредка кино. Скука. Зато рядом, за стенкой, идет другая работа: соседка бойко рисует коврики с лебедями, с лодкой, с влюбленными, с луной и пальмой. Поселок, кажется, уже насыщен ими. Теперь Алевтина Ивановна взялась за колхозников, носит свои изделия в соседнюю деревню. Вот «просветитель»!

Но какое Даше дело сейчас и до самой соседки и до ее занятий? Ах, да! Надо, чтобы она сказала ему. Сказала ему... Отказала ему...

— Идите-ка отдохните, Дашенька. Будьте покойные, все как есть передам. Как он подъявится уже ввечеру-то, так и... будьте покойны.

И он «подъявился». И снова в голосе Алевтины Ивановны были те же ужимочки. Хотелось выбежать в коридор, оттолкнуть Алевтину Ивановну. Увести Владимира к себе.

Но в ту же минуту представилось, как соседка поутру разносит по поселку смачную сплетню. Дойдет до Саши...

Даша по собственному опыту знает силу поговорки «Клевета — как сажа: не обожжет, так замазает». И она сидела в комнате и невольно слушала разговоры. В голосе Владимира не было давешнего кокетства.

— Надеюсь, комната ее не на замке? Разрешите, может быть, взглянуть?

Тут Даша и сделала глупость, как это бывало и раньше с нею, когда она растеряется. Ну кто ее просил вмешиваться? Кто ее толкнул, прежде чем Алевтина Ивановна собралась с ответом, самой распахнуть дверь и встать на пороге? Кого она хотела удивить? Но дело было сделано. Владимир остолбенел.

— Нельзя вам в комнату, Владимир Петрович! Прошу вас уйти... Не беспокойте людей по пустякам...

Вот так. Эффектно?

Вслед за тем Даша захлопнула дверь. Задохнувшимся голосом Владимир крикнул: «Дарюш!»

Когда-то для нее музыкой звучало это «Дарюш». Цену ему знали только они двое. Теперь, хлопнув дверью, Даша разорвала «Дарюш» надвое: «Дар...» — громкое и ясное — унесла в комнату, а «юш» — глухое и тревожное — осталось у него, за дверью.

Она щелкнула ключом в замке и села к своей одинокой кровати на табуретку. Тут она и сидит без движения с той самой минуты.

Он тоже сидит против ее окна, на берегу Вайнушки. Часто курит. Или, вдруг вскочив, ходит по-над рекой, то снимая, то надевая шляпу.

По бурной воде лесной речушки стихийно — модем — плывут бревна. Плывут так густо, что вода только кое-где пробивается тусклым окошечком. И кажется, что это не бревна несет по реке, а застывшие в дремоте ели и сосны неудержимо движутся по другому берегу. А человек этот, на фоне желтовато-коричневой от бревен реки и зеленого леса за ней, так одинок в глухой таежной замяти, так непонятен в своем черном костюме и мягкой шляпе...

И не поймет Даша, жалко ли ей этого человека, или жалко только прошлого, или то и другое вместе.

Может, все это снится ей, встает в памяти, чтобы предостеречь? Саша, кажется, скоро станет совсем родным, и тогда судьба ее опять сделает крутой поворот.

Владимир все не уходит. Чужой и ненужный в этом белесом мягком свете июньской ночи, он сидит, ходит, маячит под окном.

Вот он снова сел, закурил. Дымок папиросы вьется около полей шляпы. И Даша мысленно видит прищур его глаз, «коричневых в крапинку», как шутила она бывало.

Конечно же, Владимир чувствует себя обиженным. И поэтому — она знает — глаза его затенены печалью: обижен-то он, по его мнению, несправедливо. Как же! Оскорблены его самые лучшие чувства.

Вьется дымок, вьется. Владимир размахивает его рукой. Отгоняет дым и комаров.

## Глава вторая

Проклятые комары! Днем Владимир их не замечал. А сейчас и дым от папиросы их не берет. Владимир краем глаза следит за окном. Хотя оно и занавешено, Даша, наверное, наблюдает. Не впустить его в комнату!.. Дикость! В соседнем окне изредка шевелится занавеска. Наверное, соседка Дашина не спит. Ей-то зачем не спать? Хотя она так выгибалась, что... Тьфу! Глупости все.

До Дашиного окна не больше двадцати метров. Владимиру вдруг стало жалко себя до боли в висках. Что за судьба? Казалось, уже достиг многого, вот-вот и на вершине. Но потом история с Дашей, ссора с начальством — и все лотит к чс-ріу! Другим сходит, а он как проклятый.

Отстанут ли в конце концов комары? Звенят, лезут в уши, в нос, в рот...

Эх, Дарюш, Дарюш... Ведь сама виновата! Нет того, чтобы поддержать человека, помочь, понять его. Взяла и ушла совсем. А может быть, она не верит в него? Ну, это уж вряд ли... Она всегда восхищалась его талантом. О Володиных талантах спорили еще его отец с матерью.

— Вот ты, Поленька, — говорил отец, — где нашла себя? Врач, и неплохой врач. А случись с тобой театральное несчастье, была бы ты посредственной актрисой.

— А ты, Петя, готов все человечество агрономами сделать, — язвила мать.

— И был бы на земле рай! — подхватывал отец.

— Счастье для человечества, Петр Николаевич, что руки у тебя коротки.

— Но когда у мальчика по агрономии «отлично», а по пению кол... Пойми же ты наконец!

— Ребенка надо было отдавать в музыкальное с пяти лет, а не совать его в школу, где педагоги не могут отличить нотную тетрадь от китайской грамоты!

Мама, конечно, и сейчас еще артистка. Врач-то она скорее по обязанности. Как-то она с восторгом и сожалением рассказала Володе историю своего неудачного театрального дебюта.

— Это у меня началось еще в детстве. Твоя бабушка пела в театре оперетты. Ах, какая это была артистка! Но протекции тогда ей не составилось, так она и оставалась в провинциальном театре. Там и голос потеряла. Ну и взялась за меня. К десяти годам я уже пела «Снегурочку». Все наши гости бывали в восторге. И в школьном драмкружке я была первой.

Тут мама задумалась, вспоминая сладкое время успехов. А Володя, хотя и был еще мал, с пониманием переждал грустную паузу.

— Все шло хорошо! — внезапно воодушевляясь, воскликнула мама. — Музыкальным образованием со мной занималась мамина подруга. Они подготовили меня в консерваторию. И я была бы там, если бы не твой папа!

— Что же он сделал?

— Тебе об этом еще рано бы знать, Володенька...

— Мамочка, расскажи!.. Я пойму.

— Ну так и быть. Все равно ты узнаешь когда-нибудь... — Она вздохнула. — Пусть уж лучше услышишь от меня самой, чем от людей.

Володя согласно кивал, хотя не понимал, почему было бы плохо услышать мамину историю от людей: в ней не было ничего таинственного, несмотря на таинственный вид мамы.

— Видишь ли, мы с папой стали друзьями, когда я еще училась в школе. Он преподавал у нас в девятых и десятых классах. И... как бы тебе понятнее объяснить... На выпускном вечере он сделал мне предложение.

— Хотел, чтобы ты стала его женой? — уточнил Володя.

— Представь, так оно и было! Но я тогда ему отказала. Отказала — и все. Глупышка была, конечно, но отказать хватило ума. Тогда папа бросился к маме, к бабушке твоей. Я не знаю, как он сумел ее убедить, только мама так все устроила, что уже через месяц мы с папой и в загс пошли. Это случилось в июне, а в конце августа он повез меня в Ленинград, в консерваторию, экзаменоваться.

— На артистку?

— На вристку, Володенька, по классу пения.

— И ты провалилась?! — Володя сделал большие глаза.

— Представь: провалилась! У меня совсем испортился голос. Самой было слушать противно! Не приняли.

— А потом?

— Что потом? Прошел год, я поступила на медицинский. Твой папа с бабушкой настояли. Он имел на нее такое влияние! Даже непонятно, почему. — Мама приподняла

плечи. — Она же была настоящая актриса, твоя бабушка! А вдруг: «В медицинский!» — и слушать больше ничего не хочет.

Мама взволновалась, обняла Володю.

— Но ты... Ты будешь артистом, Володенька! Маме твоей не пришлось, но ты будешь, будешь... У тебя талант! Папа не видит, а я вижу это...

«Да, да... Мама, конечно, была права. Ведь закончил же я музыкальное училище, хотя — из-за упрямства отца — и с большим опозданием. И не моя вина, что из училища послали в глушь, на Север. Завистники! Не дали продолжить образование. Ну и начались глупые разговоры: «Не нашел призвания, не нашел призвания! Артиста не получилось. Чушь!»

Однако эти комары сведут с ума!

Владимир вынул новую папиросу. С сожалением покачал головой: папирос в портсигаре почти не оставалось. Он сокрушенно вздохнул и снова оглянулся на Дашино окно.

Не одна Даша думала о Владимире. Алевтина Ивановна лежала в кровати, но не спала.

«Что меж них произошло? — думала она, вспоминая глаза Владимира. — Видать, образованный, да и красавец. Ишь ты, какой чернявый! С юга, должно. Не ложились им, что ли? Ну и что с того, что не ложились? А приехал, так тыпусти человека... Приласкай. Человек с дороги, видать, маяту маялся, перся сюда по нашему-то бездорожью, да в ботиночках-то... Может, у него вся надея была на тебя, может, он хочет все по-хорошему, по-честному...»

Чего только не нашепчет молодой женщине белая ночь да вынужденная бессонница! Уже Алевтина Ивановна ставит себя на место соседки и видит в ней если не соперницу, то не меньше, чем злодейку, бессердечную да и небольшого ума бабенку. «Экого сокола да не пустить ночевать, ежели уж была раньше промежду вами любовь!»

Рассуждая так, Алевтина Ивановна проникается вдруг сожалением к себе, к своей одинокой жизни. Крепко сжимает жаркую подушку. Потом садится на постели и время от времени поднимает глаза на фотографию, что висит против кровати на стене. С фотографии, дразня улыбкой, смотрит широколицый солдат в лихо заломленной к виску пилотке. Рядом с солдатом смеется счастливая Алевтина Ивановна.

Раздумья приводят Алевтину Ивановну почему-то к мысли, что «во всем виноваты такие вот сухопарые, как эта инженерша. У самих ни рожи, ни кожи, а финтят-вертят такими вот мужиками. И что получается? Ни себе, ни собакам, вот что получается!»

Алевтина Ивановна сердито смотрит, как «соседкин хахаль» прогуливается по берегу. Вскоре она ненадолго засыпает.

Даша поднялась с табуретки, на цыпочках, словно в комнате спал больной, прошла до стола, отпила два-три глотка молока из стакана. Она только сейчас вспомнила, что ничего не ела с обеда. Но и молока не хотелось.

Взглянула в окно.

Владимир опять поднялся с пенька, опять размеренно зашагал — замаячил взад-вперед. Дымок ленточкой тянется от его головы, в безветрии стоит крошечной голубоватой тучкой над елочным подростом. Вершинки елочек не доходят Владимиру до пояса. Казалось, он плывет в зеленой длинной лодке против течения, против потока бревен, устремленного к Двине.

Против течения... Он и по течению-то совсем не умел плавать. Впервые Даша села с ним в лодку там, на светлом проточном озере, около родной ее деревни. Владимир с маху бил веслами по воде, а лодка ни с места. Даша не могла удержаться от смеха.

— А еще говорил: «Чемпион по гребле». Дай-ка лучше я.

Он, неуклюже пробираясь в корму, нечаянно прижался к Дашиной спине. Долго не мог перешагнуть сиденье, будто ногой зацепился за него. Смущенно отшутился прямо Даше в ухо:

— Я ж не говорил, по какой гребле... Я чемпион только на байдарках. Знаешь, с двухлопастным веслом.

Вряд ли это было правдой. Удивительно легко иногда выговаривал Владимир заведомую неправду. Но Дашу это мало волновало. Волновали черная шевелюра, смуглые щеки, веселая усмешка на полных губах и главное — а может быть, и не это было главным? — Володя же артист, музыкант, художественный руководитель Дома культуры!

Что ж, Дарья, теперь ты как угодно можешь относиться к нему. Тебе уже кажется, что сегодня он назойлив. Но ведь было такое время, когда если бы тебе кто-нибудь сказал: «Беги от него, это плохой человек», — ты посмеялась бы над подобным чудачком. Так чего же винить его за прошлое? Ты посмотри на него, послушай его сейчас. Да погляди и в себя: может, ты любишь его? Может, ты ждала его?

Владимир услышал сильный треск на реке и встревоженно посмотрел в ту сторону. Ничего особенного: бревно на бревно наскочило (видно, в дно уперлось), полезло в берег, кромсая его торцом, как тараном. И, как бы негодуя на помеху, со стуком, шорохом, скрежетом соседние бревна стали толкать его, напирать на него со всех сторон. А оно, словно ища спасения, все глубже уходило в землю, и вскоре из берега торчал только комель длиной не более метра. Тогда нагромождение бревен рухнуло, река, словно утомленная борьбой, вздохнула, и вздох этот отозвался глухим звуком далеко-далеко.

Все успокоилось. Бревна так же неслись и неслись мимо. И уже нельзя было понять, которые из них только что лезли в драку. Казалось, им всем было некогда, все спешили, все они заняты неотложным делом.

Вот так. Походя выбросили товарища из своей компании. Да еще и в землю запихали — не мешай! И все опять пошло своим чередом.

А в жизни разве не так? Что изменилось, когда Владимира, по существу, выгнали из театра? А что-нибудь изменится, если он умрет сейчас? Разве не так же люди будут сплавлять бревна по этой глухой лесной реке? Разве не такие же белесые, насквозь просвечивающие ночи будут дремать над лесом, над этим поселком?

Да, ничего, ничего не изменится... Черт знает что за чушь эта жизнь! Стоило родиться, учиться, спорить, драться за местечко под небом, будто это очень важно и нужно...

Родной деревней Владимир считал Елатьму, стояла она в рязанских лесах. В ней он родился двадцать шесть лет назад в семье агронома Петра Сергеевича и врача местной больницы Полины Владимировны Обуховых.

В школе, в соседнем селе Шилькове, прошли восемь лет. Тогда в рязанских лесах была у него одна дорога: Елатьма — Шильково. Зато потом дорог образовалось столько, что глаза разбежались. И все-таки Владимир увидел свою.

Да... Далеко до Елатьмы от этого убогого поселка! А название у поселка, между прочим, словно в насмешку, развеселое — Комаринский. Вряд ли свое прозвище поселок получил от известной плясовой песни, скорее всего из-за обилия лесного зверья — комаров.

Владимир даже воротник поднял и отворотами лацканов прикрыл грудь, но комары все равно победно гудели, добывали его кровь.

Это было нестерпимо, и потому, наверное, в такой прохладной чистоте представляла в памяти заснеженная зимняя лесная дорога до Шилькова.

На пути по целине, напрямик через веселый лес, лежало пять километров полян, оврагов, холмов. Ежедневно, утром и вечером.

И вот дело пойдет, бывало, к весне. Утра станут пронзительно звонки и чисты. Лыжи зашипят под ногой, разламывая тонкую корочку предвесеннего наста. А сам лес, как песня. Ходит в вышине ветер, сосны гудят. Внизу синица «пенькает», пестрый дятел пускает трель.



Елка, погнутая в осеннюю бурю, скрипит в лад с гудом вершин. Даже тетеря — вспугни ее — сядет на березу, закокает, и все к месту, все входит в лесную песню.

Володя, бывало, рассказывал об этом за вечерним чаем. Тогда-то и зародился великий родительский спор о Володином призвании.

Петр Сергеевич пороется на полке, сунет сыну книгу, богато украшенную цветными иллюстрациями. Леса, цветы и птицы так и пестрили перед глазами Володи.

Полина Владимировна шурилась:

— Петя, не забивай ребенку голову! Он будет артистом... Его место на сцене. И оставь, Петя, свои уроки ботаники. Это вовсе ни к чему не ведет. Довольно того, что я по твоей милости...

Тут мама резко вставала, а папа, виновато пыхтя, уносил книгу.

Володе было жалко ярких картинок, но он сердито — по-маминому — поглядывал на отца. Конечно, Володя будет артистом! Чего же папа еще спорит, когда надо радоваться?!

Да-а... Папы давно нет. Пока он был жив, сын так и не смог поступить в музыкальное училище до окончания восьмилетки, а вернее, до отцовской смерти. Спасибо маме — устроила. Правда, поздновато, но Владимир добился своего. Вот только кругом завистники. Дорога в искусство нелегка.

### Глава третья

Владимир вздрогнул: кто-то тронул его за плечо. ММ Мелькнула мысль: «Сама вышла, Дарюш... Она всегда была понятлива...» Но тут послышался густой хрипловатый бас:

— Закурить не найдем, молодой человек?

За спиной стоял парень, высокий, угловатый, с длинными руками и тонкими, неприятно прямыми ногами. Он опирался на маленький блестящий багор с коротким ратовищем. Ноги в резиновых сапогах с такими широкими раструбами голенищ, будто он надел их специально на смех людям. Костистое большеносое лицо парня ничего не выражало, точно он и не спрашивал только что закурить, а так просто подошел да и стоит тут от нечего делать.

Пока Владимир разглядывал его, досадуя на свою ошибку, но злясь не на себя, а на Дашу, парень снова повторил вопрос своим глуховатым баском:

— Замахреть-то, говорю, не сообразим? — И добавил, как бы оправдываясь: — Гнус... проклятый одолевает бесподобно!

Признаться, Владимир даже взгрустнул при виде своего почти пустого портсигара, однако он — хотя и не без труда — поборол себя и протянул папиросы. Парень склонился и кой-как поймал красноватыми длинными пальцами папироску.

— Свои-то все уже сегодня выдымил. Гнус, — еще раз приказал он.

Владимир, сожалея, посмотрел: в портсигаре сиротливо раскатились по сторонам две последние папиросы. Парень достал спички из заднего кармана узких брюк (на нем все было тесное, узкое, точно он нарочно оделся так), закурил и с видом человека, которому давно знакомо все на этом берегу, уселся на соседний пенек рядом с Владимиром. Острые колени парня поднялись едва ли не вровень с подбородком. И стало вдруг видно, что это уже не парень и не молодой, а скорее пожилой человек. Редкая, но курчавая русая бородка, как пеплом, припорошена сединой.

Неверный свет ночи скрывал до этого и дряблость щек. Теперь же сразу стали видны все морщины. Лишь бородка несколько скрашивала лицо.

Некоторое время молчали. Владимир с горечью посмотрел на Дашино окно и недовольно покосился на гостя.

— Что вы тут с дрючком этим по ночам делаете? Он еще днем видел сплавщиков у реки с такими же дрючками, только у тех были дрючки подлиннее.

Человек затаился, но не заглотнул дым, а, отгоняя комаров, клубом выдохнул его перед собою. Он не удивился новому названию багра и коротко ответил:

— Сну нету. Беда с подобными ночами!

— А как же будете работать днем?

— Приобык уж. Да найду время, сосну маленько днем-то.

Гость сбил Владимира с мысли о Даше, о прошлом. Раздражение росло. Ему вдруг показалось, что этот человек все знает. Знает, зачем Владимир сидит здесь, знает, кто он такой. Вполне возможно, что его подослали. Эта уборщица (так почему-то в мыслях стал он именовать Алевтину Ивановну) вроде чего-то недоговаривает. В самом деле: пришел, сел, сидит. Нахал!

— К чему бы это? — вдруг недоуменно спросил человек, обращаясь скорее в пространство, чем к собеседнику.

«Не сумасшедший ли?» — осторожно посмотрел на него Владимир и спросил:

— Что?

— Да вот это... Белая ночь. Вовсе она ни к чему. Только сну нету от этого мерцания.

Владимир будто впервые осмотрелся вокруг. «Мерцания» он не увидел. По-прежнему текли мимо бревна. Они утекали и утекали в прозрачную белесую даль. Казалось, никогда не будет конца этому потоку.

И опять, едва Владимир остановил взгляд на кромке противоположного берега, поток вдруг остановился, и с тою же быстротой начала двигаться н<a берегу темно-зеленая полоса леса.

В далеком просвете зеленого коридора между берегами, на повороте, клубится над рекою туман. Позади, на холмах, меж невыкорчеванных пней, в глубоком покое стоят щитовые финские домики. Чудная ночь прошивает каждую улицу поселка, каждый просвет между домами, все вырисовывается четко; грани коньков у крыш видны даже лучше, чем при дневном свете.

В самом деле, разве это ночь? Разве можно спать в такую ночь? Да и то верно: к чему она? Прав этот чудак, прав. Была бы ночь черна, Владимиру легче было бы и с Дашей. Он тогда, пожалуй, еще постучался бы.

Человек уже докурил папиросу и сидел, положив бородку на багор, кинутый себе в колени.

— Наваждение, — подытожил он свои раздумья. — Совсем бесподобно! Но и неплохо, с другой стороны. Лесок плавить способно.

— Вы что, сплавщик? — спросил Владимир.

— Не-е, у брата я. Вроде в гостях, а вроде и по делу. Одежонки-то с собой, в лесу чтоб бродить, не захватил. Потянет меня ночью к речке, так я братнюю сгребу — и айда. — Он вздохнул. — Какое там сплавщик! Был конь, да изъездился.

— Сколько ж вам лет?

— Годы-то невелики, пятьдесят два всего.

— Война?

Владимир окинул глазами нескладную худую фигуру: руки, ноги на месте. «Легкие прострелены», — почему-то решил он.

— Война-то война, да не одна она, — вздохнул гость.

Смешно расспрашивать незнакомого человека. Так вот: ни с того, ни с сего. Да и зачем? Только бы он ушел скорее. Не мешал бы. Наверное, Даша уже одумалась и ждет. Не может того быть, чтобы ей не захотелось узнать, с чем он пришел к ней! А тут изволь беседовать.

Когда к Владимиру подошел странный гость, Даша ужаснулась, но совсем не по той причине, о которой думал Владимир.

«Боже мой! Все будто сговорились!» — воскликнула она.

Она говорила себе, что не хочет думать ни о Владимире, ни о его собеседнике, что у нее просто бессонница и стоит только лечь, как сон придет сам собой.

Даша рассуждала так, а сама с большим трудом сдерживала себя, чтобы не глядеть в окно.

В памяти всплыл прохладный вечерний борок, что стоял у озера на ее родине.

Да, они были в тот вечер, уже уходящий в ночь, в сосновом борке по-над озером. Борок — «Храм счастья», «Священная роща», «Оазис любви» — каких только названий не надавал ему Владимир! Они претили немножко своей шутливой пышностью, но это говорил Володя, и Даше было хорошо.

Он пришел на свидание чем-то взбудораженный и внутренне как бы отдаленный от нее. Такое с ним бывало уже не раз.

Будто невидимая холодная стена опускалась между ними, и тогда сквозь нее пытались пройти и не проходили искренние слова. Они затаивались глубоко около сердца. И появлялись вопросы, вроде: «Ты не скучал обо мне?» или «Какой чудесный вечер, правда?»

Даше было привычно брать на себя вину за ничем не вызванное с ее стороны отчуждение. Она робко гладила его щеку, стараясь пройти пальцами по нежной коже около мочки уха — так он любил, — и молча жалась к нему. Холодная стена рушилась, единственные для них двоих слова находились.

И так делалось хорошо, словно совершалось таинство. Дороже этих минут Даша, кажется, ничего не знала.

В тот раз Даше надо было сказать ему кое-что важное. Но у него был «минор», как любил он говорить в такие минуты. Он ничего не заметил, и у нее пропало желание говорить о том, заветном. Она спросила:

— Володя, ты еще не видел сегодня маму? Он только утром приехал из города.

— Маму? Нет.

— А ты не заметил, что мама обо всем догадывается?

— Неужели догадывается? — Он в изумлении посмотрел на Дашу, думая, очевидно, о чем-то своем.

— Да. Мне кажется, она меня насквозь видит. — Даше все еще хотелось пробиться к сердцу Владимира, чтобы он начал понимать ее.

— Ну, что она такое, твоя мама? Ты все преувеличиваешь!

— Она о нас... вместе думает. Вчера посмотрела на меня за ужином и спрашивает: «Где же вы, — говорит, — жить думаете, Дашенька?» Ты понимаешь? Мне хоть сквозь землю! Еще ничего, говорю, не знаем. «Что же он, — говорит, — твой-то, думает? — Это она про тебя. — Я согласна, мол, живите хоть у меня здесь. А дальше сами увидите».

— Где это здесь? — Владимир неприязненно сморщился, но глядел так, будто он ничего не понимает. — Где «здесь»?

— У нас, конечно!

— Дарюш, послушай, что я скажу... Садись вот сюда. — Он потащил ее за руку к берегу.

Нет, он совсем думает о другом. И дело тут не в его «миноре». Он просто далеко от нее. Как он не понимает, что с ней? Как он может не понимать, думать о своем, о другом, не о ней, не о них двоих?

Обида поднялась к горлу. Хотелось крикнуть, да только сглотнула судорожно. Но он и этого не заметил.

— Даша... Ты только послушай, что я скажу... Ты понимаешь, как я рад?! Да-ар-юш...

Владимир сжал ее плечи, стал целовать в щеки, в шею, в губы. Он и теперь еще не замечал, что она не отвечает ему.

Наконец Даша осторожно высвободилась. Чужим для себя голосом спросила:

— Чему же ты так рад, Володя?

— Во-первых, я рассчитался в Доме культуры.

— Почему?

— Ты же сама видишь. Кто меня здесь оценил? Только и слышишь: «Обухов туда, Обухов сюда...» Мотайся с концертами по району... А концертанты? Сплошь бездарь! Петушинные голоса! Я теперь в народном хоре...

— Кем же ты поступил... туда?

— Пока баянистом. Мне дадут квартиру... Не комнату, а квартиру. Директор филармонии так и сказал: «Поживете где-нибудь у знакомых, потом получите квартиру». Знай наших, товарищ Обухова!

Уже три месяца прошло с того часа, как Даша, девчонка, едва выскочившая из десятого класса, стала его женой, стала Обуховой. Но об этом не знала даже мама. Володя просил не говорить пока никому: «Твоя-то мама еще туда-сюда... Не дай бог, если дойдет до моей мамы! Она же — ты знаешь — запретила мне жениться».

— Володя...

— Что, Дарюш, ты рада? Она не ответила, спросила:

— Когда ты уезжаешь?

— Завтра. Передам свое хозяйство и поеду. Временный худрук уже есть. Порядок!

«Нет. Не скажу. Боюсь...»

Она боялась. Боялась его, может быть, нечаянного, бездушного, неосторожного слова. Боялась совсем потерять то, что так рано, так легко нашла.

Володя уехал. Обещал скоро перевезти ее в город, в новую квартиру. Она, веря и не веря, терпеливо ждала. Но ему, только-только заявившему о себе их первенцу, она запретила ждать. Оторвала от себя кусочек жизни... Теперь сыночку исполнилось бы уже семь лет. Владимир не знал и не узнает о том, что было. Вот что сделал тот вечер!

#### Глава четвертая

Незнакомец по-прежнему не смотрел на Владимира. Он и разговор-то вел, наверное, больше с самим собой и не особенно беспокоился, слушают ли его. Сидел все в той же странной позе: ноги, согнутые в коленях под острым углом, почти упирались в подбородок. Они давно должны бы затечь, но, казалось, этонисколько его не беспокоило.

— Конечно, сказать, парень я был ничего себе, здоровый. Чего бы мне не робить? На то рожден человек. Только ты себе думаешь: «Вот я ее за хвост да и шерсть стричь». А, глядишь, самого тебя остригли вчистую.

Он помолчал, отмахиваясь от комаров, Потом заговорил о другом. Но и это «другое» казалось естественным в его речи.

— Комара возьми. Есть в ём смысл? Нет как будто! А он, прохвостина, тот же тунеядец. Повадки-то у них одни. Скажем, о тунеядце. Кто он такой, ежели по-хорошему рассмотреть? Тот же кровопиец и гнус. Ему-то кажется, что он робит. А на поверку завсегда на шее у кого ни то сидит. То ли у папы с мамой, то ли вообще у народа. Нынче и тунеядец-то пошел с разумом... Он те не только водку пьет да кривые танцы танцует, он, бывает, и на службу с портфеликом ходит. И никак ты не возьмешь его. Сидит этакой дядя в своей конторе, как мышь в норе. А пользы от него пшик! Вонь одна.

Владимиру очень хотелось закурить. Но, закуривая, можно лишиться последней папиросы: надо будет, как ни жалко, угостить человека. И так и этак грел рукой в кармане портсигар, не решаясь вытащить его. В конце концов папиросы были вынуты и угощение предложено.

— Спасибо, — просто сказал незнакомец, впервые оборачиваясь. — Я ить куритель-то никакой. Так только балуюсь, когда, бывает, в грудях накалится.

Отказ почему-то не столько обрадовал, сколько огорчил Владимира. Он-то оберегал свой запас, он-то мучился, и все напрасно. Он в недоумении поглядел на раскрытый портсигар, где сиротски лежали остатки пачки «Беломора» — две папиросы. И, не закурив сам, медленно положил портсигар в карман брюк, чего никогда не делал раньше, если был в

пиджаке. И даже эта своя непонятная рассеянность огорчила его. Он сердито переложил портсигар на его законное место. Но все не мог успокоиться, будто пришелец в чем-то неожиданно усовестил его.

— Простите, вас как зовут? — спросил он примирительно. — А то сидим, разговариваем. Даже неудобно.

— Ничего, все удобно. Зовут меня, между прочим, Романом... Роман Фомич был от рождения, а по фамилии — Бальнев. У нас на Вологодчине целая деревня есть Бальневых. — Он усмехнулся. — Комедия была в сорок-то первом! Построили нас перед посадкой в теплушки, почитай что всю деревню. Командир вздумал учинить нам проверку. Ну и получилось: «Бальнев! Бальнев! Бальнев!» — кричит. Смеху подобно! Я возьми и высунься, потянуло меня за язык-то. «Восемнадцать, — говорю, — нас человек, Бальневых, товарищ командир! Чем, — говорю, — кричать, лучше бы подали команду: «Бальневы, два шага вперед!» И считай себе, сделай милость, пожалуйста!» Ну и заработал спервоначалу, еще не служимши, схлопотал себе наряд. До самой Москвы дневал в штабной теплушке у того командира на глазах. А у него, милого, чево-то по службе не ладилось. И пошпынял же он меня бесподобно!

Бальнев засмеялся неожиданно звонко, залиvisto, как мог смеяться тот вологодский парень, подшутивший над командиром в горячую минуту его службы. Потом посерьезнел:

— Один наряд внеочередь только и довелось мне заполучить на войне. А дальше все в очередь. Только те наряды посерьезней первого оказались, по-страшней, что ли, сказать.

После этих слов Бальнев долго сидел молча. И, глядя на него, Владимир вспомнил, как отец уходил на войну, и оттого, может быть, этот нелепо сгорбившийся на пне Роман Фомич Бальнев стал вдруг как-то ближе и понятнее. Владимир даже нашел некоторое сходство Бальнева с отцом, хотя в чем оно было, это сходство, он не мог бы сказать. И, однако, Бальнев чем-то напомнил отца. Может быть, своей инвалидностью?

Первый день войны не застал отца в Елатье. Он был в командировке. Через три дня пришла телеграмма: «Мобилизовался добровольно еду фронт подробности письмом Петр».

Телеграмма до сих пор хранится у матери в заветной шкатулочке вместе с другой телеграммой — о возвращении отца домой — и свидетельством о его смерти уже после войны.

Недолго довелось повоевать Петру Сергеевичу Обухову. Офицер запаса, политработник, он попал в свою часть в Смоленске в самые горестные для города дни. Скоро отец вернулся, но без ног. Без обеих.

На специальной коляске пылил он теперь по улицам Елатьмы. А когда земля требовала, чтобы он бывал на полях совхоза или в Шилькове, решительно взлетал на таратайку и мчался туда. Именно взлетал. Подкатив свою коляску к телеге, бросал в нее костыли, брался за роспуски жилистыми, темными руками и, качнувшись, перебрасывал свое квадратное тело на сиденье.

Володя не слышал, чтобы отец когда-нибудь пожаловался. Директор совхоза как-то подскокил посадить его в таратайку да еще при этом присказал жалостливо: «Каково тебе, Сергеич, без ног-то...» Отец отстранил его рукой так, что директор, попав каблуком в колдобину, едва удержался на своих крепких ногах. Уже из таратайки Петр Сергеевич пошутил суховато:

— Вам бы самому костыльки.

А в пятьдесят втором, в год окончания Володей восьмого класса, его отец погиб. Об этом случае и сейчас помнят в Елатье, да и во всей округе.

Зимой, под вечер, возвращался Обухов из Шилькова по той дороге, вдоль которой Володе было знакомо каждое деревце. Послышались крики о помощи. И позабыл старый агроном обо всем на свете. Замахал костылем так, что лошадь полетела птицей.

Два дюжих молодца грабили инкассатора. Она припозднилась в Елатье на работе и шла на село одна. Но за нею, как видно, уже подсматривали. И погибнуть бы женщине, да нагрянул нежданный спаситель. Он прямо с телеги достал костылем одного из грабителей,

тот так и остался у дороги навечно. Другой же успел-таки прострелить Петру Сергеевичу горло. Он и задохнулся насмерть, пока инкассатор, все выжимая из лошади, скакала с раненым агрономом обратно в Елатьму.

Владимиру вспомнилось сейчас лицо отца в гробу. Оно застыло как бы в удивлении. Вот, мол, как неожиданно вылетела жизнь из крепкого тела!

И вдруг Владимиру захотелось побольше узнать о судьбе своего собеседника. И комары перестали кусать, хотя их танцевало в воздухе отнюдь не меньше, чем десять минут назад.

Он торопливо закурил. Тронул Бальнева за локоть.

— На каком фронте воевали, товарищ Бальнев? Тот покачал головой.

— Не было мне счастья такого, не воевал. Обидел я себя бесподобно.

— Как?!

— Так уж. И себя обидел и других. — И, как бы впервые увидев Владимира, поинтересовался: — Ты что, не здешний, видать?

— Только утром приехал... По делам.

— То-то, я гляжу, обличье незнакомое. Я ведь давненько уж тут околачиваюсь, народ примелькался. Из леспромхоза? С проверкой какой, небось?

— Нет, по другому делу.

— Ин, ладно. По делу, так по делу. У всех дела да случаи. Вот и у меня случилось. Ты говоришь, фронт... Фронта мне и нюхнуть не пришлось. А горюшка хлебнуть довелось по завязку. И, думаешь, какая причина? Возомнил о себе много по молодости лет: «Мы-ста вояки. Нам все положено! Война все спишет».

Он, как бы озлясь на что-то, стукнул о колени ратовищем багра.

— Вот ведь, едрит твою по полям, что эта война навеивает! Кругом кровь, враг уж до Москвы того гляди доскоблится. А в иной башке: «Вали, действуй, раз счастье подпадет, на то война!»

Он горестно покрутил головой и продолжал:

— Из Москвы о ту пору направили нас в запасной, в городок один подмосковный. Пока, вишь ли, мы на фронте еще ни к чему были, без нас хорошо кровь проливалась. Нам, значит, ждать.

Ладно. Обжились, начальство распознали. В нашей роте такой командир был — отец родной, не командир! А я вроде связного. Другим в город ни-ни, а для меня у него завсегда дела находились. Потому, как он знает: в город-то мне позарез хочется, а подвести я его, командира-то, ни в жизнь не подведу! Васильков ему была фамилия. По имю-отчеству запомнить не пришлось: «Товарищ командир да товарищ командир» — и все.

А в город меня потянуло бесподобно, так что хошь через штрафбат, так все едино не удержался бы. Да-а... Вишь ты, получилось такое дело: закрутил я, значит, с одной. Ее Галей звали. Она в госпитале санитаркой, что ли, работала, ну, по-нонешнему сказать, няня.

Стакнулся я с ней нечаянно. В нашей роте заболели два солдата. Мне командир и препоручил сопровождать больных-то в госпиталь.

Ну, подъехали. Санитары к нам выходят с носилками, а с ими, значит, девчоночка. Невелика росточком, и по лицу... Ну, этак годков за двадцать, не более того. Чего случилось, не сказать, только посмотрели мы друг на дружку и, пока санитары уволокли одного больного в палату да пока другого стащили, между нами и того... Ну, может, еще не любовь, а так, глупость. Мне, вишь ты, сладко было в те поры даже за руку ее подержать, в глаза посмотреть. Ну, хоть и война кругом, а обнять на первый раз не вышло. Не то, чтобы она не далась, а глазами этак ожгла: «Нельзя. Стыдно!» И все. У меня и руки опустились.

Только она возьми да и спроси, буду ли я, дескать, еще приходиться. Я говорю:

— Служба. Как отпустят, воля не своя.

— А вы, — говорит, — с передачкой к больным. Востра!

Ну, командир, говорю, добрый... Зачастил я к ней. До поцелуев дело зашло.

Бальнев вдруг махнул рукой и нахмурился. Потом как бы изумился:

— И чего во мне? На физиономию я всегда был не так приметен. Рост бесподобный: она у меня вся за пазухой помещалась. А зацелует, бывало! Мороз меж лопаток. Но дальше поцелуев... Все! И думать не велела. Чудно так со мной насчет всего этого говорила, а вроде после того еще желаннее сделалась. Такая была, одним словом...

— Галя, — говорю, — ведь война, сегодня живы, а завтра покойники.

— Если, — говорит, — по закону, я могу, Ромушка (Ромушкой все меня величала), а так не надейся, мне честь девичья дороже жизни.

— Ну уж и жизни! — усмехаюсь так, знаешь...

А она только этак посмотрела, будто удивилась, что я, как придурок, со смешочками о ней думаю. И такое мне сказала:

— Люблю я. Понял? Совсем голову теряю, а не спрошу о тебе. Может, ты женат? Может, ты нехороший человек?

Представь, чуть было не брякнул, что женат, мол, и дитенок есть. Да тут ухарь-то во мне и скажись. Чтобы мне, думаю, да такую дивчину упустить из-за языка своего глупого! Кругом же война. И подумать сейчас тошно: промолчал ведь! А она смотрит в бесстыжие мои глаза да так памятно говорит:

— Смотри, Ромушка, обманешь, не жить мне. — Помолчала да и добавила еще: — И тебе тоже.

После таких ее слов мне стало мутно. Вижу, что от сердца говорит. Глаза у нее уж очень правдивые были. А дурак-то во мне молодой-то криком кричит: «Выкобенивается девка! Чего на нее смотреть-то?»

Как-то раз встречает меня (мы все в комнатке видались, у подружки у ейной). И такая-то счастливая! Достает из-за ворота карточку. Смотрю: красивый офицер, и хоть с усами, а вроде на нее обличьем-то смахивает. Ну, сердце все же екнуло: кто, мол, такой?

— Брат, — говорит, — прислал. Живой и невредимый, дорогой мой, Юрочка.

И карточку-то целует. У меня, дурака, инда слеза. Умела она это... выразить. Ну, ладно. Потом приласкалась ко мне, прямо голова вкруг.

И что с ней совершилось? До этого не давалась, чтобы там гимнастерку скинуть или, прямо сказать, сапоги. А тут — военное все долой. Сама в кофтенке в безрукавой, в юбчонке цветами.

— Красивая я, — говорит, — Ромушка?

А у меня и так туман в глазах. И вот, ей-богу... Можешь ты поверить? А как получилось, уж одно сказать, ум за разум зашкочил. Потом лежит она рядом, стало быть, жена женой. Это при живой-то моей Парасковье! Целует меня да только приговаривает:

— Навсегда... Я дождусь, хоть сто лет ждать буду.

А у меня, у сволочи, волосы ходят на голове! Потому, как дошло до меня, что подлюка-то я и есть.

Бальнев снова замолк и теперь, кажется, надолго. И как ни хотелось Владимиру узнать поскорее, что же было дальше, он молчал, боялся потревожить раздумье этого странного человека, который только что сам назвал себя сволочью.

Владимир снова посмотрел на Дашино окошко. Почудилось там женское лицо. Но только на один миг. Всмотрелся: нет, окно по-прежнему оголено и неприветливо глядело на светлую, тихую улицу.

## Глава пятая

«Что он рассказывает Владимиру? — думала Даша. — Или болтают так просто, от бессонницы? Он ведь чудаковатый, Роман Фомич: иной раз будто дело говорит, а посмотришь — сказка».

Испуг у Даши от внезапного появления Владимира уже прошел. Ну, хорошо: Владимир разыскал ее, приехал... И что же? Разве он имеет над ней хоть малейшую власть? Да нет же! Без него Даша схоронила их второго ребенка; без него закончила

лесотехнический техникум; без него нашла дорогу сюда, уехала от мамы на далекий лесопункт. Наконец-то совместная с Владимиром жизнь стала бледнеть в памяти.

Письма сначала от Владимира пусть и редко, но приходили. Квартиры у него в городе все не было. Не ладилось что-то и с работой. Даша исстрадалась, но и виду не показывала. Особенно маме. Только из этого ничего путного не получилось. Мама завела как-то такой разговор:

— Даша, нельзя ли тебе денька на два, на три отпроситься с работы?

— Зачем это?

— В город надо бы съездить.

— А что случилось?

— Да с этими все, как их... С рецептами, прах их возьми! В нашей аптеке нет такого лекарства, что мне врачи-то прописали.

Мама на пенсии. Она давно и безрезультатно лечится. Всю войну ей пришлось работать в лесу да на сплаве. Мужиков дома почти не было. В непролазном снегу обрубала сучки с елей и сосен, поваленных такими же, как она, бабами-лесорубами. Война...

Мама спокойно так глядит на Дашу. А дочь боится и взглянуть, спрятала глаза в амбарную книгу. Работала она счетоводом на складе сельпо. Но под взглядом мамы не цифры были сейчас в той книге, а его глаза улыбались со страницы. Да еще и улыбались-то по-прежнему.

— Как думаешь, Даша, отпустят тебя, если хорошенько попроситься?

Ну и мама! Сколько же ночей обдумывала она свой нехитрый план борьбы за дочкино счастье?

— Ладно... Схожу сегодня к председателю.

Вечером, проводив Дашу на пароход, мама — по старой памяти — перекрестила ее. Шепнула тихонько:

— Дай вам бог... — Потом у нее построжел и взгляд и голос:

— Только ты не гнись очень-то, гордость свою блюди. Помни, что и ты Обухова. Что ж он... на самом деле!

Блюди, помни... Второй раз наказывает мама блюсти гордость. В первую зиму знакомства с Владимиром Даша пропадала вечерами допоздна. Мама в это время тоже не спала. Едва Даша поднималась на крыльцо, мама уже открывала своей полуночнице дверь, за охами да позевотой скрывая тревогу:

— Гдей-то тебя носит? Можно бы и пораньше приходиться. Иззябла поди-ко?

А раз прямо посоветовала:

— К анбару-то не надо бы тебе с ним. От людей нехорошо.

Амбар, старый, еще доколхозный хлебный сарай, стоял за околицей. Как же мама могла додуматься-догадаться, что именно туда он приходит на свидание с Дашей?

— С кем это с ним-то, мама?

— С кем, с кем... Не одна же ты там стены-то подпираешь? — И добавила: — Гордость девичью не забывай, Дарья!

А утром, как всегда, вместе пошли: Даша на работу, мама в совхоз за молоком. Мимо амбара. Мама на него глазами повела и отвернулась, как и дело не ее. А Даша глянула — стыдом, как жаром, обдало: на белой от морозного ночного инея стене, как в кино на экране, отогрелись-отпечатались две фигуры. Да ведь как передалось: на одной голове — шапка островерхая. Вот как мороз — ночной предатель — осрамил перед матерью! Ведь шапка такая только и была у одной Даши во всей деревне!

Врасплох Владимира застать в городе не хотелось, хотя и разное думалось про его жизнь. Нет, на подвохи Даша не пойдет. Что есть, то есть. Сам скажет, если разлюбил. А ловить его за руку... Нет!

Владимир встретил ее на пристани. Обнялись, расцеловались — что-то нет прежнего тепла. Да и то сказать, поотвыкли уж.



— Ты лучше сначала в письме бы написала. А то сразу телеграммой...

— Я, Володя, по делу, по маминому. Так-то мне было недосуг все.

— Ну, хорошо, хорошо! Досуг, недосуг... Когда только ты по-русски говорить научишься?

Сели в трамвай. Ехали долго, далеко за город, в какой-то заводской поселок.

— Я не могу с тобой в мужское общежитие. Пока гостишь, проживем у моего товарища. Он на лесозаводе завклубом. Квартира у него — что надо!

«Пока гостишь...» И по имени не называет. Все «ты», «с тобой», «тебе». Будто это и есть мое имя. О жизни, о здоровье, о работе — ни вопроса...

У товарища жили в отдельной комнате. И, кажется, сдружились снова настоящему. Но надо было уезжать. Даже подумать было страшно, что уезжать-то надо опять в неизвестность, опять долгими ночами тоску тосковать по его рукам, по его губам, по всему, что есть в нем, дорогое, любимое...

Да, несмотря ни на что — любимое!

А Владимир снова горячо доказывал и ей и еще кому-то, — может быть, себе — свою правду. А правда вся была в том, что завистники очернили его перед руководством. Ему, Владимиру Обухову, оскорбленному и, конечно же, непонятому, пришлось уйти из хора.

— Я им докажу! — Владимир потемневшими глазами смотрел на Дашу, не видя ее. — Они еще спохватятся, когда Владимир Обухов выйдет на сцену оперного театра... Да, вот где я нашел свое место! Подумаешь, хор! Филармония-я! Они еще не знают Владимира Обухова!

— Володя, неужели приняли?!

Даша уже снова верила в него. Конечно же, он талантлив! Бывало, в Доме культуры все подружки с ума сходили по нему, все завидовали Дашиному счастью.

— Приняли, Дарюш, приняли, — как бы очнувшись, говорил он между поцелуями. — Теперь-то уж получу квартиру. Как мы заживем с тобой! Потерпи, уж немного осталось тебе прозябать в этой дыре.

— Маму тоже возьмем к себе? — сияла Даша, забывая все обиды и горе.

— И маму... И мою маму. И пусть живут себе наши старушки да радуются.

Когда он провожал ее домой, у обоих в глазах стояли слезы: Даше не хотелось расставаться, а Владимир, наверное, играл, как всегда.

Шли месяцы. Владимир писал неохотно и мало. Письма все больше походили на жалобы. Ему, видишь ли, и в театре не дают дороги потому-де, что «некоторые» боятся его конкуренции. Он довольствуется пока «амплуа статиста». Все из-за того, что он талантлив более, чем хочется «некоторым».

Владимира всегда почему-то окружали завистники и бездари.

Даша не особенно ясно представляла себе, что такое «амплуа статиста», но понимала, что это не нравится Владимиру. И жалела его, писала, что приедет, успокоит, что все в конце концов будет хорошо, только бы они любили друг друга.

Он отвечал на такие письма быстрее обыкновенного. Советовал подождать, не тратиться. Сам он вот-вот нагрянет к Даше в деревню.

Такие письма — хотя они-то и были самыми нежными — били прямо по сердцу, и Даша в тревоге ходила с красными от ночных раздумий глазами. Мама ничего как будто не замечала. У нее все ладно да все хорошо. И когда Дашу стало мутить от одного вида пищи, мама вроде бы не очень обеспокоилась.

Вот почему было страшной неожиданностью, когда она пришла ночью к дочке в постель. Долго они лежали рядом. Мама молча гладила ее по голове, как ребенка, наконец сказала непреклонно:

— Этого не смей изничтожать! Пусть живет, вырастим.

Кудесница-мама! Она даже знала, кто должен появиться на свет. Раз как-то за утренним чаем Даша дрогнула вся и осторожно поставила недопитое блюдо на стол, словно

к чему-то прислушивалась. Мама оглядела Дашу и улыбнулась той своей хорошей улыбкой, какую Даша редко видела у нее и, наверное, потому особенно любила.

— Куда он тебе толкнул? — спросила мама.

— Вот сюда...

— Неужто в левый бок? Под сердце?

— Да, как будто.

— Вот и хорошо. Девку жди.

Можно было смеяться над бабьими приметам, но вышло по-маминому: родилась девочка. Видно, не даром была когда-то у мамы куча детей. А осталась только Даша: и так помирали, и на сплаве один утонул, да и война двоих взяла. Но у мамы и сейчас голова не белеет. Только глаза из синих стали серо-голубыми да тело «ссохлось все», как она сама говорила.

А Владимир и дочери своей не видал. Даша перед тем, как родить Ирочку, нашла деньги, поехала в город снова. Думала обрадовать отца.

Не обрадовала.

Зачем же он теперь сидит под ее окном? О чем они могут говорить с Романом Фомичом?

...Владимир снова повернулся к Бальневу:

— Чем же это кончилось, Роман Фомич? Сухие длинные руки Бальнева все так же устало

лежали на багре, сутулая спина и приподнятые плечи служили как бы продолжением пня.

Казалось, он вырос из пня, подобно сказочному мужичку-лесовичку.

— Что кончилось? Ничего не кончилось, тогда-то все и началось только. Конца и сейчас не видать. — Бальнев говорил монотонно, глядя в одну точку и головы не повернул, точно не хотел показать собеседнику своего худого, бледного лица. — Не надоело, так слушай, — продолжал он, как бы осердясь и на Владимира и на себя, что очертя голову разоткровенничался с незнакомым человеком.

— Нет, что вы! Наоборот, — сказал Владимир.

— Наоборот... Так и получилось все наоборот. Я хотел поиграть да и дальше... Только нет, голубок! Вообще, скажу тебе, если кто стал бы мне толковать: вот, мол, как дело было, — ни в жизнь не поверил бы! — Бальнев вздохнул. — А ты хошь верь, хошь нет. Я только рассказываю, вспоминаю, что ли, сказать. Мое место, милый человек, около тебя сейчас телячье: помычал, поел и на соломку. А твое дело хозяйское: не любо — не слушай.

— Да что вы! Но на возглас Владимира Бальнев не обратил никакого внимания и продолжал:

— Был тогда у нас в роте, прямо сказать, народ всякий. Но хуже меня, как я теперь прикидываю, вряд ли... Не найти было. Однако выискался-таки один плюгавый такой солдатишко, ростом поменее моей Гали. Он-то и сыграл с нами заглавную ноту. Беда, коли природа обидела человека! Тогда у него все кругом виноватые. Такой не спустит и полшутки, а за надсмешку и вовсе горло может перекусить. Я по веселости своего характера частенько над ним пошучивал. С моего поганого языка прозвали недомерка-солдатишку «аршин без вершка». Он и затаился. А сам, хитрюга, за мной вприглядку жил. И представь: все, как есть, узнал про мое с Галей соленое счастье. Узнал бы да смолчал, тогда и ему и мне одна цена, а узнал да донес — другая.

Вот раз иду я к своей любушке. Только, значит, я в комнату, а тут — пых! — и Галя следом. Я понятно, рад бесподобно, рот до ушей, глаза, надо быть, дурацкие, губы, конечно, к ней тяну... Вспоминать противно! А она, простая душа, хитрить-то не может, не умеет, ну и сразу мне в лицо: «Бальнев... Ты... ты...» — Хотела, видать, высказать правильно: «Подлец, мол», — да тут губы у нее затряслись.

И подает она мне, значит, письмишко. Беру. Почерк, виданный раньше, а подписи нет. Стал читать. И с первой строки понял: «Он! Аршин без вершка». Да ведь как выписывает, пигалица! И женат-де Бальнев уже не на одной, и даже еще лишнего ребенка ко мне приписал. Вот ведь иуда!

«Это правда?» — спрашивает Галя. И не дай и не приведи господи кому услышать такой голос! Хотелось, вишь ты, ей, чтобы писание это враньем обернулось. Клеветаньем, что ли сказать.

Да разве я мог ей еще раз соврать! Ну, само собой, она и без моих объяснений все правильно определила и тихонько да строго так говорит: «Вон!» — И на дверь показывает.

Поверишь ли, до чего мне сделалось страшно? Ровно я должен с яра вперед башкой на камни прыгнуть... Чего бы тут дальше с нами было, не сказать, но, спасибо (хотя куда, к черту, спасибо-то говорю!), где-то неподалеку бомба взорвалась, и другая, и третья.

Галя глянула в окно, крикнула, будто ее за горло схватили: «Госпиталь бомбят!»

А сама оклемалась маленько и — бегом. Я за ней.

Прибегли: горит, полыхает. Стон, вой! Бомба-то всю середину зданья напрочь вынесла вместе с ранеными, вместе с персоналом... Ну, а в крылах-то зданья все еще люди кричат в огне! Галя — туда. Я не отстаю. Она по лестнице наверх, я за ней. Кругом что-то бесподобное делается. «Галя! — хватаю ее. — Галя! Куда ты?» Молчит и дальше, дальше...

Бальнев вдруг схватил себя за волосы, уронил голову в колени. Стукнул лбом в багорик и замычал что-то непонятное.

У Владимира мурашки пробежали по плечам.

Бальнев видел сейчас перед собой и лестницу и свою Галю в те минуты, когда, может быть, на ходу села его голова. И опять Владимиру фигура Бальнева напомнила отца, хотя внешне вроде и не было никакого сходства. Владимир робко тронул Бальнева за локоть.

— Ну, полно вам... Что уж!..

Но Бальнев еще некоторое время сидел так. И снова заговорил, продолжая жить в том далеком, а для него всегда близком времени.

— Забежали мы в одну палату, а там!.. Вспомнить страшно: ребятишки малы больны да ранены! Что рёву! Схватил я трех ребят кряду — отколь силы взял? — в узел спеленал их, в одеяло: на улице, думаю, отдышутся. И — вниз. Галя с ребятенком за мной. Раз сбежали, второй. Водой внизу обливаемся, головы тряпьем замотали. Но чую: горим вовсе! Третий раз нас не пушают. Какой-то чин ошалел совсем, кулак мне под нос показывает: по-русски, мол, тебе говорят: рухнуло там все. А Галю бабы держат, не пушают. А она все одно только, помню, кричит: «Пустите! Там дети!»

Ну, вырвалась-таки. Я тому чину тоже намахнул маленько так в грудь — и за Галей. Подбегаем к месту, где, значит, палате с ребятами быть, а там уже пусто. Все улетело, осталась площадка только у лестницы да дверь в палату, туда, к ребятишкам-то, висит, как на смех. Распахни ее, дверь-то, и ступай себе сразу в преисподнюю. Мы — обратно, ко второму этажу. И там все рухнуло. Мы, выходит, висим, что ли сказать, где-то в воздухе, как птицы. Лестница-то чудом каким-то торчит у стены.

Бальнев снова оборвал резко, замолчал, со всхлипом хватанул ртом воздух и уже после большой паузы закончил тихо:

— Да... А лестница в тот миг возьми и брякнись. И померкло все.

— Как же... Почему же вы остались живы? — тоже задохнувшись, спросил Владимир.

— И правильно. Не надо бы мне... — живо согласился Бальнев. — Да не довелось, вишь, И пошло все в другом направлении. Ее, Галю-то, откинуло от меня. Там она и... сторепа. А меня надо же было каким-то чудом при крушении-то выкинуть на улицу.

Так... Лежу я, значит, в госпитале. Орден почему-то вышел из Москвы. Мол, за геройство. Какое уж там геройство, если разобрать?!

Он опять умолк. А Владимир увидел перед собой эту маленькую Галю так ярко, что, казалось, она жила в нем самом.

И вдруг рядом с нею возник другой образ. Уже не Галя, а Даша сурово и непреклонно глядела на Владимира так же, как тогда в городе, когда она повернулась от порога и ушла, не сказав ни слова на прощание.

Свои же собственные слова, сказанные ей тогда, звучали у Владимира в ушах: «Ты с ума сошла! Зачем нам ребенок? Ведь тогда к черту консерватория! Ребенок свяжет нам руки! Нет. И не думай. Я знаю одного врача. Еще не поздно».

## Глава шестая

Владимир со страхом поглядел на Бальнева, точно опасаясь, не подслушал ли он его мысли. Но тот сидел в каком-то оцепенении.

«А что я сделал? Не оценил Дашиной любви? Так она сама меня бросила. Не ушла бы тогда, осталась да сказала бы твердо: «Хочу иметь ребенка», — что я, зверь, что ли? Обдумали бы вместе, может, я и согласился бы...

Правда, тогда я жил с другой. А кто не ошибается? Молод, один. Даша не хотела жить со мной в городе. Ей нравилось с мамой. Не силой же было тащить ее к себе!

Да, она во всем виновата. Мамаша тоже тогда говорила, что Даша очень много о себе думает. Следовало поставить ее на место. Правда, она не знала, что я живу с другой. Но я артист! Мне нужна свобода».

И будто по глазам Владимира ударили. Перед ним возникла телеграмма: «Ирочка умерла хороним пятницу Даша».

Он долго не мог понять, какая Ирочка. И наконец-то дошло, что это Дашина дочь и, скорее всего, его дочь. (Он не шутя задумывался: «А моя ли это дочь?») И написал в ответ, что он, дескать, очень сожалеет, но у него спектакли, выехать не может, хороните без него.

И денег — впервые за все время! — денег послал. Что-то рублей пятьдесят, кажется. Деньги-то не надо было посылать. Дочери он не знал, не видал. С Дашей уже не жил. Нет, это в самом деле было глупо с его стороны — посылать деньги.

«Прошу вас выйти и не беспокоить людей по пустякам!» Почему она сегодня так поступила? Не выслушала, ничего не спросила... Ну, тяжело ей без мужа, можно, конечно, поверить. А ему легко? Все завидуют, подсиживают, не дают хода.

Из театра тоже пришлось уйти. А все глупая ревность толстого пустозвона-режиссера. Осел! Вообразил себе какие-то особенные отношения между своей женой и Владимиром.

Убрали Владимира, конечно, не из-за ревности, а припомнили разговорчик один: «Хватит! Давайте роль, а статистом можете сами быть, вам подойдет». Только и было сказано режиссеру. Но все полетело к чертям собачьим!

Директор тоже хотел доказать, что он великий артист. А Владимир прямо заявил: «Насколько я понимаю, для игры на сцене нужны данные». Директор, как видно, принял на свой счет. Ну что же, так и следовало!

Зато каков результат: «Владимир Обухов отчислен из театра за отсутствием творческого роста». Вот так приказ! И написал-то, подлец, безграмотно... Ну, подожди! На периферии талант быстрее заметят. А там и в область. В столицу... Владимиру еще всего-то двадцать шесть лет.

Недавно мама приезжала в театр. Ходила к директору. Странно, но она не поделилась с Владимиром. Как воды в рот набрала. Все как-то в сторону глядела. Потом Владимир узнал, о чем напел ей директор. Ну, ничего! Мамаша всегда была покладистой. И, слава богу, ни в чем Владимиру не отказывала.

Проклятые комары! Кусаются, как собаки! И курить больше нечего.

Владимир снова почувствовал и назойливо знойное комариное гудение и зуд сразу в десяти местах.

А перед глазами до одури однообразно все текут и текут бревна. Белая ночь кончается. Солнце уже зажгло вершины сосен на другом берегу Вайнушки. Крикнула ранняя кукушка. Треснула дробь — это дятел. И звонко встретил солнечный свет лесной конек.

Алевтине Ивановне приснилось, будто соседкин знакомый лезет в окно. Она и во сне понимает, что это во сне. Стоит только заставить себя проснуться, и страхи исчезнут. Но проснуться она сама не хочет. А «чернявый» уже в комнате, уже подходит к кровати... Она замирает. Зная, что все это ненастоящее, она ждет, нетерпеливо ждет. Ей мнится, будто он склоняется над нею щека к щеке, и все лицо ее обдает жаром.

Страшный грохот разбудил ее. Она испугалась по-настоящему. Что такое? Уж не срывают ли дверь с петель, — «грохота» не было, просто Даша неосторожно передвинула табуретку. Алевтина Ивановна прежде всего бросилась к окну: соседкин знакомый там. Кто еще с ним? Неужели женщина? Нелепый вид Бальнева поначалу смутил Алевтину Ивановну, но вскоре она поняла, что это Роман Фомич.

Она накинула халатик, распахнула окно: чего ей стесняться? Все одно не спится. Солнышко всходит. Она сядет к окошечку, прогреется. Наплевать ей на ухажеров инженерши!

Она обнаружила, что щека у нее и в самом деле горит, точно оплеуху кто залепил. Это солнышко добралось до ее подушки и через стекло нажгло кожу.

А про оплеуху не зря вспомнилось. С оплеухи-то у Алевтины Ивановны началось знакомство с Федей.

Федя, Федя... Ты служишь в своей Карелии и не знаешь, что делается на сердце у Алевтины Ивановны в эту белую ночь. Нет, знаешь. Обязательно должен знать. В Карелии сейчас тоже белые ночи. Федя думает о ней.

Перед Алевтиной Ивановной возникла вдруг родная деревня, луг с озером за околицей Белой Горки.

Алевтина — Алька Рябова — прыгает-греется с ребятишками у костра. На дворе июль, жарко. А они на берегу озера прыгают около огня. Не вылезали из воды по часу. До того доноряют, бывало, что воздух, накаленный солнцем, кажется холодным-холодным. Мальчишки и девчонки трясут худенькими задками над костром, хохочут, подтрунивают друг над дружкой. Зябко, весело!

И потом, уже в юности, хорошо около озера мечталось в такие вот белые ночи. Сидит девчонка на берегу. От запаха цветов голова кругом. Алька книгу в сторону — мечтает. Вот она уже закончила ФЗО. Хорошо бы, направили в свой лесопункт, где работают мама и папа. Аля Рябова тоже хочет работать в лесу. Но она будет строить. Она учится на штукатурка. Веселая работа.

Но закончили ФЗО, и какой-то равнодушный дядя заслал их туда, где нечего было строить. Начались нудные «разные» работы. Негде показать мастерство! Потом после хлопот и протестов девушек перевели в райцентр, на отделочные работы нового Дома культуры.

Вроде бы все вошло в свою колею, не приглянись тогда Аля Рябова секретарю райкома комсомола: активная-де, бойкая комсомолка, нечего ей с кельмой на лесах плясать.

Выдвинули Алю комсоргом группы. Кажется, справилась. Потом избрали в члены райкома. Стала Аля штатным инструктором. Стала ребят поучать, как надо жить и работать, повышать знания. А сама знаний не повышала: некогда.

«Вот начну с нового года... Вот заочно буду учиться...» А тут очередные выборы. В члены райкома больше не избрали. Куда теперь?

Стала Аля учеником библиотекаря, а потом и библиотекарем в лесном поселке. Прошел год, видит: читатели грамотнее ее. Многие откровенно сердятся: «Не за свое дело взялась!»

У Али Рябовой хватило совести просить другую-работу. «А заведовать клубом ты сможешь?» «Кто его знает! Надо попробовать». Будто нарочно о настоящей ее специальности никто и не вспомнил. «Грязной» она казалась уже и самой Але. Так в трудовой книжке появилось: «Библиотекарь, зав. клубом».

А сейчас Алевтина Ивановна Рябова «несет уже две нагрузки»: заведует клубом и выдает книги. Работа ей не по душе. «Скучно до отворота», — пишет она в письмах Феде.

Федя грозитя, что после демобилизации (он четвертый год служит сверхсрочно) приедет и возьмется за учебу Алевтины Ивановны основательно. Алевтину Ивановну даже радуют его выговоры («Заботится, милый!»), но у самой до учебы все как-то руки не доходят. Да и куда торопиться? Федя демобилизуется, приедет, вместе и нажмут.

Федя занимал все ее сердце. Он появился неожиданно. Она работала тогда в соседнем лесопункте завклубом. Любила ходить на танцы: «почётители» кавалеры. В тот вечер чаще других ее приглашал шустрый такой старшина. Слово за слово — разузнала: дружок у него работает на лесопункте, так он к дружку приехал на побывку. И сам лесорубом был до службы.

Понять дал: холостой. Но Алевтина Ивановна не особенно поверила. И все же была рада, помолодела, птичкой вспархивала, как только старшина подходил, протягивая руку, звал на танец.

Но вечер закончился неудачно. Была в поселке компания. Работали ребята кое-как, а выпить любили. Подебоширить были тоже большие мастера. Как обычно, их принесло в клуб. Один нагловатый такой (и раньше надоедал Алевтине Ивановне) из-под носа старшины потащил ее за руку. Тогда старшина взял хулигана за ворот, покачал из стороны в сторону, пока тому не заикалось, да и закатил новому знакомцу оплеуху.

Дебоширы готовы были разорвать старшину. С помощью Алевтины Ивановны ему удалось укрыться в пустой комнате. Ночь прошла в радостной близости и тревоге, а утром старшина уехал. Через месяц пришло письмо. Оно, как самое дорогое, и сейчас лежит в ее комодке. Старшина писал, что не может забыть того вечера, только и думает о нем (ясно было: «о ней»).

Алевтина Ивановна в ответе осторожно дала понять, что и ей вечер очень памятен. Пошла переписка. А через год старшина снова гостил у них на лесопункте, хотя дружка его здесь уже и не было.

Алевтина Ивановна косит глазом, смотрит на фотографию Феде. Она мысленно читает Федины слова на обороте карточки: «Не забывай, что ты моя, и твой навеки буду я».

«Не беспокойся, Феденька... Раз надо, ждала и еще буду ждать. Но ведь можешь же ты демобилизоваться поскорее? Приезжай!»

Алевтина Ивановна слышит, как у соседки скрипит пол под табуреткой, поднимает голову, глядит на тех двух, что за окном, и сожалеюще вздыхает: «Бедная инженерша... Видно, хорошо насолил тебе чернявый! В избу не пустила, а сама маяту маешься — не спишь».

Ей становится жаль этих людей, особенно теперь, когда она думает о Феде. «У нас, Феденька, никогда так не будет, как у них, верно?» Алевтина Ивановна улыбается фотографии и даже подмигивает ей, как живому человеку.

## Глава седьмая

Третий час. Ночь идет к концу. Скоро первая смена дорожных рабочих пройдет мимо Дашиного окошка. Надо бы перехватить здесь бригадира, сказать ему об изменениях на прокладке трассы. У Даши из головы вон, что Саша наказывал: «Предупреди дорожников с вечера: пока у Старого ручья делянки не будет».

Даша с досадой посмотрела в окно: сидят. И Роман Фомич не уходит. Видно, рад старик, что нашел собеседника. Только непонятно, о чем они могут толковать?

Что предпринять? Если пройти к опушке леса по задворью, ее не заметят. А выйдет на дорогу в лесу и перехватит бригадира. Потом спать.

Она накинула шерстяной связанный мамой платок и вышла в коридорчик, как всегда, стукнув дверь, чтобы соседка знала об уходе. Сейчас-то не надо было этого делать, только поздно спохватилась, привычка подвела. Но у соседки тихо, спит, наверное. Тем лучше.

Ей опять вспомнилась мама.

Даша тогда только что приехала из города. От Владимира. Вошла в избу и поразилась: потолок, печка, плита сверкали голубоватой белизной; тесаные стены в кухне, полати, переборка к запечью — все заново покрашено веселой голубой краской; горница оклеена светлыми обоями, пол тоже покрашен, блестит, хоть глядись в него.

— Мама, ты это все сама? Зачем тебе понадобилось так убиваться?

— Эх, сказала: «Убиваться»! А вдруг помру, люди придут проститься, посмотрят: стены ободраны, потолок, печки что в той кузнице. Обои мухами засижены... Что скажут? Вот, скажут, как она жила! На народ выйдет, вроде и человек. А дома — пататуй пататуйем. Слонялась, видно, из угла в угол, вот с грязи все и лопнуло.

— Да не все ли равно, что скажут люди.

Мама поджала губы, гневно посмотрела на Дашин живот (он тогда уж очень заметен стал) и сказала только:

— Ой, Дарья! Ничему-то, видать, я тебя не сумела научить. Попомни мать-то: поздно будет колодец рыть, когда люди пить запросят. Вишь у тебя какое понятие: «Не все ли равно, что люди скажут...» Эх, девка! Да ведь ты уж сама-то на той мети ходишь. И все на глазах у людей.

«На той мети» — по-маминому означает «на той отметке, на той поре, скоро уж...»

Как Даша поняла ее! И «пататуй» тоже хорошо памятен. На мамином языке это никчемный, никому не нужный человек.

В соседях жил до старости, по словам мамы, несусветный лодырь, мужик-бобыль по прозвищу «Пататуй». Так жил, бедолага, что, когда помер, никто не хватился, никто не проведал, никому до Пататуя не было дела. Так и лежал в своей хибаре пять дней. Да и до могилы его проводить никто не пришел.

Наверное, только одна такая есть на свете мать, как Дашина мама. Когда родилась Ирочка, соседки языки измочалили, гадая о Дашиной судьбе больше, чем о своей собственной. Находили дело, сидели в кухне, заводили речь издалека:

— Дайкося, думаю, понаведаюсь в суседи, хошь поговорю, узнаю, как народ-от живет...

А потом уж будто к слову:

— Какова роженица-то? Ребеночек-то каков? Имечко-то какое дали?

Мама и виду не подает. Сладко ли ей слушать намеки на вдовье положение дочери при живом муже? Даша, сидя в горенке, все слышит. Слышит, как мама обряжается у печки, слышит ее ровный, совсем обычный голос:

— Ирочкой нарекли. Отец, вишь ли, настоял. По мне-то как хотят! Ирочка так Ирочка. Это уж их, родителей, дело.

Нетерпение узнать побольше так и толкает гостью:

— А кем он ноне, муж-то Дарьюшкин? Сказывали: на театре все играет. Деньги-то, наверное, лопатой гребет?

Даша готова выбежать в кухню, вытолкать непрошеную гостью взашей, готова упасть маме на грудь...

Вот опять ее голос:

— И не говори, соседка, денежки, думаю, немалые зарабатывает. Надьсь опять платье послал, самолучшее купил.

— Видали его на Дарьюшке, видали, — подтверждает гостья. — Богато платье-то да тако ли фасонисто...

А поплин-то на платье Даша покупала в городе сама, и шила платье все та же на все руки мастерица — мама.

Так-то, Владимир Петрович... Мама охраняла дочернюю, а за одно и твою честь, хотя чести у тебя — давно догадалась она — нет и не было. Но и сейчас, наверное, в деревне мало кто знает, куда исчезла Даша: к мужу ли в новую квартиру или подальше от мужа и от всех его квартир.

У Даши до сих пор в памяти мамины ответы любопытным:

— Уехала доченька к мужу. Хорошо, видать, живут. Ладно! А что Ирочка померла, так с богом не поспоришь. Может, и к лучшему. Кто знает? Люди они молодые, еще не один ребеночек народится. Дело житейское. Дай им бог!

А ты, Владимир Петрович, даже не удосужился повидать свою дочку. Даже похоронить ее не приехал. Пятьдесят рублей послал. Слышишь: пятьдесят рублей! За дочь. За Ирочку...

Даша стояла на повороте дороги под молодой, но уже высоконькой и прямой, как свечка, сосенкой, глядела в сторону поселка. Сейчас появятся рабочие, Даша повидает бригадира и пойдет домой спать. Сиди, Владимир, жди. Только Даша никогда не превратится в прежнюю, послушную, всепрощающую. Нет!

Утренний ветер качнул крону сосенки. По ней будто прошла легкая дрожь.

Даша подняла глаза: маленькая крона, а густая. Ствол в нее, как стрела, нацелился. Какой он светлый, радостный, меднотелый! Как загар на Сашиных плечах.

Даша закрыла глаза, потерлась щекой о прохладную, нежную кожу-кору. И стыдно и сладостно думать о Саше. Только о Саше. И ни о ком другом.

Разговор на дороге. Рабочие идут. Но почему-то из лесу, не из поселка. Кто в такую рань бродил в лесу?

Даша не хотела бы никому показываться сейчас. Она отшагнула от сосны в придорожный подрост и даже чуть-чуть присела в нем: так ее поразил один голос.

На дороге показались двое: бригадир дорожных рабочих и Саша. Пропустить их или выйти? Саша что-то говорит, но его слова пролетают мимо Дашиных ушей. Она слышит только звук его голоса.

«Пропустить их или выйти?» — все еще думает Даша, а сама уже идет навстречу. Она совсем не замечает своего бригадира, только Саше одному протягивает руку, одному ему говорит:

— Доброе утро, Александр Фомич! По грибы ходили? Не рано ли?

— Здравствуйте, Даша!

Сейчас Саша увидит тех, двоих. Может быть, спросит: кто это беседует с Романом Фомичом под ее, Дашиным, окном? Что она скажет ему? Как скажет? Надо ли говорить?

Бригадир постоял, поглядывая то на одного, то на другого, потом нарочито равнодушно сказал:

— Так я пойду, Александр Фомич. Прямиком-то по опушке люблю сейчас.

Тот молча кивнул.

— Новую-то трассу, Дарья Борисовна, товарищ Бальнев показывал мне. — Бригадир повернулся к Даше. — Так что теперь все в порядке.

Он шагнул на боковую тропу и пропал в лесу.

— Зачем ты подменяешь меня? — зарделась Даша.

— И не подумаю, я по пути... Да и не спалось что-то.

Он взял ее руку, легонько потянул:

— Даша!..

— Постой... Мне надо сказать тебе... Это очень серьезно, очень.

— Не надо ничего говорить.



Он стоял перед нею — высокий, чуть сутулый. Она покорно прислонила голову к Сашиному плечу.

Уж солнышко на елку взобралось. Поднял наконец от багра свою голову Роман Фомич.

— Скоро Александру надо быть из лесу.

Эти слова прошли мимо сознания Владимира, Роман Фомич помолчал немного. Снова опустил свою бороду на багор и, уставясь в бесконечный поток перед собой, восхитился:

— Ишь ты, как весело плывут бревна-то! Совсем живые... Эх их, как жить торопятся!

Потом озабоченно сказал:

— Тоже не накуролесил бы чего Александр-то. Инженер-то инженер, а умом чистый ребенок.

— Хорошо, хорошо, Роман Фомич, — перебил Владимир, не вдумываясь в смысл слов Бальнева. — Вы мне лучше скажите: разве не глупо, простите, мучить себя прошлым?

— А совесть?!

— При чем тут совесть?

Бальнев осуждающе качнул бородкой.

— Она, брат, есть, совесть-то... Еще в госпитале со мной было. Лежу, смерти себе прошу... Домой, натурально, ни звука. К чему бабу заводите, от семьи отрывать да от малого ребенка. Да, думаю себе, очень-то и нужен я им, калека.

Вот раз идет ко мне в палату человек. Вижу, кубики на вороту. О ту пору все под войной ходили, смешно было бы невоенного мужика увидеть в "госпитале. Только у меня чевой-то сразу сердце упало: две капли так не похожи, как тот офицер на Галю.

И мне вопрос: «Роман Бальнев?»

«Ну, я», — отвечаю, а самого уж догадка трясет всего: Юра это, Галин брат!..

Пристал с ножом к горлу: расскажи, мол, о последних ее минутах.

Чего тут поднялось во мне! Не могу ему объяснять, нету голосу, да и полно! Только в глазах... ну, не то чтобы слезы, а так, вроде не вижу ничего, вся палата в тумане.

Бальнев сжал обеими руками багор, точно хотел переломить его надвое, и Владимир впервые отметил красноту старых ожогов на коже костлявых пальцев.

— Вот те и совесть, — продолжал Бальнев, все так же устремив взгляд на реку, будто не рядом с собой, а там, в потоке, видел он своего собеседника. — Она все что хочет, то и сотворит с человеком, ежели тот человек в сознание придет. Ты и рад-радехонек все перезабыть, а она тебя цап за глотку — и все, не дыши!

Да... Поочухался я маленько, хочу все же сказать ему, каков я есть молодец. А он и рта раскрыть больше не дал:

«Хорошо, хорошо, молчите. Спасибо вам за все».

«За что?» — хриплю ему.

«Сестра мне писала. Благородный вы человек. Она вас любила!»

Так вот сказал мне тот Юра на прощанье и ходу из госпиталя. И адреса не оставил. Бальнев повернул наконец голову.

— Ты говоришь: совесть. А вот я, не поверишь, чуть не задохнулся от его «спасибо», потому как оно, «спасибо» это, мне насквозь все сердце просверлило! «Благородный человек!» — Он посмотрел на Владимира, будто того не было перед глазами. — И посейчас всегда Галя глядит мне в душу... Хошь верь, хошь нет... Никуда не могу спрятаться.

Последние слова Бальнев произнес почти шепотом. Владимиру стало скучно.

Конечно, история Бальнева примечательная, и, наверное, нелегко ему вспоминать прошлое. Но зато прошлое-то какое? Война! Тогда все измерялось другой мерой.

Вполне возможно, что в те дни жили такие Гали. В наше время Владимиру они что-то не встречались.

Он уже без недавнего уважения посмотрел на Бальнева. Расстроился старик. Прибавил, наверное, половину. «Хошь верь, хошь нет...»

Прав: у каждого своя стежка-дорожка.

Вот у Владимира: жена рядом, а он комаров всю ночь кормит, на ее окошко поглядывает. Спросил ты, старик, какая она, боль у Владимира?

Бальнев все еще молчал. И было в его молчании словно какое-то несогласие с невысказанными мыслями Владимира.

Одно это уже раздражало, как комариная монотонная песня в ушах.

— Вот она, ночь-то, — неожиданно задушевым голосом заговорил Бальнев. — Не успели слова сказать, а ее — пых! — и нету. У нас под Вологодой таких светлых не бывает. У нас ночки темнее, а далеко ли, думаешь, отсель? Вот тебе как природа распорядилась!

«Будет ли он еще рассказывать?» — глядел на него Владимир, все так же не улавливая смысла слов Бальнева о природе, как недавно о каком-то Александре. Так обычно, читая интересную книгу, он пропускал, перелистывал в ней страницы с описанием природы, искал «острых» мест.

— А брательника моего все нету... Он мимо нас по этой дороге должен бы идти, — неожиданно добавил к сказанному Бальнев.

— Откуда же он ночью? — спросил, наконец, Владимир.

— Да дела, вишь ты, подперли. Ночь не ночь — дело-то не спрашивает.

## Глава восьмая

— Закурить больше нету? — спросил Бальнев. И только тут Владимир вспомнил о своей последней папиросе. Вот ведь как отшибло память! Одну из двух Владимир выкурил во время рассказа Бальнева, почти не заметив этого, а про другую и совсем забыл. Владимир достал папиросу.

— Закурить-то есть, но одна всего.

— Ин, ладно... Курите. Мне оставите на затяжку — и спасибо.

Владимир только хотел спросить, не «в грудях ли опять накалилось», не потому ли, мол, потянуло тебя к табаку? Бальнев сам подтвердил:

— Я вот как представлю, понимаешь ли, все перед собой, так бесподобно курнуть потянет!

И продолжал опять по-своему, странно, будто он не молчал и не прерывал рассказа:

— Да... Уехал брат-от Галин. Ничего я не смог ему объяснить про себя. Зато вскорости довелось-таки объясниться. Ох и довелось!

Бальнев посмотрел на пальцы Владимира, в которых дымилась папироса, точно опасался, что тот забудет оставить ему «курнуть».

— Кури, — сказал Владимир, протягивая Бальневу мало что не половину папиросы. — Кури, кури... Мне не хочется больше, — добавил он, заметив нерешительность, с какою Бальнев брал окурки.

— Ин спасибо. Оно хорошо к месту-то. — Бальнев стал жадно и коротко глотать дым. Потом выдохнул его густым облачком и продолжал: — Не поверишь, супруга моя, Парасковья, ко мне накатила. Ну, о встрече что будешь говорить... Известно, поплакала надо мной, попричитала. Сердце, конечно сказать, надвое. Да... Погляделись с ней маленько, стали даже спорить! Она мне: «Домой повезу» — а я одно ей: «Параня, одумайся! Беспольный же я человек, одно основание, тоись...»

Нет, ни в какую!

Тогда я напролом пошел, идиот. Все одно, думаю, надо мне как-то ослобонить ее от себя.

«Параня, — говорю, — зажми свое сердце в кулак и слушай, чего я тебе сейчас скажу».

Она бесподобно побелела. Молчит, обмерла, видать. Сдогадалась, бедная, по голосу поняла, какую я, хороший муж, ей весточку собираюсь преподнести.

Бальнев снова так сжал багор, что следы от ожогов на пальцах стали лиловато-белыми.

— Вот ведь проклятой человек! Выложил ей все, как есть, про Галю про свою и про то, значит, что было промеж нас.

Парасковья моя слушает, а сама вроде окаменела. Ну, думаю, все: теперь-то уж уедет. Оклемается дома, забудет меня, дурака. Она ведь красивая, Парасковья моя, бесподобно.

Ну, ладно. Выслушала она меня, молчит. Встала — молчит, пошла — молчит.

Гляжу, через малое время приходят санитары, обряжают меня в одежду, валят на носилки, несут. И Парасковья с ними ходит бок о бок. «Куда?» — думаю. Не поверишь: домой привезла! Да с той самой поры хошь бы раз упречное слово! Это как? Как мне надо понимать?!

Голос Бальнева разом осекся. Последующие слова он говорил с трудом, задыхаясь:

— Ведь выходила... Можно сказать, из покойника человека сделала. Лекарства-то меня вряд подняли бы. Потому как поуродовался я бесподобно, представить даже невозможно.

Владимир присмотрелся: хотя и нелепой казалась фигура Бальнева, но никакого особенного уродства в ней не обнаруживалось.

— Мало сказать — выходила, нового человека из меня сделала Парасковья моя! Воскрес я с ней, так теперь сознаю!..

Он помолчал немного и доверительно сообщил:

— Деток народилось у нас еще трое. Два парня да девка. Всего-то с первенцем стало четверо. Не сказать, чтобы плохие ребята, все при деле и на хорошем счету у людей. Одно-то уж оженили по осени... Внучонок, понимаешь ли, завелся у нас с Парасковьей. Дочку, Дашеньку, ждем к июлю-то на каникулы из Москвы. На учење она там в институте.

Бальнев умолк и задумался. Было удивительно видеть на его бледно-лиловом лице какую-то наивно-горделивую улыбку, когда он снова заговорил:

— Ни в жизнь бы не поверил, что работу можно найти при моем-то калечестве! Да суседи стали надоумливать (смекаю теперь, что не без Парани обошлось), пристали с ножом к горлу: поди да поди на учет молока, на ферму. Я, бывало-то, там в бригадирах ходил. Попробовал я да вот уж какой год веду эту бухгалтерию. Не поверишь? Нынче, к майским праздникам, правление премию дало. За сохранность, мол, порядка на дворе, ну, и за прочее там... А разобраться, так я-то при чем?! Только что иногда слово какое найдешь по душе людям. Нет, усмотрели чего-то... Автомобиль мне инвалидный купили с ручным управлением. Ногами в нем вовсе нечего делать. Ну, я, конечно, стараюсь за это за все народу... Потому что люди-то понимают, ну, и я...

Бальнев опять помрачнел.

— Вот так дело и обернулось! Живи да радуйся. Так нет, ничего с характером своим не поделаю. Как представлю всю подлость свою и перед Галей и перед своей Парасковьей — все! Ложись и помирай. Заедает совесть, вовсе покою не дает...

Дашенька... Владимир слушал Бальнева, а имя его дочери не выходило из головы. У него тоже Дашенька. Правда, капризная, своевольная, кажется, стала. Но такая она даже интереснее прежней, робкой Дарюш. Это ей идет.

Показала Дарюш характер! Но если бы она смогла понять, как трудно ему, разве не нашла бы она для него таких слов, какие нашлись для мужа у Парасковьи Бальневой!..

Задумавшись, Владимир плохо вслушивался, о чем еще говорил Бальнев, но одна фраза снова насторожила, заставила переспросить:

— Вы, простите, о ком это?

— Да о брательнике о своем. Признаться, я больше и примчал сюда по этому делу. Как написал он в письме, мол, жить без нее невоготу стало, а она — по слухам — семейный человек-то, так и вошло мне в голову клином: «Поезжай! Может, он в чью-то

жизнь погибель несет; может, сам себе он враг, да только не понимает того?» Слепой он теперь, как котенок однодневный, потому любовь кому хочешь глаза застит, а ум отнимается навовсе.

Приехал я, присмотрелся: бабеночка и видом и умом — всем взяла, с образованием и на должности на руководящей. И ничего что с брательником-то погодки они: на личико она баска, прямо сказать, девка девкой.

Поспрашивал стороной: живет скромненько, чтобы там блажь какая-нибудь с нашим братом — и не подумать. А кто она, откуда, где ее начало? Спросить-то не у кого, вот беда!

Оно бы и неважно, откуда она. Не с прошлым жить, а с живым человеком. Но опять же рассудить: всякий ручеек свой исток имеет. А каков он, тот исток?

Родничок ли чистый или болотина? Это положено знать, если ты с человеком жить собрался на семейном положении.

Я втолковываю ему, брательнику-то, дескать, ты не жуй портянку-то, чего еще ждешь? Знакомы вы с ней разнакомы, ежедень видаетесь, для чего же не спросить, кто она в прошедшем времени? Нет ли где, может, детишков, муж куда запропастился, или навовсе холостая?

А мой-ет брательник... «Ты что это, — отвечает, — Роман, с ума ли мне советуешь? С чего это я полезу к ней с дикими расспросами? Я, — говорит, — люблю ее, и ничего больше мне не надо...»

Вот и толкуй! Я ему про Фому, а он мне про Ерему. А знаю, что спокою мне не будет, пока он не придет к какому ни то знаменателю, и уехать отсель не смогу до той поры.

— Да что вам в нем, в брате? Сами же говорите: взрослый, инженер... Неужели вы всерьез думаете, что он вас послушает, если обнаружится в невесте какой-то дефект?

Владимира уже стала забавлять забота этого чудака о чужом счастье. Но Бальнев не обратил никакого внимания на иронию в голосе собеседника.

— Послушает — не послушает... Разве в этом суть? Тут, брат, с другого конца надо подходить. Я ему, брательнику-то, вроде как отец, что ли сказать... А Парасковья моя почитай что мать. Он совсем малой у нас на руках остался. Ну, жена: поеду да поеду, присмотрю за его женитьбой. Разве мысленное это дело? Она же завфермой. А весна на носу, кормов-то чуть, живо можно стадо упустить. Не дай бог, говорю, Параня... Мне надо ехать. Мне-то в самый раз. Ну, поспорила, отпустила-таки. С народом потолковала, согласились, нашли мне замену.

Со стороны леса, на дороге к поселку, показалось двое.

— Кому-то еще не спится, — сказал Владимир с насмешкой и над самим собой и над своим собеседником. Дескать, вот еще чудаки появились, не одни мы целую ночь торчали на берегу реки.

Бальнев тоже посмотрел на дорогу.

## Глава девятая

— Вот он! Наконец-то! — просиял Бальнев.

Владимир взглянул еще раз. Глаза у него расширились, брови поползли под шляпу. Он как-то осторожно и неуверенно, точно не желая, чтобы видели это, поднялся с пенька.

Но Бальнев, занятый своими мыслями, ничего не замечал.

— Смотри: вот он, брательник-то мой! И можешь ты представить: с ним-то молодка... Та самая. Дашенькой зовут. Эх-ма! Не спится молодым-то! А то и хорошо, что не спится... В такую ли ночь спать? Ладно. Теперь и я к дому.

Он подумал о чем-то, улыбаясь:

— Видать, у них дело-то к концу, к итогу... Эх, ладно бы!

И сообщил Владимиру:

— Какую неделю я тут околачиваюсь! А что там, в колхозе? Верить ли, и сну-то, видать, нету из-за этого.

Бальнев неожиданно для привычного уже Владимиру его поведения радостно засуетился, но на этот раз не смог подняться с пенька сразу. Узкие гачи брюк натянулись и словно заклинили что-то в подколенках. Тогда он торопливо подтянул гачи выше колен, и Владимир увидел деревянные протезы обеих ног, на которых блестели полированным металлом рычажки и пружины.

— Чего глядишь? — справившись наконец со своими ногами и опустив гачи в широченные раструбы коротких сапог, подмигнул Бальнев. — Собственной конструкции! Штука бесподобная.

Он так же медленно, вразвалочку, зашагал вдоль берега и, обернувшись, уже на ходу спросил:

— Ты, парень, не пойдешь со мной? Ну, вольному воля... Хозяин — барин, как говорится: хочет живет, хочет удавится.

Владимир, все еще ошеломленный увиденным, хотя и смотрел на неуклюжую фигуру Бальнева, но чувствовал, что Даша с молодым человеком приближается к нему.

Дорога проходила рядом, скрыться некуда. Владимир, еще не уяснив себе, для чего он делает так, быстро подошел под окно к Алевтине Ивановне.

— Сладко же вы спите!

Алевтина Ивановна испуганно вскинулась.

— Доброе утро! — сказал ей Владимир, не в силах в то же время оторвать глаз от подходивших.

— Здравствуйте! — ответила ему Алевтина Ивановна, тоже кося глазом на пару. — Кто ж это? Неужто Дарья Борисовна? Да и...

Алевтина Ивановна посмотрела на Владимира и прикусила язык. «Не знал, с кем его Дашенька... Ишь как глаза-то забегали! Вот беда-то!»

— Дарья Борисовна, приветик! — крикнула она на всякий случай подошедшей Даше. — Александр Фомич, здравствуйте!

Рядом с Дашей шел высокий мужчина. Он, может быть, только ростом напоминал Романа Бальнева. Поношенный ватник он нес внакидку на одном плече. Лицо загорелое и, как показалось Владимиру, решительное. Болотные сапоги измазаны глиной.

Подошедшие поздоровались и хотели пройти мимо, но Владимир неожиданно для самого себя сказал:

— Даша, можно тебя на минутку? Она остановилась, не оборачиваясь.

— Что тебе надо?

Владимир подошел к ним — прямой, на негнущихся, словно чужих, ногах.

— Даша, ты напрасно демонстрируешь передо мной свою независимость... — задохнулся он.

Мужчина взял Дашу под руку и, чуть прищурившись, настороженно наблюдал за Владимиром.

— Ты ошибаешься... Демонстрировать просто нет необходимости, — твердо выговорила Даша.

— Я приехал сюда на работу, товарищ Обухова. — Владимир особенно нажал на официальный тон, выговаривал ее фамилию медленно, значительно. — И к тебе зашел, как...

Он быстро вскинул глаза на мужчину. Даша перехватила этот взгляд.

— Как мой муж? — досказала она. — Ты не стесняйся, Саша все знает...

«Саша!..»?

— Да?! Я не знаю никакого... Саши. — Владимир, стараясь сделать это насмешливо, поклонился неуклюже. — Но, очевидно, будем знакомы... По необходимости: в одном поселке придется жить.

Саша посмотрел на Владимира. Потом тихо сказал:

— Пойдем, Даша.

Они ушли. Внезапно наступила тишина. Владимир шагнул, запнулся за камушек на дороге и пошел прочь.

Алевтине Ивановне стало жалко его.

— На работу-то куда вас определили? — крикнула она ему вслед для того только, чтобы хоть таким образом показать ему свое участие.

Владимир остановился.

— На работу? Извольте, если вас интересует... Буду заведующим в вашем клубе.

Алевтина Ивановна стояла, открыв рот, часто дышала и шевелила губами, словно хотело спросить еще что-то.

г. Архангельск.

Ярослав Смеляков

Стихи, написанные  
на почте

Здесь две красотки, полным ходом  
делясь наличием идей,  
стоят за новым переводом  
от верных северных мужей.

По телефону-автомату,  
как школьник, знающий урок,  
кричит заметно глуховатый,  
но голосистый старичок.

И совершенно отрешенно  
студент с нахмуренным челом  
сидит, как Вертер обольщенный,  
за длинным письменным столом.

Кругом его галдит и пышет  
столпотворение само,  
а он, один, страдая, пишет  
свое заветное письмо.

Навряд ли лучшему служило,  
хотя оно уже старо,  
входя в казенные чернила,  
перержавелое перо.

То перечеркивает что-то,  
то озаряется на миг,  
как над контрольной работой  
отнюдь не первый ученик.

С той тщательностью, с тем терпением  
корпит над смыслом слов своих,  
как я над тем стихотвореньем,  
что мне дороже всех других.

Стихи, написанные  
в фотоателье

Живя свой век грешно и свято,  
недавно жители земли,  
придумав фотоаппараты,  
залог бессмертья обрели.

Что зеркало! Одно мгновенье,  
одна минута истекла,  
и веет холодом забвенья  
от опустевшего стекла.

А фотография сырая,  
продукт умелого труда,  
наш облик точно повторяет  
и закрепляет навсегда.

На самого себя не трушу  
глядеть тайком со стороны.  
Отретушированы души  
и в список вечный внесены.

И после смерти, как бы дома,  
существовать доступно мне  
в раю семейного альбома  
и в нашем клубе на стене.

Стихи, написанные  
1 Мая

Пролетарии всех стран,  
бейте в красный барабан!

Сил на это не жалейте,  
не глядите вкось и врозь —  
в обе палки вместе бейте  
так, чтоб небо затряслось.

Опускайте громче руку,  
извинений не прося,  
чтоб от этого от стуку  
отворилось всё и вся.

Грузчик, каменщик и плотник,  
весь народ мастеровой,  
выходите на субботник  
по масштабу мировой.

Наступает час расплаты  
за дубинки и штыки —  
собирайте все лопаты,

все мотыги и кирки.

Работенка вам по силам,  
по душе и по уму:  
ройте общую могилу  
Капиталу самому.

Ройте все единым духом,  
дружно плечи веселя,—  
пусть ему не станет пухом  
наша общая земля.

Мы ж не даром изучали  
«Манифест» и «Капитал».  
Маркс и Энгельс дело знали,  
Ленин дело понимал.

Стихи, написанные  
ненароком

Дымятся и потеют лица,  
гетеры старые снуют.  
Тут гладиатор и патриций  
из толстых кружек пиво пьют.

Еще пока никто не знает,  
ни исполком, ни постовой,  
что эта жалкая пивная  
уже описана тобой,

что эта вывеска, и стены,  
и ночью сторож вдоль пути  
сойдут с провинциальной сцены,  
чтобы в Историю войти.

Булат Окуджава

На тихоокеанском  
Бреге

Таксомоторная кибитка,  
трясущаяся от избытка  
былых ранений и заслуг,  
по сопкам ткет за кругом круг.  
Миную я глухие реки,  
и на каком-нибудь ночлеге  
мне чудится  
(хотя и слаб)  
переселенческой телеги  
скрип,  
и коней усталый храп,  
и мягкий стук тигриных лап,



напрягшихся в лихом набеге,  
и крик степи о человеке,  
и вдруг на океанском бреге —  
краб,  
распластавшийся, как раб...  
С фантазиями нету сладу:  
я вижу, как в чужом раю,  
перемахнув через ограду,  
отыскивая дичь свою,  
под носом у слепой двустволки  
малиновые бродят волки...  
Я их сквозь полночь узнаю.  
А сторож-то! Со сторожихой  
семидесятилетней, тихой!  
Им только б греть свои бока,  
пока созревшей облепихой  
дурманит их издалека,  
пока им дышится,  
пока  
им любопытны сны и толки,  
пока еще слышны им волки  
и августа мягка  
рука,  
пока кленовый лист узорный  
им выпадает на двоих...  
И я благословляю их,  
проезжий бог таксомоторный,  
невыспавшийся, тощий, черный,  
с дорожных облаков своих.

### Не о смерти

Умереть —  
тоже надо уметь,  
на свидание к небесам  
паруса выбирая тугие.  
Хорошо, если выберешь сам,  
хуже, если помогут другие.  
Умереть —  
тоже надо уметь,  
как прожить  
от признанья до сплетни,  
и успеть  
предпоследний мазок положить,  
сколотить табурет предпоследний.  
Умереть —  
тоже надо уметь,  
как бы жизнь ни ломала  
упрямо и часто...  
Отпущенье грехов займеть\*  
Ах, как этого мало  
для вечного счастья!

Что — грехи!  
Остаются стихи.  
Продолжают бесчинства по свету,  
не прося снисхожденья...  
Кабы вправду — грехи,  
а грехов-то ведь нету...  
Есть просто движенье!

Александр Сергеич

Не представляю Пушкина без падающего  
снега,  
бронзового Пушкина, что в плащ укрыт.  
Когда снежинки белые закружатся с неба,  
мне кажется, что бронза  
тихо звенит.  
Не представляю Родины без этого звона:  
в душу ее  
он успел врасти,  
как его поношенный сюртук зеленый,  
железная трость  
и перо — в горсти.  
Звени, звени, бронза. Так и согреешься.  
Падайте, снежинки,  
на плечи ему!  
У тех — всё утехи, у этих — всё зрелища,  
а Александр Сергеича  
ждут в том доме.  
И пока, на славу устав надеяться,  
мы строки строгаем свои нелегко,  
там гулять готовятся  
господа гвардейцы  
и к столу скликают  
«Вдова Клико».  
Там напропалую,  
как перед всем светом,  
как перед любовью, — всегда правы...  
Что ж мы осторожничаем!  
Мудрость не в этом.  
Со своим веком  
можно ль на «вы»!  
По Пушкинской площади плещут страсти,  
трамвайные жаворонки, грех и смех...  
Да не суетитесь вы! Не в этом  
счастье.  
Александр Сергеич  
помнит про всех.

Поэзия  
в столовке заводской

Поэзия в столовке заводской,

где щи кипят, где зреют макароны,  
где ежедневно, как прибой морской,  
ты переходишь в бой из обороны.

Здесь изучили всё за много лет,  
испробовали всё и повидали,  
от праздников и до военных бед  
И сыты были и недосдали,

В столовку заводскую, в гром ее,  
поэзия, неси свое искусство:  
здесь нужно откровение твое  
не менее, чем мясо и капуста.

Такие совершенства обнаружь,  
чтобы под стук подносов и ботинок  
желудков жар и жар сердец и душ  
вступали ежечасно в поединок.

Покуда правды жаждет род людской,  
будь начеку, не допусти промашку,  
встань во весь рост в столовке заводской,  
поэзия,  
с душою нараспашку!

Олег Дмитриев

Окна напротив

Загорелось напротив окно,  
И во двор опрокинулись тени  
Многочисленных хилых растений,  
Но без них-то нельзя все равно!  
Та семья, что живет за окном,  
Обожает герань и алоэ,  
И обличив кактуса злое  
Говорит им о чем-то лесном...  
Я люблю наблюдать ввечеру.  
Как в очерченном резко квадрате  
Начинают ребята игру,  
И старуха их гонит с кровати.  
Как является старец потом,  
И за белую скатерть садится,  
И на всех начинает сердиться.  
Тыча в каждого тонким перстом.  
После женщина входит. Она  
В угол сумку тяжелую ставит  
И отныне всем действием правит  
На широком экране окна.  
Собирается поздний обед,  
Борщ в глубоких тарелках сияет,  
И спокойствие в душу вселяет

Абажура оранжевый свет.  
Я смотрю, то смеюсь, то грустя.  
На простое их счастье, гадая,  
Отчего это плачет дитя  
И о чем говорит молодая...  
Я хотел бы, как греческий бог,  
Наблюдая их жизнь постоянно,  
Ограждать их от бед и тревог,  
От болезни и злого обмана!  
Но не ведают люди в окне,  
В электрическом жидком огне,  
Что; смеясь, я делю их удачу,  
Что над их огорченьями плачу,  
Что все время нужны они мне,  
Хоть для них ничего я не значу!

#### Московское мгновение

Выхожу из невзрачной столовки.  
Блещет небо, как блещет слюда.  
На трамвайной стою остановке  
У ларька, где вино и вода.  
Неприметное жизни мгновенье —  
Было лучше и хуже...  
Ну что ж!  
Слышу рельсов негромкое пенье,  
Вижу провода мелкую дрожь.  
Полон мир беспокойства и света,  
И различно тревожат меня  
Приближенья трамвая и лета  
На исходе весеннего дня.  
Надо ехать. Довольно лениться:  
Там, в озерной, лесной стороне,  
Вдохновенно горластая птица  
Распевает на влажном плетне!  
Я стою, о делах забывая,—  
С места взяли вагоны рывком,  
А в закрытые двери трамвая  
Бесполезно стучать кулаком.  
Не ругайся, чудак неуспевший,—  
На исходе весеннего дня  
К остановке, на миг опустевшей,  
Приближается лето, звеня!  
Что такое случилось в природе —  
И сказать не сумею,— когда,  
При тебе, при веселом народе,  
У ларька, где вино и вода!  
Очевидная светит граница  
Между этой минутой и той:  
Ты, и я, и горластая птица —  
За победной, зеленой чертой!

## Очередь 1946 года

Очередь за сахаром, за мылом,  
За пшеном, за серою мукой...  
А по лицам, бледным и унылым,  
Тихий разливается покой.  
Постепенно двигаемся с нею —  
Видно, нескончаема она.  
Темная, усталая — длиннее.  
Чем четырехлетняя питы.  
Я стою, ищу в карманах крошки,  
Теплыми монетами звеню  
И лиловый номер на ладошке  
Все оберегаю и храню.  
Он сегодня — хлеб, а завтра — дрожжи.  
Жди себе да двигайся вперед.  
Все придет не раньше и не позже —  
В свой, как полагается, черед.  
Очереди плавное течение —  
Поворот и снова поворот,  
Время, потерявшее значенье.  
Мерно над задворками плывет...  
А у магазина, перед входом,  
Прежде чем пустить через порог.  
Человек, поставленный народом.  
Строго твой осмотрит номерок.  
Затоскую: вдруг ненастоящий! —  
Руку протянув к его глазам.  
Обернется впередистоящий.  
— Парень здесь стоял, я видел сам! —  
Скажет ободряюще и веско...  
Выхожу я через главный вход,  
Долгожданной мякотью довеска  
До отказа набивая рот.  
А пока что будущее застит  
Впереди застывшая спина —  
Терпеливо ожидайте счастья,  
Всем нетерпеливым — грош цена.  
Медленными движется часами  
Медленный колышущийся ряд,  
Люди медленными голосами  
Медленные речи говорят...  
Только вдруг.  
Как будто силой взрыва.  
Очередь швырнет назад и вбок,  
И она сбивается визгливо  
В черный перепутанный клубок,  
Плач и крики сердце разрывают,  
Частоколом встали кулаки.  
Космы гнева на плечи сбивают  
Старенькие женские платки!  
Вижу: то юля, то угрожая,

Наглая, багровая, орет  
Рожа спекулянтская, чужая.  
Незаметно влезшая вперед.  
Проползет, покуда разбирают,  
Что да как,— на чью-нибудь беду...  
Беспокойно сзади напирают  
Место потерявшие в ряду.  
Но молчит, не веря охам, ахам,  
Ставшая железною почти  
Очередь, спрессованная страхом,—  
Никому не выйти, не войти!  
Только что бурлила и кружила,  
Мягко растекалась, как вода,  
А теперь, как сжатая пружина,  
Вздрагивает только иногда...  
Я стоял почти до отупенья,  
Не хитрил и не играл с судьбой,  
Я учился мудрости терпенья  
И умению быть самим собой.  
Но порой гнетет меня обида,  
К горлу поднимается комок —  
Пушкина, Тургенева, Майн Рида  
Я читать бы в это время мог,  
Я бы делал разные модели.  
Шахматные книги изучал,  
Сосчитайте: долгие недели  
Я в хвостах огромных проторчал!  
Юность очень мало наверстала,  
Но по выражению лица  
Я могу еще за два коартала  
Разглядеть любого подлеца!  
Ненавижу рожу спекулянта  
И в литературе и в любви!  
Светом невеликого таланта  
Строчки озаренные мои,  
Становитесь в очередь за славой,  
Но не становитесь на пути  
Тех, кто по порядку и по праву  
Должен быть сегодня впереди...  
Все придет в положенные сроки.  
Очередь из детства.  
Забывье.  
Забываю ложь ее и склоки  
И жестокость трудную ее.  
Не забуду все вперед идущий  
Темный ряд.  
В сороковых годах  
Люди ожидают день грядущий.  
Строгая порядочность в рядах.

Черепаша

Торопливо в магазин вошла.  
Где зеленый попугайчик свищет.  
Удивленным взглядом из угла  
Женщина чего-то долго ищет.  
К продавцу протиснулась бочком  
И в людской колышущейся гуще  
Засмотрелась вспыхнувшим зрачком  
На плывущих, скачущих, поющих...  
В суете, в веселой толкотне,  
Улыбаясь, говорит устало:  
«Черепашу подберите мне.  
Внучка плачет. Кушать перестала».  
Продавец ей выбрал наугад  
Маленького «божьего урода».  
Расспросила, что они едят  
И какого требуют ухода.  
Заплатила и домой скорей!  
В магазин другой не заходила.  
Внучка заплясала у дверей!  
Женщина смеется: «Угодила...»  
Вот и снова в доме благодать —  
Внучка распевает и хохочет,  
Внучка кушать ничего не хочет,  
Хочет с черепахою играть!..  
Внучка спит. В квартире тишина.  
Бродит черепаха по паркету.  
Женщина задумалась. Одна.  
С той войны проклятой мужа нету.  
Все сидит с ладонью у щеки.  
Смотрит на цветастые обои.  
Может, видит желтые пески.  
Много солнца, море голубое...  
В Африке, конечно, не была.  
На моря не ездила покуда.  
В доме от угла и до угла  
Ковыляет маленькое чудо,  
Уголок капустного листа  
Все жует и так смешно ступает...  
Что со мной!  
Такая теплота  
Почему-то к сердцу подступает!  
Что со мною!  
Женщина сидит.  
Отрешенный взгляд и профиль тонкий.  
Внучка спит.  
И черепаха спит.  
На газете в розовой картонке.

## РАССКАЗ

Альберт Лиханов

## Сто шестой элемент

Мы с Сенькой сидели друг против друга за столами, на которых лежали авторские письма, обкапанные нашими чернилами, словно слезами. Впрочем, трудно сказать, что Сенька сидел. Он все время пребывал на двух точках опоры. Его стул стоял на двух задних ножках. А Сенька «держал равновесие». Каждую секунду Сенькин стул клонился то назад, то вперед, и тогда Семен легким прикосновением пальцев к столу восстанавливал равновесие.

Рабочий день давно уже кончился, и Сенька считал, что держит равновесие с чистой совестью.

В соседней комнате покашливал шеф. Он трудился. Он вообще жил не как все люди. Он начинал работать, когда другие кончали.

В пять часов хлопали двери соседних кабинетов и торжественно, ликуя, звенели «английские» замки. Тогда шеф закуривал папироску и, утопая в клубах дыма, клал перед собой пачку чистой бумаги. Наконец-то телефон, который, казалось, даже разогрелся за день непрерывной работы, потихоньку остывал. Только иногда в нем внутри что-то брякало. Он словно всхрапывал, как старый мерин ночью на конюшне. Шеф внимательно смотрел на него поверх очков, и телефон послушно умолкал.

Шеф начинал работать. А мы, сдав ему пяток тощеньких информации, принимались мечтать.

Вот тогда Сенька садился на две точки. Это отнюдь не означало, что мыслительные центры его прекращали свою функциональную деятельность, Наоборот, они оживали.

Покачавшись на стуле, Сенька обычно говорил:

— Нет, нет, пора браться за настоящее дело! Ты знаешь, Колька, о чем я мечтаю? Я мечтаю написать очерк об атомщиках. Об открытии сто шестого элемента... Представляешь?

Он снова становился на две свои излюбленные точки.

— Нет, ты представляешь?! — восторгался он собственной идеей.

Честно говоря, мне было трудно представить, как это Сенька будет писать очерк о физиках и об открытии сто шестого элемента, если мы всего-навсего на практике, и вряд ли редакция доверит нам такую тему, а самое главное, попали мы в городок, в такую дыру, где никаких физиков и в помине нет, если не считать двух наших знакомых «физичек» со второго курса пединститута. Так что до сто шестого элемента отсюда так же далеко, как до средней звезды в созвездии Гончих Псов. К тому же я прекрасно знал, что ни Сенька, ни я без подписи к картинке никак не узнаем, протон это или схема детекторного приемника. Сенька говорил даже, что, сдав последний экзамен по математике, он немедля сжег всякие там геометрии. Он вообще был сторонником крайних мер.

Обычно я говорил все это Сеньке, и он сразу же переходил на четыре точки.

Он сокрушал меня железной логикой доказательства, что «кто хочет, тот добьется», а я жалкое, никчемное существо, которому надо после факультета журналистики идти не в газету, а в аспирантуру, потому что журналиста из меня все равно не будет...

Обычно нас успокаивал шеф. Он входил в комнату с бумагами, подходил к Сеньке и говорил ему:

— Семен, дорогой, будь другом, выправь еще вот эту заметку, выручи старика... — И добавлял: — В номер.

Потом получал свою порцию я, и шеф выходил, плотно притворив за собой дверь. Сенька шипел.

— Кто мы?! — риторически восклицал Сенька злым шепотом. — Конторские крысы? Мы журналисты!

Он демонстративно скрипел пером по бумаге, перечеркивал слова и возмущался:

— Мы должны писать!

Перо скрипело снова и рвало бумагу. Новые кляксы падали на авторские письма.



— Писать, а не править чужие писульки!

Что греха таить, я был согласен с ним! Вся разница была только в том, что Сенька мечтал всегда о чем-то несбыточном, как сейчас вот о физиках. Мне это казалось слишком сложным, я всегда считал, что мы не подготовлены писать о физиках, а вот добротный репортаж или зарисовку с местного машиностроительного завода — тут стоило попотеть. Правда, когда я говорил об этом, Сенька обзывал меня сложным термином «приземленец».

Мы учились на третьем курсе, и журналистика была для нас еще чем-то довольно смутным.

Журналистика нам представлялась шумными фельетонами, когда за газетами будет выстраиваться длинная очередь к киоску. И еще желтенькой, скрипящей кожей футляра нового фотоаппарата и пишущей машинкой «Колибри» весом всего полтора кило. И еще конгрессами, съездами, пресс-конференциями. И в конце концов томом очерков, на титульном листе которого будет начертано твое имя, и не просто С. Пантелеев или Н. Кочкин, как в газете, а полностью: Семен Пантелеев и Николай Кочкин.

Когда нас спрашивали, с какого мы факультета, мы всегда говорили с гордостью:

— Мы журналисты!

И хотя правильнее было бы говорить: «Мы с факультета журналистики» или просто: «С журналистики», — мы говорили всегда только так:

— Мы журналисты.

Вот и сейчас Сенька закончил свой страстный монолог шепотом все этой же фразой:

— Мы же журналисты! А не какие-нибудь... Изредка всхлипывал телефон в комнате у шефа.

Мы скрипели перьями, доделывая свои строки в очередной номер. Была тишина.

И вдруг ее не стало. В коридоре затопало целое стадо. Мы слышали, как много людей шаркали ногами по коридору и вполголоса переговаривались о чем-то. Потом шаги умолкли. У наших дверей.

Дверь, скрипнув, приоткрылась, и мы увидели нос, усыпанный веснушками, и белую челку. И глаза. Синие-синие глаза. Они были сосредоточены и серьезны. Они хотели что-то спросить.

И мальчишка спросил:

— Это здесь типография?

— Нет, — ответил я. Он не успокоился.

— А где печатают газету?

— В типографии.

Паренек задумался. Газета и все с нею связанное было для него далеким и смутным понятием. Он кашлянул. Сзади, за его спиной, послышалось сдержанное шушуканье. Мальчишка хотел спросить еще что-то, но Сенька позвал его в комнату.

Дверь открылась пошире, и мальчишка вошел и плотно прикрыл дверь.

— А там кто? — спросил Сенька.

— Ребята.

— Ну так пусть и они заходят. Парень открыл дверь и сказал:

— Идите сюда.

В коридоре кто-то хихикнул, одну девчонку в красном платье вытолкнули вперед, и она сказала громко и возмущенно:

— Ой, Генка, вреднулина! — но в комнату вошла первой.

За ней входили мальчишки и девчонки, страшно жизнерадостные — они все до одного улыбались, но это, видно, от смущения. Как только они переступали порог, сразу становились серьезными и больше уже почему-то не улыбались.

Сенька встал перед ними и скрестил руки на груди, как Наполеон.

— Ну? — спросил он. — Что у вас?

— У нас детской площадки нет, — сказал тот самый, в веснушках.

— У нас ребят во дворе много, а детской площадки нет, — подтвердила девчонка в красном платье, которую первой втолкнули в комнату. Тоже, видно, зачинщица.

— Вот мы и пришли в типографию, — добавил веснушчатый.

— М-да! — сказал многозначительно Сенька. — М-да, — повторил он и добавил: — Так вы не туда пришли. Типография не здесь...

— Ну, Сенька, — не выдержал я, — не мучай ребят!

Потом мы рассадили ребят, но стульев не хватило, и двое самых маленьких шпингалетов уселись прямо на паркет. И молча, только изредка шмыгая носами, смотрели, открыв рот, то на Сеньку, то на меня. Когда они шевелились, из дырочек их сандалий на паркет сыпался песок. Вот так они и сидели.

Молчали и сыпали песок. А остальные все разом заговорили и, возмущаясь, рассказали нам, какой зловерный у них домком — он не хочет сделать площадку, а во дворе живет сорок или пятьдесят ребят, и вот теперь они не знают, как быть.

— Хорошо, — сказал Семен тоном многолетнего папаши, в авторитете которого нельзя сомневаться, — не волнуйтесь, дети. Приходите ко мне через два дня.

Дети поднялись и ушли, и только после двух маленьких голопузиков, которые сидели на полу, остался песок. Он скрипел под ногами.

Вначале я не обратил внимания на это Сенькино выражение: «Приходите ко мне». Потом только, когда он стал звонить в горком комсомола, я понял, почему он так сказал. Понял я это по Сенькиному тону. Он сказал, что звонят из партийной газеты и что в редакцию поступила жалоба на плохую организацию летнего отдыха во дворе дома № 86 по улице Карла Либкнехта. Судя по выражению Сенькиного лица, на другом конце провода его заверили, что сейчас же свяжутся с домоуправлением и разберутся. Сенька и не ждал другого ответа. Он был уверен, что дело не стоит выеденного яйца.

Ровно через два дня, в то же самое время, когда Сенька держал равновесие и возмущался, что нас, журналистов, заставляют обрабатывать чьи-то писульки и не дают настоящего дела, дверь снова приоткрылась и снова заглянул тот же паренек с челкой.

Потом он вошел в комнату, а за ним вся делегация в том же составе. Только те двое карапузов в последний момент, уже на пороге, косясь на нас, что-то зашептали своей начальнице в красном платье, и она срочно утащила их в дальний конец коридора.

— Ну как? — спросил Семен у «веснушки». — Сделали уже?

Он был уверен, что сделали. Наверняка сделали. Как могли не сделать, если звонили из партийной газеты! Сенька был уверен, что все в порядке, что зря пришли сегодня эти привередливые ребята, им, наверное, еще что-нибудь надо. «Гигантские шаги» или карусель. Придется звонить еще...

— Нет, — ответил «веснушка». — И не подумали. Сенька серьезно посмотрел на него и сказал:

— Ну, значит, завтра сделают. — И добавил неуверенно: — Или послезавтра...

— Не, — ответил мальчишка. — Не сделают...

Все смотрели на нас строго и печально, словно они, малыши, лучше нас знают, что ничего такого не изменится у них во дворе ни завтра, ни послезавтра.

— Хорошо, — сказал Сенька, — приходите завтра, ребята. Я с ними поговорю. Безобразия! О детях не заботятся!

Сенька встал и заходил, размахивая руками. Он возмущался очень искренне, и ребята поверили нам. Они ушли, и каждый сказал по очереди, выходя:

— До свидания!

— До свидания!

— До свидания!

— До свидания!

А одна девочка сказала даже так:

— До свидания, дяденька!

Это она хотела выразить особое расположение к нам и к редакции и надежду на нашу помощь.

— Между прочим, — сказал я Семену, — тебя раньше называли когда-нибудь дяденькой?

— Отстань, — огрызнулся Сенька. Он думал о чем-то серьезном.

Ребята ушли, и я посмотрел на дверь в комнату шефа. Она была приоткрыта. Мы посидели молча.

Неожиданно шеф сказал из своей комнаты:

— Сеня, позвоните в горжилуправление завтра. А потом домоуправляющему. Поговорите с ним лично.

— «Цеу» получено! — прошептал Сенька. Но на другой день домоуправляющему позвонил. Не знаю, о чем и как он говорил и что отвечал ему домоуправ, я уходил на завод. Но когда вернулся, Сенька не мог работать.

Он каждую минуту отрывался от дела и говорил:

— Ну и ну! Ну и ну!

При этом он то бледнел, то краснел.

Оказалось, домоуправляющий согласен дать материалы для площадки. Но площадку негде строить. В самом центре двора лежат дрова. И хозяйка этих дров не соглашается их убрать. Так что он ничего не может...

В этом месте Сенька крикнул по телефону:

— Эх вы! А еще управляющий домами! И швырнул трубку.

Вечером снова пришли ребята. Их было уже меньше.

Когда они расселись, оказалось, что есть даже пустые стулья.

— Ну что? — спросил их Сенька грустно. «Веснушка» покачал головой.

— Дрова мешают? — спросил Сенька, и мальчишка кивнул головой.

— Нет, вы скажите, дрова мешают! И некому их убрать!

Сенька опять разошелся и не заметил, как вошел шеф. Конечно же, он был куда старше нас, и ребята, когда он вошел, все вдруг встали и поздоровались нестройным хором.

— Значит, не выходит? — спросил шеф таким тоном, будто был в курсе всех дел и не к нам, а к нему приходили ребята вот уже два раза.

— Не выходит, Сергей Васильевич, — сказал Сенька. И добавил расстроено: — На дворе трава, на траве дрова...

— Ну и как вы, Сеня, думаете? — спросил шеф. — Что дальше?

— Просто не знаю, — сказал Сенька. — Безобразие какое-то!

— Ага, — сказал шеф спокойно и улыбнулся. — Форменное безобразие. — Он подмигнул ребятам, и те сразу повеселели. — А ну-ка пойдёмте на ваш знаменитый двор! Пойдёмте-ка уберем ваши дрова!

Сенька вопросительно посмотрел на меня. И мы разом поднялись из-за своих столов.

Двор был не близко. Но и не так уж далеко.

«Веснушка» повел нас по длинному коридору и показал комнату, где жил домком. Шеф постучался. Дверь открылась, и вылез здоровенный мужик с седой щетиной на месте бороды и в зеленом замасленном кителе.

— Ну? — спросил он. — Вам чево?

— Мы из газеты, — начал было Семен.

— Нащёт площадки? — поинтересовался домком.

— Ага, — ответил шеф ему в тон. — Нащёт ее самой.

— Не можем! — сказал замасленный френч. — Дровишки тама одной старушенции.

Не хочет убирать.

— А вы с ней говорили? — спросил я.

— Хе-хе, она и говорить не хочет.

— Ну-у? — удивился шеф. — Вот так старушенция! Свирепая? — поинтересовался он у домкома.

— Точно! — обрадовался тот. — Свирепая!

Шеф повернулся к нам и сказал:

— А ну, ребятки! Сложим свои головы на дворе дома номер восемьдесят шесть!

Мы весело застучали ботинками за шефом, и из комнат коммунального коридора стали выглядывать удивленные лица. «Веснушка» бодро показывал нам путь.

«Свирепую» старушку звали Анна Ивановна.

— Что ж вы, бабушка, — сказал шеф. — Нехорошо! Ребятишкам играть негде, а вы дрова убрать не хотите!

— Ми-и-лай! — ответила бабка молодым голосом. — Да откуда ж мне! Вот пыльщикова подрядила, так у них очередь. Как за квартирами. Говорят, через месяц придем. А если раньше надо, — плати проценты. А какие у меня проценты? Одна пенсия.

Старушка оказалась довольно прогрессивной и быстро поняла, что навстречу ей идет не кто-нибудь, а сама общественность. Предложение распилить дрова бесплатно, силами двора, она встретила, с одной стороны, одобрительно, а с другой — недоверчиво.

— Ой, милай, — сказала она весело шефу. — Да кто ж пилить-та будет?

— Идемте, бабушка! — сказал шеф и пошел вперед.

— Шагайте, бабуля! — сказал ей Семен. — Общественность вас не забудет.

— Пожалуйста, бабушка, — сказал я, и мы все гуськом вышли на вечерний двор.

Мы деловито обошли гору толстенных сосновых бревен. Они лежали прямо посреди двора и были накрепко обмотаны железной проволокой — чтоб не разворовали.

Потом шеф подошел к зеленому френчу и сказал решительно:

— Дайте нам пилу!

Домком внимательно разглядывал нас: видно, мы не внушали ему доверия. Он крепко сомневался, что мы из редакции. Он никак не мог поверить, что начальство, а, по его мнению, в газете работало одно начальство, может прийти во двор и вот так собственноручно пилить вдруг дрова. Он явно принимал нас за самозванцев. Но высказать это вслух не решился и не торопясь побрел за пилой.

Мы с Сенькой не теряли зря времени. Я принялся разматывать оградительную проволоку с дров, а он сделал круг по двору в поисках козел. Сенька долго кружил вдоль серых сараев с многочисленными дверцами и гирляндами тяжелых железных замков на них. Козлы были в каждом сарайчике. Но их отделяли от Сеньки железные замки, которые даже Сенькино упорство не могло открыть. Он мчался вдоль дверей и замков и скрежетал зубами.

Во дворе появились любопытные. Они стояли вдали от нас и недоверчиво разглядывали подозрительную тройку, которая копошилась у них во дворе. Особенно им не нравился Сенька, который шастал возле их замков.

Наконец Семен нашел дряхлые, полуразвалившиеся козлы. Ножки у них пронзительно скрипели и шатались. Сенька приволок их к дровам.

Домком принес пилу и даже топор. Потом мы трое поднатужились, с пыхтением подняли толстое бревно и положили его на козлы.

«Кр-р-р-ак!» — и одна ножка у козел с протяжным воплем отлетела. Бревно наклонилось в сторону и с гулким оханьем упало на землю.

— Семеновна! — позвал кто-то спокойно. — Твои козлы ухайдакали!

Из толпы любопытных вырвалась гетка в платке, повязанном по самый лоб, и междулась к нам.

— Ох, идола окаянные! — закричала она. — Козлы мои доломали. Кто платить будет?

Толпа заволновалась.

Я опешил. Я не знал, что сказать. Ведь в следующую минуту нас запросто могли изгнать с этого двора. Тем более что зеленый френч, он же домком, уже вертелся в толпе, крутил головой и пальцем показывал на нас.

В эту минуту к тетке подошел Семен и вдруг сказал:

— Вы Семеновна? Она кивнула.

— А я Семен!

Это произвело на тетку неожиданное впечатление. Нижняя челюсть у нее отвалилась, и рот открылся. Она не сводила глаз с Сеньки и молчала. Толпа утихла. А он продолжал:

— Стыдно иметь такие козлы!

А потом крикнул, обращаясь к тетке, так, чтобы и остальные все слышали:

— Зажались все! — крикнул он. — В каждой сарайке, поди-ка, хорошие козлы есть!

Толпа безмолвствовала.

Тогда Сенька добавил уже спокойнее:

— Ладно, Семеновна, не волнуйся! Сварганим мы тебе сейчас козлы — век благодарить будешь!

Я глядел на Сеньку, замороженный. А он взял топор, ловко поддел из бревен пару ржавых и гнутых гвоздей, распрямил их и подошел к козлам.

Я с замиранием сердца смотрел на Сеньку. Да если б только я! Весь двор смотрел на него. И Семеновна, и старушенция Анна Ивановна, и домком в зеленом френче, и мужики, которые перепилили на своем веку не один кубометр собственных дровишек и смастерили себе не одни козлы. И «веснушка» смотрел на Сеньку и вся малышня — с надеждой и верой.

Я же глядел на Сеньку со страхом. Шеф — с усмешкой.

Никто, кроме меня, — ни шеф, ни «веснушка», ни другие не знали, что Сенька родился и вырос в большом каменном доме с паровым отоплением. Он никогда в жизни не пилил дров и уж тем более не мастерил козел. У него были интеллигентные родители — преподаватели литературы в университете, и Сенька никогда не испытывал тяги к технике. Даже к такой примитивной, как топор и гвозди.

Я боялся только одного — первого ударе. Я ждал, что Сенька непременно попадет мимо гвоздя, ударит по пальцам, и все во дворе засмеются над нами и разойдутся по домам, и тогда — все кончено, мы уйдем с позором, побежденными.

А Сенька приложил козлиную ногу к «туловищу», приставил гвоздь и перед тем, как замахнуться, взглянул на меня. Я увидел почти остекленевшие Сенькины глаза и жилку на шее. Жилка билась и вздрагивала. Сенька волновался, как никогда в жизни.

Вот он легонько замахнулся и ударил. Я зажмурился. Но удар оказался сухим и точным. Сенька бил по гвоздю, как заправский плотник. Первый гвоздь он забил с трех ударов, второй — с двух. Потом он потряс посильнее козлиную ногу — крепко ли? — и небрежно кинул топор в сторону.

Мы взяли за бревно и положили его на козлы. Они даже не пискнули. А по Сенькиному лбу катилась капелька пота. Вот что могут сделать с человеком какие-то козлы! Я облегченно вздохнул. Все-таки молоток, Сенька!

Потом мы с Сенькой пилили бревна, и тонкое золотистое крошево опилок забивалось в наши остроносые австрийские полуботинки, падало на брюки, но мы не замечали ничего этого, а пилили, пилили, пилили.

Чурбаны со скрипом отваливались от бревна, и время от времени шеф подменял одного из нас.

Потом мы стали меняться все чаще. Ломило в пояснице. Каждый раз, отрываясь от пилы, было все труднее разогнуться, не схватившись за спину.

Мы пилили со страшной скоростью, и только шеф, становясь в пару с кем-нибудь из нас, сдерживал пыл, сохраняя жалкие остатки нашей энергии.

Я чувствовал, что рубашка моя промокла вся и прилипла к спине. Пот катился с нас ливнем.

А гора чурок росла и росла, мешая пилить.

Тогда «веснушка» и девчонка в красном платье принялись откатывать чурки в сторону. Завозились и другие ребята. Даже два карапуза, те, что всегда молчали и только песок сыпали сквозь дырочки своих сандалий, надувшись, как пузыри, силились поднять тяжелую чурку. Они пыхтели где-то возле моих ног, похожие на двух муравьишек, которые не могут осилить свою ношу. Краем глаза я смотрел на них. Вот они поставили чурку на

попа, но сырая болванка наклонилась прямо на одного малыша. Сейчас придавит! Я бросил пилу и кинулся к чурке. А когда повернулся, пила снова пела. Какой-то парень захватил мое место, а бойкая Семеновна уже разжимала побелевшие пальцы Семена, из последних сил сжимавшие пилу.

Мы разогнулись и шагнули вбок. Рядом появился шеф. Дрожащей рукой он протянул нам по сигаретке. На нас никто не обращал внимания. Небритый домком, скинув замасленный френч, заправски помахивал топором. Какие-то толстые тетки, что стояли в толпе, тащили от сараев еще одни козлы.

Сенька толкнул меня в бок. В сторонке два мужика, скинув рубахи и одинаковые синие майки, играя мускулатурой, отбивали колуны.

Оглянуться мы не успели, как уже не одна, а три пилы звенели во дворе.

Вечернее солнце заглянуло между сараев, сделав медными лица людей, их руки и одежду. Пилы, поблескивая на солнце, как серебряные смычки в руках скрипачей, пели разудалую абстрактную симфонию. Топоры, всплескивая на подъеме, ухали ровно и методично, будто барабаны. Шум и скрежет стояли ужасные, а нам они казались самой сладкой музыкой.

Откуда-то из-под локтя вынырнула Анна Ивановна, владелица дров. Она держала в ладонях невиданную медную кружку, литра на полтора, самое малое. — На-ко-те, милые, испейте. Я передал кружку Сеньке, а он шефу. Шеф посмотрел на нас, прищурясь, и отпил свое. Мы пропустили кружку по кругу, и остатки я вылили Сеньке за шиворот. Он загоготал от удовольствия, и мы закурили еще по одной. Анна Ивановна исчезла так же, как и появилась. Вокруг шумела рабочая карусель, и людям было не до нас.

Мы повернулись и потихоньку тронули домой. Шеф шел молча, только изредка улыбался, На углу он пожал нам руки и спросил:

— Ну как, журналисты?

— Да ничего, Сергей Васильевич!

Потом мы с Сенькой отправились в общежитие, и, хотя было до него рукой подать, добирались мы долго-долго. Мы шагали по тротуарам мимо старых деревянных домишек, обросших черемухой, щелкали каблуками австрийских полуботинок по асфальту широкого проспекта и болтали о том о сем. Нет, ни о чем серьезном мы не говорили. Мы просто дышали прохладным вечерним воздухом.

— Говорят, — сказал Сенька, — чтобы хорошо о чем-то написать, надо самому все это прочувствовать...

— Ага, — ответил я, — говорят...

— А как тут будешь писать о физиках? — спросил он. — Я же не физик. У них там тысячи опытов. Расщепляют... А я...

— А что ты? — сказал я. — Они расщепляют атомы, а ты — дрова.

Мы до поздней ночи добирались до общежития, которое было рядом. Приятно гудели руки. Мы шли и болтали о том о сем.

Нет, ни о чем серьезном мы не говорили.

С бурятского

Дондок Улзытуев

Жаворонок

В нагретой и сухой траве  
лежу в стели. Прошла усталость.  
Где же певец! Где эта малость,  
трепещущая в синеве!  
Вот проблеснул — я вижу точку.

Теперь возьму тебя я в толк.  
Вот сделал петельку, вот «бочку»,  
вот крылышки сложил, умолк,  
и падает, и снова кружит,  
и замирает, и поет,  
и петельки незримых кружев  
себе плетет, плетет, плетет...  
Он неба малая частица,  
все песенки его просты,  
и я, лежащий, с высоты  
ему кажусь парящей птицей.  
Ах, жаворонок! Для того,  
чтоб так парить и в небе стынуть,  
мне надо землю опрокинуть —  
пожалуй, только и всего.  
Он в небе исчезает снова,  
и песня сыплется дождем,  
и я не знаю, для какого  
полета я на свет рожден.  
Свяжу ль невидимый узор  
и птичье повторю круженье!  
Лежу — безмолвный, без движенья  
в степи — и руки распростер...

#### Напутствие

Когда занимается утро,  
и травы синеют в степи,  
и спит твоя старая юрта,—  
тихонько за полог ступи.  
Над степью, над раннею ранью  
увидят вот-вот облака,  
как солнце плывет в океане  
и светит им издалека.  
Сейчас, между ночью и утром,  
еще в полумглу, в полусвет  
простор рассветающий убран,  
где твой обозначился след.  
Твой след по росе. Он уводит  
от дома тебя в города.  
И все ж тебя юрта воротит  
когда-нибудь и навсегда.  
И к родине сладкую тягу  
ты чувствуешь всегда и везде.  
Не раз еще примет бродягу  
родная земля Улзытэ.  
Наверное, блудного сына  
так властно и тянет она,  
что где-то его пуповина  
под травами погребена.  
О старый и мудрый обычай!  
Куда бы пути ни вели,

когда тебя спросят: — А ты чей! —  
ответишь:

— Бурятской земли!

Ты будешь душою просторен,  
как эта рассветная степь,  
в которой закопан твой корень,  
твоя материнская крепь...

\*

И вот теперь уже сквозь годы  
ясней, чем в детстве, вижу я,  
как ночью у холмов Могойты  
идет за плугом мать моя.  
Проблескивает лемех синий  
и месяц в тучах в вышине.  
Я, маленький и слабосильный,  
плетусь в сторонке по стерне.  
Весенний месяц молодой  
скрывается за тучу или  
обводит светлую чертой  
и мать, и плуг, и лошадь в мыле.  
Она встает, и часто-часто  
вздымаются ее бока,  
и понукать ее напрасно,  
хоть борозда неглубока.  
И снова ходят круг за кругом  
мать, сын и лошадь. Тишина.  
А где-то далеко война  
кромсает землю страшным плугом.  
Там кровь и русских и бурят  
на взорванную землю льется.  
А тут, в степи, любой снаряд  
трудом и горем отдается.  
В степи ночной грохочет гром.  
Мать в борозде стоит сутуло  
и чутко. Вот она вздохнула  
и лоб отерла рукавом...  
Тогда мне это понимать  
и видеть срок еще не вышел,  
и дальних взрывов я не слышал.  
Я знаю: слушала их мать.  
Я матери ровесник: ныне  
мне столько, сколько было ей,  
и я стою посередине  
дороги жизненной моей.  
Все видимо, и все звучит  
уже осмысленно и ясно:  
как наша лошадь дышит часто,  
как мать вздыхает и молчит.

Перевод В. ЛЕОНОВИЧА,



Дмитрий Голубков

Страница старой книги  
Страница-страница,  
Как стара!  
От костра спаслась ты,  
От топора...  
Страница-страница,  
Белый плат.  
Буковки лукавые  
Зорко глядят.  
Скромницей проникнешь,  
Бывало,  
в тишь,—  
Шепоточком вскрикнешь —  
И прельстишь!  
И письмом подметным  
Взманишь вдруг —  
Соколом залетным  
На казачий юг.  
А сама, прокудлива,  
На полочку скок.  
Закусив покудова  
Язычок...  
Старая поднатчица.  
Вкрадчивая странница.  
Все переиначится —  
Суть твоя останется.  
Строчки не потухли —  
С виду лишь тусклы.  
Буквы — ровно угли  
Средь седой золы.  
Древняя странница.  
Путь далёко тянется,  
С Млечным,  
с вечным схож.  
Что с землей ни станется,  
Дальше ты пойдешь.

\*

Цветет бузина.  
Близ юного сада —  
Такая досада!—  
Она рождена.  
Ее ли вина,  
Что так непокорен  
Лихой ее корень,  
Что жизнь ей дана!  
«Скромна, да вредна!..»  
Куст били,

топтали.  
Рубили,  
пытали.  
Как встарь колдуна.  
Нища и пышна,  
Опять поднималась,  
Цвести принималась  
Ее купина.  
Но гибель страшна —  
И пахнет украдкой,  
Чуть слышно,  
чуть сладко  
В углу бузина.  
Привет, старина!  
Твой запах простецкий  
Мне памятен с детства  
На все времена.  
...Восходит весна.  
С отцом за сараем  
Картошку сажаем.  
Вдруг — надо ж! — она.  
— Опять, сатана!  
Ведь выдрал когда-то.  
Сейчас вот — лопатой...  
Цвела бузина.  
— Вот, блудня, сильна! —  
Отец размахнулся  
И вдруг — усмехнулся:  
— Слышь! Пахнет она...  
Цвела бузина.  
И в гроздочке желтой  
Шмель — рыжий оболтус —  
Пьянел без вина.  
Как бы смущена  
Своим небогатым,  
Простым ароматом,  
Цвела бузина.  
Была тишина.  
Промолвил отец мой:  
— Цвети уж, усердствуй.  
Покуда весна...  
Как память странна!  
Какая-то спичка —  
И яркая вспышка,  
И тьма сожжена.  
И детства страна  
Опять зелена.  
И живы родные.  
И — словно впервые —  
Цветет бузина.

Бессмертье

Как узник точит ход в стене.  
Так, городской асфальт буравя,  
Стремится к солнцу по весне  
Бесстрашное зеленотравье.

Зерно упавшее умрет,  
Но, верное земле весенней,  
Оно дает вихрастый всход —  
Свое прямое продолженье.

Из ночи в день,  
Из мрака в свет.  
Земля упорно путь свой чертит.  
Я верю:  
Смерти в мире нет.  
Я знаю:  
В мире есть бессмертье.

## РАССКАЗ

Игорь Минутко

Одесский трамвай

Я прожил в Одессе месяц. Сейчас за моим окном дождливое небо Средней России, ветер гнет зеленые макушки кленов, в тумане тонут горизонты, и, хотя август, я чувствую дыхание осени...

И я вспоминаю Одессу. Но вспоминается почему-то не море с прозрачными скользкими медузами, не Приморский бульвар со знаменитой Потемкинской лестницей, не Одесский порт, который, конечно же, «в ночи простерт», и даже не милые одесситы. Я вспоминаю трамвай номер сорок один, возивший меня от дома отдыха на шестнадцатую станцию Большого Фонтана, где дачный рынок, магазины, кинотеатр «Золотой Берег».

О! Это особый трамвай, поверьте мне. В других городах таких не бывает. Говорят, еще до революции провели эту крохотную узкую линию, и вот по ней бегают два обшарпанных нахально-красных вагончика, уступая друг другу путь на разъезде, потому что здесь только одна колея. При этом каждый норовит не попасть в тупичок, а загнать туда товарища.

Если бы эти вагончики представить людьми, то, наверно, получились бы два бедовых старика одессита, поджарых, загорелых, один в тельняшке, а другой в ехидных очках, оба ужасные спорщики, любители посидеть за пивом с рачками и посудачить за жизнь.

Ждешь этот трамвайчик на конечной остановке; постепенно собирается народ. И вот где-то очень далеко начинает тарыхтеть.

— За три пролета, — говорит какой-нибудь знаток.

И точно: тарыхтение усиливается, а вагона не видно.

Тарыхтение, скрежет все сильнее, в них угадывается даже какое-то ухарство, а трамвая все нет.

Наконец показывается «сам» (так, я слышал, зовут его здесь и уважительно и вместе с тем с ехидцей) — красный, тупоносый, с окнами, раскрытыми настежь, очень боевой на вид. Лихо подъехал, заскрежетал, остановился. Посыпались из дверей пассажиры. Потом посадка — в обе двери, конечно, без всякой очереди, с легкими признаками штурма. Но это, видно, по традиции — народу собирается не так уж много, все-таки окраина города.

Я часто ездил в этих древних вагонах и полюбил их. И всегда доставляло мне удовольствие смотреть на работу кондукторов. В одном вагончике оторвет вам билетик шустрая дивчина с карими глазами; деньги, билеты, прибаутки, то хмурые, то лукавые взгляды — все переплетено у нее в яркий клубок. Во втором вагоне кондуктором пожилая женщина огромных размеров; все что-то жует она, медленно поворачивается, окидывает вас подозрительным взглядом, и полные губы ее раскрываются для единственной фразы:

— Таки, кто-то у меня едет без билета? Э?

Вагончик между тем дребезжит дальше, в открытые окна влетает теплый, южный ветер, он пахнет близким морем, какими-то крепкими цветами и жареной рыбой. И запах этот ведет вас в быт одесской окраины, которая плывет мимо: мелькают в садах белые домики, увитые виноградником; играет свежими красками белье на веревках; качаются под ветром пыльные мальвы, выросшие у плетней; вы видите под развесистыми яблонями столы, там люди ведут разговоры, едят что-то, наверно, жареную рыбу с помидорами; вы видите бутылки красного кислого вина; и из зеленой глубины сада хрипловатым голосом поет пластинка:

Есть город, который мне дорог вдвойне. О, если б вы знали, как дорог...

Постепенно я стал разбираться в пассажирах. Они делились на две категории: приезжие — их легко отличить по неумеренному загару и разговорам — и одесситы. Ну, а одессита вы узнаете сразу.

Сзади мужской насмешливый голос:

— И что же происходит? Мама будит меня рано утром. Меня, единственного сына! Говорит: «Иди подрезай виноград». Ей дороже виноград, чем сладкий сон единственного сына! Вы можете понять такую маму? Я нет.

Можно не оборачиваться. Он будет смуглый, в белой рубашке, возможно, в тexasских брючках на молнии, купленных на черном рынке, на так называемом толчке. (О одесский толчок! Это целая поэма!..)

На площадке появляется девушка с лихой копной темных волос. На поводке у нее угрюмый пес, чистокровная дворняжка. Кто-то отдал псу лапу, и он сердито тявкнул.

— Цыцкни! И шо за манера лаять на людей?

Ну кто еще так скажет, кроме одесситки?

С корзиной, полной бычков, еще живых, открывающих тупые влажные рты, входит парень, ироническим взглядом окидывает вагон — ждет реакции. Он без рубашки, на загорелой мускулистой груди татуировка: нахального вида поросенок в бескозырке, при галстукe и подпись: «Нам не страшен серый волк!» И реакция немедленная: вагон начинает улыбаться.

— Божи мо-ой! Какой худой мальчи-ик! — говорит толстая еврейка с темными библейскими глазами. — Бедный рыбеенок! Ви только посмотрите-е.

И все начинают из окон рассматривать и жалеть худого, длинноногого, как лань, мальчугана, который худ просто от своей непоседливости и темперамента.

Скоро я стал замечать, что одесситы ездят в этом трамвае одни и те же, что они хорошо знают друг друга.

Чаще других я встречал юркого, сухого старика с красным носом в синих жилках, с загорелым черепом — дядю Женю; так его звали все.

Впервые я увидел его в вечернем вагоне. Народу было негусто. Ехала компания подвыпивших курортников, которые старательно поддерживали друг друга; несколько усталых женщин с сумками, набитыми продуктами, стайка девчушек, похожих на пестрых бабочек, — они столпились на задней площадке и прыскали неизвестно чему. За летящими окнами был густой южный вечер с редкими огнями, с полоской ^светлого неба за крышами и деревьями.

И вот на одной остановке вошел старик в ковбойке с засаленным воротом и в широченных парусиновых брюках. В руке у него была корзина с кабачками. Весело сверкая загорелой лысиной, он прошел по вагону, ища места.

— Вот сюда сидайте, дядя Женя, — сказала кондукторша, на этот раз дивчина с карими глазами.

Дядя Женя отсалютовал ей рукой и сел напротив полной молодящейся женщины с огненной копной волос.

— Химия! — сказал старик, корявым пальцем показывая на волосы соседки.

Женщина промолчала.

— А вы, дамочка, не обижайтесь, — сказал дядя Женя и повернулся к курортникам.

Те отозвались на молчаливый призыв и, поддерживая друг друга за талии, подошли к старику.

— Як женщинам со всей душой, — охотно продолжал дядя Женя. — От них вся радость на земле. Помирать буду — женщин вспомню.

— Во дает! — сказал один курортник, белобрысый парень с транзистором, который тихо потрескивал и шелкал.

— Но и все напасти от них, шельмы азиатские! — Дядя Женя вскинул брови и подмигнул соседке.

Белобрысый парень заржал.

— Вот я. За что страдаю? За женщин. Эти кабачки, да? Вы спросите у меня: кому везу? Своей старухе. Думаете, мне с ней легко? Ни боже мой! И что вышло? Разве я мог думать? Никогда! Молодым хлопцем взял себе жену — статную, здоровую, тополек, а не женщина. И что же? Таки она выросла до ста двадцати килограмм и сидит у меня на шее. А? Что?

— Дядя Женя, вам выходить, — мягко и добро сказала кондукторша.

— Да! Точно! — засуетился старик. — Сейчас навалится на меня вторая половина. Разве женщина поймет, что человек мог задержаться у старых боевых друзей? А?

Он тяжело подхватил свою корзину, две женщины с сумками молча помогли ему слезть. Из темноты, из шума ветра в акациях послышался его бодрый надтреснутый голос:

— Сэньк ю! Мерси!

А мы ехали дальше. Почему-то было невесело, Потом я его часто встречал в трамваях, и всегда дядя Женя с легкой иронией и насмешкой рассказывал о своей старухе.

— Не говорите мне за рынок! — вклинивался он в разговор о базарных ценах. — Ни одного слова! Сегодня моя половина прихватила меня на Привоз. И что же? Нет, вы войдите в мое положение! Она ходит по рынку, покупает овощ и фрукту. А я? Я вас спрашиваю, что я? Таки меня используют как тягловую силу. Я ношу корзину, и мои старые кости трещат от возмущения. Но зато какие фаршированные помидоры шипели сегодня у нее на противне! Можете не сомневаться: лучшие фаршированные помидоры в Одессе. Это — ее коронное блюдо.

— Фирменное, — говорит кто-нибудь.

— Да! Точно! — кивает головой дядя Женя и вдруг надолго умолкает, смотрит в окно.

Я понял, почему его зовут дядей Женей. Его тут давно знают, когда-то он был мужчиной средних лет и был дядей Женей. Потом пришла старость, а для соседей он так и остался дядей Женей.

Еще я заметил, что заговаривал всегда дядя Женя только с приезжими. Почему? Наверно, одесситам он уже давно надоел с притчами о своей старухе. И они, разговорчивые, любители споров и словесных поединков, слушали его как-то настороженно, со сдержанными улыбками.

Однажды я встретил дядю Женю на Дачном рынке. Это совсем маленький базарчик на шестнадцатой станции Большого Фонтана, не то что знаменитый одесский Привоз около вокзала. Но все равно это типичный южный базар. А ходить по базарам, смотреть и слушать — моя страсть.

Базар переливается красками, будто живое полотно экспрессиониста, движется, шумит, словом, живет вовсю. Хорошо толкаться по южным базарам! Незадолго до отъезда покупал я здесь мохнатые, как шмели, душистые персики и вдруг увидел рядом дядю Женю.

Дядя Женя, в неизменной ковбойке и парусиновых брюках, торговал помидоры у необъятной женщины с нехорошей физиономией, горой возвышающейся над прилавком.

— Такие паршивые помидоры по тридцать копеек за кило? Не смешите меня, мадам Соня, — говорил дядя Женя. — Просто умру со смеха.

— Мои помидоры паршивые? — взвилась торговка. — Нет, вы только гляньте на этого брехуна!

— Мадам Соня, я вас не оскорблял, — с достоинством сказал дядя Женя.

— Ты, дядя Женя, оскорбил мой товар! — кричала гора. — Мои помидоры! Это же лучшие помидоры по всему рынку! Вот! Вот пусть человек рассудит!, — Она повернулась ко мне. — Это же помидоры! Скажите ему, лысому брехуну. Один плод к одному.

Помидоры были действительно отличные, и я сказал:

— Товар неплохой.

— Ты слышал слова этого хорошего, справедливого человека? — с новой силой обрушилась гора на дядю Женю.

Дядя Женя сердито, вроде даже потерянно посмотрел на меня и рявкнул в красный, сверкающий зубами рот торговки:

— Пятнадцать копеек, мадам Соня, — последняя цена твоим помидорам!

— Шо? Ты еще надо мной и смеешься, дядя Женя! — И лицо ее вдруг стало злым. — Пятнадцать копеек!.. Пойди и пришли свою старуху. Ха! Пусть она купит такие помидоры за пятнадцать копеек...

Она не договорила: дядя Женя неверной, вздрагивающей походкой уходил от нее, раздвигая толпу худым плечом, уходил, как пьяный, — скорее, скорее!

А вокруг торговки наступила тишина.

— Я шо? Я так... — сказала она в этой короткой тишине. — Я в шутку.

— Бесстыжая, — сказала ее соседка, продающая вишни.

— Нет у тебя сердца, Софа, — сказал еще кто-то. Бросила свой зеленый буграстый перец молодая женщина с цыганскими глазами, подскочила к горе:

— Стерва ты! Стерва!

Через минуту все было обычно. Подошли новые покупатели, торговый ряд загудел разговорами, замелькали над весами руки и фрукты. .

Я побежал к выходу — хотел найти дядю Женю. Но его нигде не было.

Через несколько дней я уезжал из Одессы. Это было вечером. Полупустой трамвайчик вез меня на шестнадцатую станцию Большого Фонтана. Я сидел около своего желтого чемодана и был полон предчувствия, что сейчас в вагон войдет дядя Женя. (Все-таки есть какая-то неизученная область человеческой психики. Что такое предчувствие?!)

На остановке «Горка» в трамвай вошел дядя Женя. Он был навеселе, растерзан, ковбойка торчала из парусиновых брюк, красный нос на этот раз был сивым. Дядя Женя приплясывающей походкой прошел по вагону, запел:

— По долинам... Эх, да! — и по взгорьям... Потом облюбовал парня с пустыми глазами, сел против него.

— Гуляем, сынок, да?

— Гуляем, — сказал парень.

— Пить надо с умом. Ты со мной согласен? — кренился к нему дядя Женя.

— Согласен, — сказал парень.

— Вот я... Ты думаешь, я какой-нибудь забулдыга? Я вижу по твоим глазам. Думаешь?

— Мне наплевать.

— Верно! — весело всплеснул руками дядя Женя. — Мне тоже наплевать. Я тебе скажу так, сынок. Сегодня моя старуха именинница. И какой уважающий себя муж не выпьет на именинах своей старухи? А?

— Надоел ты мне, дед, со своей старухой, — скучно сказал парень. Но потом оживился: — Сто раз про нее слышал. Какая-то у тебя старуха заколдованная.

Я посмотрел на дядю Женю. Под загорелыми морщинами его лица проступала бледность.

— Ты мне хотя бы ее показал, — напирал парень. — Ну чего ты скис, дед? Давай к тебе завалимся. Я бутылочку возьму. Поздравим твою старуху...

— А ну вылезай из трамвая!

Над парнем стоял пожилой мужчина, полный, вспотевший, часто дышал.

— Собственно, в чем дело? — Парень вскочил.

— Степа... Не надо, Степа... — слабо сказал дядя. Женя мужчине.

— Вылезай!

Трамвай остановился, и парень вылез.

Дальше ехали молча, в вагоне была тягостная тишина. Дядя Женя забился в угол задней площадки, отвернулся, плечи его вздрагивали.

— Улица Долгая, дядя Женя, — сказала кондукторша.

Он, сильно сутулясь, быстро вышел. Я не увидел его лица.

По темной аллее к остановке сорокового трамвая я шел вместе с полным мужчиной.

— Скажите, а что с женой у дяди Жени? — спросил я.

— У него нет жены, — резко сказал мужчина.

— Нет?

— Да, нет! Ее расстреляли немцы. Она была связной в партизанском отряде.

— А он... — Я подыскивал слова. — Он здоров?

— Ну, конечно, — опять резко и недружелюбно сказал мужчина. — Это — первое, что приходит в голову. Он абсолютно здоров! Понятно? Мы, одесситы, так считаем. Впрочем... — Мужчина помолчал. — Если настоящую, вечную любовь считать болезнью, то да, наш дядя Женя болен! Больше двадцати лет... Вы понимаете, больше двадцати лет прошло с тех пор, а для него она жива. Тетя Зина... Мы ее все знали. До войны она работала кондуктором трамвая. Вот на этой линии. Обыкновенная одесситка, коренная. — Мужчина круто взмахнул рукой. — А! Не в этом дело... Они прожили до войны двадцать пять лет. Вы думаете, сколько дяде Жене? Семьдесят восемь.

— А дети? — спросил я.

— У них не было детей. Двадцать пять... Нет, он прожил с тетей Зиной сорок пять лет. Она для него будет жива, пока жив он. Конечно, другие забывали, появлялись новые семьи. И в этом нет ничего предосудительного. Жизнь есть жизнь. Но дядя Женя не смог забыть. Он полон своей Зиной. Для него не было стука гестаповцев ночью в их дверь, не было автоматной очереди на кладбище. Он и сейчас, когда входит в свой пустой дом, говорит: «Как с обедом, Зинка?» И если это — сумасшествие, — он говорил, словно убеждая кого-то, — это — прекрасное сумасшествие. Сейчас дядя Женя сказал, что отпраздновал именины старухи. Значит, действительно были именины. Иллюзия полной реальности. Даже не иллюзия... И, вы понимаете, ему нужна поддержка. Нет, не поддержка... Не знаю, как сказать. Словом, ему нужно, чтобы в то, что есть его Зина, верил не только он, но и другие люди. Мы, местные, все знаем. И вот вам, приедем, дядя Женя рассказывает о своей старухе. И вы заметили, как?

— Как? — не понял его я.

— Весело! — возбужденно сказал мужчина. — По-разному можно хранить верность павшим. А вот дядя Женя хранит ее так — весело! Потому что одессит всегда одессит.

Мы подошли к остановке. Рядом толпились парни и девушки. Громко разговаривали, смеялись. Двое парней играли на гитарах; несколько пар азартно, увлеченно танцевали

твист. Они танцевали под темными акациями, под голубым неоновым светом, под южным небом.

— А Одесса всегда Одесса, — сказал мужчина. Из-за поворота вынырнул пустой, ярко освещенный трамвай.

г. Тула.

Стихи молодых

Сергей Иоффе

Баллада о костре

Давай о вечности поспорим...  
Заката краски сумрак стер.  
Я жгу костер над Братским морем —  
ночной, таинственный костер.  
Сижу над ним, глаза не пряча:  
послушен мне пахучий дым.  
Огонь по хворостинкам скачет,  
прикидываясь молодым.  
Но я-то знаю, знаю точно:  
он стар — ему миллионы лет,  
и он мечтает зыбкой ночью,  
чтобы сменил его рассвет.  
Огню мечтать я не мешаю.  
Тихонько угли шевелю.  
Гореть вполсилы разрешаю,  
совсем погаснуть — не велю.  
Дремлю. Глаза на миг смежаю.  
И мнится мне в тот самый миг,  
как будто я расту, мужаю  
и вот уже совсем старик.  
Но нет, не дряхлый, а могучий,  
не слабоумный, а мудрец...  
О мой костер с дымком пахучим!  
Я твой отец.  
Да, да, отец!  
Во тьме веков тебя лелеял,  
берег от ветра и воды.  
Я искры огненные сеял —  
какие соберу плоды!  
Я жгу костер.  
Над Братским морем  
встает безудержный рассвет.  
Давай о вечности поспорим:  
на самой дальней из планет  
точь-в-точь такой костер разложит  
чудак, похожий на меня.  
И загрустит, как я.  
И тоже  
присядет молча у огня.



Вадерий Сухарев

По Оке

Поднимусь на палубу.  
Не спится.  
Встану я над черною водой.  
Над лесами вскинется зарница  
и рассыплет отсвет золотой.  
Берега раздвинутся, расступятся.  
Из-за леса вылетит луна.  
Как Яга, качаясь в желтой ступе,  
руки свои вытянет она,  
по воде зашарит...  
А деревья  
закричат спросонок, как в беде.  
И подходят к берегам деревни,  
чтоб огни рассыпать по воде.  
Где-нибудь у Спасска, у Касимова  
на заре вечерней, дорогой  
девушка веселая, красивая  
мне помашет с пристани рукой.  
Улыбнусь я, помашу ответно.  
Разведу руками. Закурю.  
Пароход плывет,  
как будто ветви,  
раздвигая белую зарю...

Владимир Бардин

Топографы

Топографы сквозь горы и леса  
Прокладывают будущие трассы.  
Они совсем не верят в чудеса.  
Их вычисленья строго беспристрастны.

Мне нравятся их мерные шаги,  
Через тайгу сплошные измерения.  
От них пойдут, как по воде, круги.  
Лишь надо запастись терпением.

Не сразу же возводят города,  
Мосты наводят, бьют тоннели.  
Года, года, года труда,  
И будет все на самом деле.

Пока же здесь тайга стеной.  
Пока все так, а не иначе.  
Но план звездой путевой  
Сулит решение задачи.

\*

Я, как всегда, открою дверь  
И выйду медленно на улицу.  
На улице теперь апрель,  
И листья в почках образуются.

Уже заметна суета  
И праздничное оживление,  
И странное в груди смятение,  
Конечно, тоже неспроста.

Как неспроста встает трава,  
И мы уходим на работу,  
И в этом есть большое что-то,  
Хотя картина не нова.

Но все же новая трава  
Забилась нервно на газонах.  
И это смена лишь сезона  
Иль это новая пора!

## ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

П. Багряк

КТО?

### 1. Традиционное начало

Телефон! — Линда тормозила спящего мужа. — Слышишь?

— М-мг... — Фред повернулся на другой бок.

— Мне самой подойти?

Он приподнялся на локтях и чиркнул зажигалкой.

— Успеется... — Потом спустил ноги на пол и стал шарить ими в поисках туфель. —

Моим клиентам некуда спешить.

Когда он вернулся, Линда спросила:

— Ну?

— Какой-то профессор... Звонил сам шеф. Вовремя, черт возьми! Нам как раз нужно вносить за пианино.

— Как ты можешь? Он пожал плечами.

— Не будь ханжой. Ему уже ничем не помочь.

На улице шел дождь. Было темно и сыро, и после теплой постели Фред Честер чувствовал себя особенно неуютно. Он поднял воротник пальто и поежился. Подумал: преступники никогда не заботятся о репортерах — ночью, да еще в такую погоду...

Взвизгнув тормозами, из темноты неожиданно вынырнула, взметнув тучу брызг, знакомая машина. Фред едва увернулся.

— Салют, старина! — приветствовал его обычный партнер в подобных поездках фоторепортер Мелани.

Усаживаясь в машину, Честер с завистью посмотрел на своего спутника. Всегда бодр — ночь для него, что день. Сам Фред все еще никак не мог прийти в себя и, чтобы взбодриться, жадно затянулся сигаретой.

У ворот, ведущих на территорию института, долго и придирчиво проверяли документы. Наконец их пропустили. Проходя по двору, Фред не заметил обычного оживления. Рассекая темноту ярким светом фар, подъехала какая-то машина. Вспыхивали огоньки карманных фонарей. Часть людей была одета в военную форму. Корреспондентов других газет Фред не видел.

Поднимаясь по лестнице, они столкнулись с Гардом. Дэвид Гард, старший инспектор уголовной полиции, был давнишним знакомым Фреда. Они поздоровались.

— Послушай, Дэви, что за народ? — осведомился Фред.

— Т-с-с! — Гард приложил палец к губам. — Серьезная история. Этот профессор работал на военных. Он, кажется, открыл что-то важное.

Фред насторожился. Чутьем опытного газетчика он почувствовал запах сенсации и ревниво оглянулся по сторонам.

— Где же «вечные перья»?

— Репортеры? — Гард усмехнулся. — Других не Судет.

Фред с чувством пожал ему руку. И вправду говорят: «Хорошие друзья дороже денег».

— Пойдемте, я провожу вас, — сказал Гард.

Они шли по длинному коридору второго этажа. По обеим сторонам — двери лабораторий. На металлических табличках выгравированы имена известных ученых. Инспектор открыл одну из дверей, пропуская корреспондентов. Фред успел прочитать надпись: «Профессор Эдвард Миллер». В небольшой светлой комнате стояли стенной шкаф, письменный стол, пишущая машинка.

Сверкнула молния. Это Мелани поспешил шелкнуть затвором.

— Идемте, идемте, — поторопил их Гард. — Это произошло в кабинете.

Они вошли. Большой кабинет профессора Миллера напоминал муравейник. Какие-то люди что-то искали, измеряли, фотографировали. Обычная картина. В этой суете Фред не сразу заметил тело, распростертое на полу как раз посреди комнаты.

Профессор Миллер лежал на боку, лицом к двери, подмяв под себя правую руку. Тело его было напряжено, словно, упав, он пытался встать. Крови почти не было. Гард наклонился над трупом и осторожно повернул голову. Глаза под густыми, сросшимися на переносице бровями были открыты. На побледневшем лице, чуть пониже правого глаза, резко выделялся синевато-багровый шрам, след неудачного эксперимента. Честер вопросительно посмотрел на Гарда.

— Пуля прошла чуть пониже сердца. Вскрытие покажет. Навылет. Вот посмотрите. — Инспектор указал на маленькое аккуратное отверстие в стене. Мелани сфотографировал.

— Стреляли из этого? — Фред кивнул на пистолет, валявшийся на полу рядом с трупом.

— Видишь ли... — Гард помолчал. — Стреляли оба. Вероятно, профессор защищался. Во всяком случае, вот. — Он подвел репортеров к противоположной стене. Там, в промежутке между двумя книжными полками, чернело второе отверстие, в точности похожее на первое. Мелани снова сфотографировал, сначала крупно, а затем, отойдя в другой конец кабинета и сменив объектив, сделал еще несколько снимков, так, чтобы захватить сразу обе стены.

— А не может быть, что в профессора стреляли дважды? — спросил Фред. — Помнишь, как в деле Мортонна?

— Нет. — Гард покачал головой. — В пистолете не хватает только одного патрона. Второй выстрел был произведен из другого оружия.

Честер взглянул на часы.

— Сейчас десять минут четвертого. Когда же это случилось? И-куда мог скрыться убийца? И вообще как он мог скрыться, если здание охраняется?

— Хотел бы и я это знать, — сказал Гард. ; Один из агентов что-то тихо сообщил ему.

— Пойдемте, — обратился Гард к репортерам. — Допросим дежурного.

Они снова вышли в первую комнату. Дежурный, маленький, полный человечек с седыми волосами, сидел за столом, закрыв руками лицо. Его била дрожь.

— Успокойтесь, — сказал Гард. — Постарайтесь все рассказать. По порядку.

В ответ послышалось что-то невнятное.

— Возьмите себя в руки. Я требую наконец!

Дежурный поднял голову. Честеру показалось, что его лицо еще бледнее, чем лицо убитого. Все молча ожидали.

— Это... это было около полуночи, — произнес дежурный. Он продолжал дрожать, лицо его нервно подергивалось.

— Точнее, — потребовал Гард. Дежурный на минуту задумался.

— Это случилось сейчас же после полуночи... Пробыли часы и... Сигнал зажегся вскоре после того, как пробили часы...

— Говорите яснее, — попросил Гард. — Какой сигнал?

— Перед дежурным висит табло с сигнальными лампочками, инспектор, — пояснил кто-то из агентов. — Если нажать в лаборатории кнопку, на табло вспыхивает лампочка.

— Хорошо, продолжайте.

— Зажегся двадцать седьмой, — сказал дежурный. — Лаборатория Миллера... Я еще подумал: кто может быть там в такой поздний час? Снял телефонную трубку... набрал номер... Никто не ответил. Пока я звонил, сигнал погас... Я успокоился. Решил: какая-нибудь неисправность в сигнализации. Но сигнал сейчас же вспыхнул опять! Тогда я пошел наверх... пошел по коридору... Я смотрел на таблички... я никогда не был в этой лаборатории... не знал, где дверь... И тогда... — Голос дежурного вдруг стал глухим, словно раздавался из пустой бочки. — И тогда я встретил его.

— Кого?

Дежурный молча кивнул в сторону кабинета.

— Миллера?

— Он быстро шел по коридору мне навстречу. «Это вы давали сигнал?» — спросил я. Но он не ответил. Прошел мимо. Не знаю почему, господин инспектор, мне стало как-то не по себе. И я подумал: «Нет, Джозеф, ты все-таки должен посмотреть, что там стряслось!» Джозеф — это я, господин инспектор, я всегда так себе говорю...

Дежурный замолчал.

— Продолжайте, — сказал Гард.

— Я был так взволнован, что, добравшись до конца коридора, не нашел двери. Двадцать седьмой номер... Наверное, я пропустил его... Тогда я пошел назад и увидел дверь. Она была не заперта. Я прошел в кабинет. Горел свет, а на полу лежал... он! Больше никого не было. Я поднял тревогу.

— Вы слышали выстрелы? — быстро спросил Гард.

— Нет.

— Вы уверены, что в коридоре встретили именно профессора Миллера?

— Да. Тот же серый костюм в клетку... черные волосы... глаза... глаза... Нет, я не заметил... нет-нет, я не знаю... я больше ничего не знаю... я все сказал...

— Что ты думаешь? — осведомился Честер, когда репортеры остались с Гардом без посторонних свидетелей.

— Это не простое убийство, — медленно произнес инспектор. — Похоже, что профессора Миллера устранили.

Фред привстал. В глазах его вспыхнули азартные огоньки.

— Но это же!.. Я давно жду такого случая. Повод для большого разговора.

Гард сразу охладил его пыл.

— То, что я сказал, не для печати. Боюсь, что и на этот раз тебе придется ограничиться чисто уголовными деталями.

— Но разве тебе самому не безразлично... — начал было Фред, но инспектор сухо оборвал его:

— Мои интересы тут ни при чем. Я должен отыскать убийцу. А все остальное меня не касается. Да и тебе советую поменьше философствовать.

...По пути в редакцию Честер обдумал, как лучше преподнести материал. Жаль, конечно, что нельзя писать, чем занимался Миллер. И все же это будет сенсация, настоящая сенсация! Он представил себе гигантские заголовки, фото на всю полосу — труп профессора и лицо крупным планом — отдельно. Спасибо Гарду.

Домой Фред вернулся уже под утро. Несмотря на бессонную ночь, он испытывал чувство приятного удовлетворения от удачно сделанной работы. Материал был продиктован, отредактирован, набран. Честер сам проследил, как его разместили на первой полосе. Правда, фотографий он не дождался. Но на Мелани можно было положиться — он не подведет.

Фред снисходительно поцеловал спящую Линду, залпом осушил стакан холодного молока и, быстро раздевшись, нырнул под одеяло. Когда он проснулся, было уже десять. Сквозь опущенные шторы пробивались солнечные лучи, и, казалось, ничто не напоминало о мрачных событиях минувшей ночи. Очутившись на улице, Фред с наслаждением вдохнул осенний воздух и, предвкушая удовольствие, подумал о том, как развернет сейчас утреннюю газету. Хотя Честер был опытным журналистом, он все равно испытывал приступы радости, видя свои материалы напечатанными на полосе. Его никогда не переставало удивлять, что слова и мысли, рожденные им, как бы освобождались от власти автора и вдруг начинали жить самостоятельной жизнью на газетных страницах, словно дети, ставшие взрослыми и ушедшие из родительского дома в необъятный мир. А иногда случалось, что, вырвавшись на волю, слова бунтовали в этой новой жизни и вели себя не совсем так, как хотелось автору. И уже ничего нельзя было сделать...

Подозвав мальчишку-газетчика, Честер вложил в его ладонь десятилемовую монету и развернул еще пахнувший свежей краской номер. На первой полосе его материала не было. Вторая, третья, четвертая, пятая... Он торопливо пробежал глазами заголовки: «Глубоководная экспедиция», «Авиационная катастрофа», «Встреча министров», «Бракосочетание мисс Каролины Бэкли»...

Репортаж исчез.

## 2. Встреча

Что за чертовщина! Он сам видел, как его материал верстали на первую полосу... Мистика! Это было так неправдоподобно, что, не веря собственным глазам, он в третий раз медленно перелистал все двадцать четыре страницы газеты.

В редакции тоже никто ничего не знал. Распоряжение снять материал пришло в последнюю минуту. Приказал сам Хейсс. Пришлось заново набирать первую полосу, номер опоздал на полтора часа. В ответ на расспросы Честера сотрудники пожимали плечами.

— Я так рассчитывал!.. — признался Фред начальнику своего отдела Мартенсу. — Что же это в конце концов?

Всегда грустный, страдающий одышкой Мартене сочувственно кивал головой.

— Кто может это знать, Честер? По-моему, ваш материал был как раз то, что надо. Я тут ни при чем, сами понимаете. Шеф!

— Хорошо, придется спросить у шефа! — не выдержал Фред.

Мартене положил ему руку на плечо.

— Не советую...

Но Честер уже бежал по лестнице. Навстречу ему попался Мелани. Всегда улыбающийся, итальянец сейчас тоже выглядел расстроенным.

— Почему сняли материал? — остановил его Фред. — Что у вас тут стряслось?

Фоторепортер сокрушенно покачал головой.

— Не знаю...

Фред яростно чертыхнулся и побежал дальше.

— Может быть, я во всем виноват, — прокричал ему вдогонку Мелани, — пленка оказалась засвеченной!

Но Честер уже скрылся за поворотом лестницы.

Однако, добежав до приемной Хейсса, он резко остановился на пороге. «В самом деле — зачем? Чего я хочу добиться? — подумал он. — Не станет же Хейсс объяснять свои поступки каждому репортеру уголовной хроники! Нет, прав был Мартене — это до добра не доведет...»

И Фред уже хотел было незаметно исчезнуть, но в этот момент мисс Горн, высокая, сухопарая, похожая на классную даму секретарша Хейсса, заметила его.

— Мистер Честер, как хорошо, что вы пришли! — с улыбкой прошептала она. — Шеф как раз посылал за вами.

И она любезно распахнула перед Фредом дверь кабинета.

Пыл Честера уже испарился, а вместе с ним и решительность. Но делать было нечего — он шагнул через порог и молча остановился.

Хейсс был занят разговором по одному из своих многочисленных телефонов. Судя по его лицу, беседа была не из приятных. Он даже отодвинул немного телефонную трубку: видимо, собеседник кричал. И действительно, Фред ясно различил слова, сопровождаемые усиленным дребезжанием телефонной мембраны:

— ...или вся ваша контора отправится к чертовой матери!..

«Ага, значит, и на тебя иногда покрикивают», — мелькнула у Фреда злорадная мысль. Но это было только на миг. Заметив вошедшего в кабинет Честера, шеф бросил на него неприязненный взгляд и, плотно прижав трубку к уху, быстро закончил разговор такими словами: «Хорошо... Так точно... Можете не сомневаться, господин Дорон».

Фред продолжал стоять у порога, молчаливо ожидая неизбежного разноса. Чего еще можно было ждать, если материал из верстки попал в корзину?

— Что вы стоите, Честер? — с неожиданной любезностью произнес Хейсс, поднимая из-за стола свое короткое толстое тело. — Прошу вас, садитесь.

«Сейчас начнется», — тоскливо подумал Фред, опускаясь в кресло.

— Я был вами доволен, Честер, — продолжал шеф, шагая по кабинету. — Особенно последнее время, Вы, кажется, второй год работаете без отпуска?

Фред молча кивнул, не глядя на шефа. Куда он клонит?

— Вам надо отдохнуть. Обязательно. Немедленно. По вашему лицу видно, как вы устали.

Сердце у Фреда сжалось: неужели конец?

— Простите, сэр, — произнес он, стараясь не выдавать волнения, — простите, но я чувствую себя отлично, Я не устал. И могу...

— Нет, нет, — перебил его Хейсс. — Никаких возражений. Берите жену и поезжайте к морю на пару недель. За сегодняшний материал получите двойной гонорар. Кроме того, вам выдадут еще двести пятьдесят кларков, я уже распорядился.

И Хейсс сел за стол, давая понять, что разговор окончен.

Ничего не понимающий Фред медленно попятился к двери.

«Спросить или не спросить? — лихорадочно размышлял он, глядя на шефа. — Эх, была не была!»

— Простите, сэр, — пробормотал он, останавливаясь. — Почему мой материал... Я хотел бы знать...

Произнеся эти слова, Фред сейчас же пожалел об этом. Всем сотрудникам редакции было отлично известно, что шеф терпеть не может, когда подчиненные задают ему вопросы.

Однако на этот раз в серых, глубоко сидящих глазах Хейсса, к удивлению Фреда, мелькнуло что-то похожее даже на сочувствие.

— Не стоит жалеть об этом, Честер, — сказал он мягко. — Одним материалом больше, одним меньше. У вас еще все впереди. Послушайте моего совета. — В голосе

Хейсса вновь зазвучали твердые нотки. — Отправляйтесь отдыхать и постарайтесь забыть обо всей этой истории.

Фред немного пришел в себя только на лестнице.

«Нет, положительно сегодня невероятный день, — подумал он. — В конце концов все обернулось не так уж плохо. Но почему все-таки снят материал? И с какой стати шефа заинтересовало мое здоровье? Что все это значит? Похоже, что меня просто хотят на время спровадить отсюда. Интересно знать, Мелани тоже получил подобное предложение?»

Маленького фоторепортера он отыскал в небольшой каморке позади буфета, где Мелани обычно колдовал над своими пленками. Итальянец склонился над столом. Многочисленные бачки и ванночки были отодвинуты в сторону, а на образовавшемся свободном пространстве аккуратными пачками были разложены кларковые бумажки. Итальянец, часто слюнявя палец, тщательно пересчитывал одну из пачек.

— Раскладываешь пасьянс? — осведомился Фред. — Двести пятьдесят?

Мелани удивленно взглянул на него.

— Откуда ты знаешь?

— И отпуск на две недели? Итальянец молча кивнул.

Честер присел на свободный стул и сказал, глядя фоторепортеру прямо в глаза:

— Вот что, Чезаре. Вся эта история мне не нравится. Тут что-то не так... Ерунда...

— Не знаю... — пробормотал Мелани.

— Не хочу чувствовать себя дураком, — продолжал Честер. — Я должен выяснить, в чем дело. Где твоя пленка?

— Я же сказал тебе, она оказалась засвеченной.

— Засвеченной?! Неостроумно. Придумай что-нибудь проще.

Мелани молчал.

— Ты сам ее проявлял? — спросил Фред.

— Нет, пленку забрали в центральную лабораторию.

— А когда выяснилось, что она засвечена?

— Вскоре после того, как ты ушел домой.

— Пленка у тебя?

— Нет, мне ее не отдали.

— Так. — Фред встал. — Вот что, Чезаре, поехали.

— Куда?

— Туда... туда, где мы были ночью. Я хочу еще раз побывать там.

— Кто нас пустит? — возразил Мелани.

— Ну, как хочешь. Я пооду один. Мелани вскочил.

— Послушай, Фред! Послушай меня, не ввязывайся в эту историю. Ну что тебе до этого? В конце концов свой гонорар мы получили.

— Сдается мне только, — усмехнулся Фред, — что он чересчур велик.

— Что же тут плохого? — не понял Мелани.

— Ну, ладно! — Честер хлопнул его по плечу. — Бери мой гонорар и отдай мне твой характер... Пока, старина!

В проходной института его неожиданно пропустили, как только он предъявил свое редакционное удостоверение. Фред миновал холл, быстро поднялся на второй этаж и нашел знакомую дверь.

И здесь, стоя у двери и еще не открыв ее, он вдруг не то чтобы понял — для этого у него не было никаких оснований, — скорее интуитивно ощутил, что сейчас произойдет нечто невероятное. Это ощущение было так остро, что Фред почувствовал неприятный холодок в пояснице.

И он даже не удивился, когда, открыв дверь и войдя в кабинет, увидел, что навстречу ему из-за стола поднимается профессор Миллер...

3. «Спи спокойно, друг!»

Гард, объясни в конце концов, что произошло! Инспектор взглянул на журналиста, но ничего, кроме растерянности на его лице, не заметил.

— Успокойся, Фредерик. Дело не заслуживает того, чтобы так волноваться.

Фред вспыхнул:

— Десять минут я, как дурак, стоял перед Миллером, не зная, что ему сказать. Тем самым Миллером, труп которого видел собственными глазами ночью. А ты говоришь — успокойся! Что это все значит?

Гард усмехнулся.

— Ровным счетом ничего! Не всегда верь глазам своим. Не было никакого убийства. Тебе приснился сон.

Фред резко встал и, наклонившись к невозмутимому лицу Гарда, сказал медленно, отчеканивая каждое слово:

— Не считай меня идиотом. Час назад я видел два отверстия от пуль в кабинете Миллера. Убийство было!

Инспектор недовольно поморщился.

— Не кричи, — сказал он. — У тебя большое воображение. Тебе нужно отдохнуть. Ты слишком много работаешь.

Честер, не спрашивая, взял сигарету «а столе, затянулся и подошел к окну. Он долго смотрел на мигающую рекламу пива. Из ярко-красной бутылки лился радужный фейерверк огней. Они плясали на лице Фреда, и Гард, внимательно наблюдавший за репортером, заметил, как разглаживаются морщины на его лице.

— Ты говоришь то же самое, что Хейсс, — успокоившись, проговорил Честер. — Мы с тобой друзья, знаем друг друга почти десяток лет. Но ты мне сказал то же самое, что Хейсс. Почему?

— Фред, ты хочешь носить голову на плечах или под мышкой? — спросил Гард.

— Покажи мне протокол убийства, — неожиданно прервал сыщика Честер.

— Нет никакого протокола. — Гард замялся, подошел к Фреду и дружески обнял его за плечи. — Я привязался к тебе, мы друзья. Поэтому я прошу: забудь, что было. Представь, что шла обычная тренировка полиции. Еще одна проверка, которых у нас, сам знаешь, хватает.

Зазвонил телефон. Гард поднял трубку.

— Да... да... сейчас выезжаю.

— Что это? — встрепнулся Фред.

— На Селенджер-авеню драка, двоих отправили в больницу, один убит. Поедем?

— Нет, я уже в отпуске.

...Шел мелкий, неприятный дождь. Фред поднял воротник плаща и побрел прочь от полицейского участка. «Ну и черт с ним, с Миллером!» — подумал он. Неожиданно кто-то ударил его по плечу, он обернулся и увидел расплывшееся от улыбки лицо Конды. От него несло дешевым вином.

— Привет, Честер! Ты чего грустный? Пойдем поднимем настроение?

— Не хочется. Да и тебе хватит на сегодня.

— Ну, что ты, — запротестовал Конда. — Я выпил лишь рюмочку, а при моей работе это пустяк!

Конда работал в морге полицейского участка и убеждал всех, что покойники не выносят трезвых. Они любят жизнерадостных людей, а не хлюпиков, которые брезгливо бросают их на полки и стараются смыться из морга. А Конда может душевно поговорить с любым из своих подопечных, ну, конечно, хватив при этом рюмочку-другую.

— Зайдем на минуту. — Конда схватил за рукав Фреда и потянул его в соседний кабачок. — Не упрямясь, мне скоро на работу, а я не в форме.

Фред заказал два бокала вина. Выпили. Официант принес еще.



Конда болтал не переставая.

— Передай своему приятелю, фотографу, — говорил он, — что порядочные люди так не поступают. Снимок он напечатал, а где десять кларков? Нет их. Я ему полный порядок навел, своих подопечных простынями укрыл, лампу принес, а он и носу теперь не показывает. Да и мой портрет неважный. Расплывчатый. Мог бы постараться твой фотограф, нехорошо...

— Вот, возьми. — Фред протянул Конде десяти-кларковую бумажку. — Мелани просил передать, — солгал он.

Конда схватил деньги и быстро спрятал их.

— Это — другое дело, — пробормотал он. — Вы, журналисты, народ приличный. С вами можно иметь дело.

— Если ты окажешь мне одну услугу, — сказал Фред, — получишь вдвое больше.

— Валяй говори.

— Покажи мне списки твоих покойников, которых привезли вчера.

— Гони двадцатку! Фред достал бумажник.

— Я могу тебе список не показывать. — Конда захохотал. — Потому что вчера было всего два трупа: старуху машиной сбило и женщина покончила самоубийством. Все. Адреса их...

— Не надо. — Фред протянул Конде стакан вина. — А мужчин не было?

— Привозили одного старикана, но его не выгружали. Шеф сказал, что вскрытия не будет, сразу отправили к Бирку... Да, это не тот товар, который тебя интересует. Помнишь, две недели назад, когда ту, девятнадцатилетнюю, отчим утопил в ванне? Это — другое дело. А вчера старуха, неврастеничка да нищий. Скучно.

— Старик был нищим?

— Конечно, поэтому и не вскрывали... Давай выпьем!

— Хватит! — Честер встал. — Мне пора. Жена ждет.

Конда с сожалением поплелся к дверям вслед за журналистом. На улице они пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны...

Хозяин фирмы «Спи спокойно, друг!» пользовался всеобщим уважением. В прошлом году Бирк напечатал в одной из утренних газет шесть статей под заголовком «Почему мы хороним вечером?». Бирк доказывал, что «похороны с факелами в руках на закате дня наиболее отвечают таинству происходящего, когда индивидуум меняет один мир на иной». Статьи вызвали споры, и фирма Бирка начала процветать.

Честер несколько раз встречался с Бирком. Он писал репортажи с его кладбища, <их печатали дважды на первой полосе с великолепными снимками Мелани. Помнит ли Бирк его?

Бирк никогда ничего не забывал. Фред убедился в этом, едва он набрал номер телефона и услышал голос секретаря Бирка: «Шеф примет в любое удобное для вас время. Для ведущего репортера уголовной хроники он никогда не бывает занят».

Контора находилась у входа на кладбище: изящный коттедж из стекла и алюминия на фоне черных крон деревьев. Бирк встретил Честера у входа.

— Прошу, садитесь! — Он показал Фреду на кресло. — Валери, — обратился он затем к секретарю, — прошу вас, вино и коньяк.

Фред огляделся. В центре кабинета небольшой стол, четыре стула. Стол затянут черным бархатом. «Для заседаний», — решил Честер. На стене напротив развешено несколько фотографий, среди них — знакомые, те, что делал Мелани. В углу кабинета письменный стол, рядом два кресла. На одно из них и сел Фред.

Бирк расположился напротив.

— Мы очень давно не виделись, — сказал он. — Ваша газета совсем забыла обо мне. И я, наконец, рад, что вновь вы у меня.

— Я пришел по сугубо личному делу, — угрюмо заметил Фред, — оно к газете не относится.

— Боже мой, это не имеет никакого значения! — Бирк широко улыбнулся, ослепив собеседника большими, как у певца, зубами. — Вы так много сделали для моей фирмы, что я готов оказать вам услугу.

Вошла Валери и внесла на подносе две рюмки, коньяк «Наполеон» и бутылку «Фраскати».

— Шеф, — сказала она, — звонит миссис Бирк, просит соединить.

— Разрешите? — спросил Бирк у Фреда.

Журналист молча кивнул, всем видом своим пытаясь показать, что дело, по которому он пришел, не к спеху. Бирк взял трубку.

— Дорогая, я задержусь сегодня на тридцать пять минут. Уложи детей спать и поезжай в оперу. Я смогу приехать лишь к третьему акту, мне еще нужно переодеться.

Фред, глядя на хозяина фирмы «Спи спокойно, друг!», начал злиться. Его безукоризненно светские манеры (Бирк был принят в высшем обществе), элегантный черный костюм французского покроя и, наконец, холеные белые руки, сливающиеся с накрахмаленной сорочкой, раздражали его. Честеру вдруг захотелось встать и уйти. Но Бирк, поговорив с женой, сел напротив и заулыбался настолько добродушно, что Фред не двинулся с места и, собрав силы, как можно равнодушнее сказал:

— У меня дело... пустяковое. Мне нужно взглянуть на старика нищего, который похоронен вчера.

Бирк понимающе кивнул головой.

— Одну минуту, — сказал он, поднял трубку и вызвал по селектору управляющего седьмым участком. — Принесите мне документы на вчерашнего клиента. Да, да, анкету и результаты обработки. — Бирк положил трубку и, обращаясь к Фреду, предложил: — Отведите «Наполеона», я предпочитаю его остальным.

— А как же с моим делом? — спросил Фред.

— Прошу вас подождать несколько минут. На селекторе зажегся красный глазок.

— Простите, — вновь извинился Бирк. Он пододвинул микрофон поближе к себе: — Слушаю.

— Шеф, к клиенту номер 4725, — услышал Фред, — пришла жена, а репродуктор не работает. Мы вызывали радиомеханика, но он придет лишь через полчаса. Что делать?

— Кто обслуживает клиента?

— Лермен.

— Оштрафуйте его на десять кларков. Если подобное повторится, — увольте. Перед женой клиента извинитесь и дайте музыку с соседнего участка, так, чтобы она слышала, конечно.

— Еще один вопрос, шеф. Клиент любил Моцарта и Штрауса. Кого из них транслировать?

— Сегодня пасмурно. Дайте Моцарта. Огонек на селекторе погас.

— Бирк, — сказал Честер, — вам нравится работать здесь?

— Безусловно! У меня беспроблемный бизнес, и, кроме того, разве можно найти более спокойное место? Десять лет назад, после окончания Кембриджа, я два года работал в одной из крупнейших клиник Лондона, но больно уж там беспокойно. Наш же клиент тихий, благоразумный.

— Да, пожалуй, вы правы.

Появилась Валери и положила на стол черную папку. Фред прочитал: «Клиент № 24657. Доставлен 24 сентября 1965 года. Участок № 7».

Бирк раскрыл папку, быстро пробежал глазами анкету.

— Драгоценностей нет, золотых зубов тоже, — сказал он Фреду. — Что вас интересует в этом клиенте?

— Я хочу просто посмотреть на него.

— Странно. — Бирк пристально глянул на Честера. — Очень странно... Ну что ж, милый Фред, я уже дал распоряжение на раскопки. Но это противозаконно, потому что беспокоить наших клиентов могут только полицейские...

— Разрешите, я пойду туда? — нетерпеливо сказал Фред.

— Одна маленькая формальность, — остановил его хозяин фирмы. — В какой банк представить счет?

— Я предпочитаю платить наличными.

— Нас это вполне устраивает. Итак, непосредственно за раскопку — 6 кларков 25 лемов и за риск — как известно, среди деловых людей он оплачивается — 150 кларков. Итого, 156 кларков 25 лемов.

«Бандит», — ругнулся про себя Фред, но быстро достал деньги и положил на стол.

Когда вместе с Бирком они подошли к седьмому участку, рабочие уже закончили работу. Бирк осветил фонарем могилу, потом гроб, покрытый сырыми комьями глины.

— Откройте крышку! — приказал он.

Один из служащих спустился вниз и приоткрыл крышку. Фред отшатнулся: он увидел лицо профессора Миллера.

#### 4. Накануне решения

Гард поправил подушечку на сиденье, поддернул брюки, чтобы не так сильно мялась складка, сел и уже был готов заняться обычными криминалистическими делами, когда раздался стук в дверь.

Еще не видя человека, Гард по характеру стука определил, что посетитель взволнован, нервничает и что следующие минуты будут беспокойными. Поэтому его лицо приняло любезно-сосредоточенное выражение.

— Войдите!

Вошел Фред Честер.

Они не виделись три недели, и Гард не знал, что делал это время журналист, был ли он вообще в городе, но не удивился его неожиданному приходу, потому что уже давно отучил себя удивляться: мешало работе.

— Гард, — тихо сказал журналист, — зачем было обманывать меня?

Фред заметно изменился. Он походил на человека, выброшенного из привычной колеи жизни. Гарду было достаточно увидеть, как дрожат его пальцы, чтобы понять это.

— Сегодня прекрасный день, — сказал Гард. — Но газеты пишут, что в Австралии ураган. Так-то вот.

— Гард! — Голос журналиста дрогнул. — Завтра этот ураган может быть здесь!

— Возможно. Ну и что? Сегодня небо безоблачно. Сегодня истина в этом.

— Брось! Я раскопал то дело... о Миллере. Искусство сыщика во многом зависит от умения слушать: кто больше знает, тот и сильней.

— Я слушаю тебя, — сказал Гард. Честер вытащил из кармана блокнот.

— У меня нет протоколов, — сказал он. — И я не проводил следствия. Дело вообще не в фактах — они часто лгут. Дело в людях, которые стоят за этими фактами. Поэтому не удивляйся. Многое покажется тебе непривычным и странным...

— Я слушаю, — повторил Гард.

И он услышал то, что уже знал Честер.

В то утро Миллер стоял у распахнутого окна. Была осень. Он смотрел на поток прохожих. Каждый торопился по своим делам. Редко кто поднимал голову, а если поднимал, то задумывался ли о большом мире, который его окружает? О людях, что шли рядом? О себе, наконец? Эдакие маленькие, замкнутые вселенные двигались по тротуару, далекие от Миллера, как и он от них. И равно близкие.

Миллер захлопнул окно. Великолепие осени раздражало, как обман. Он оглядел кабинет. Все строго и нерушимо стояло на своих местах, но Миллер испытывал состояние человека, увидевшего, что во всех углах вдруг занялся пожар.

Всего лишь несколько дней назад он пережил счастливый миг, когда внезапно, в каком-то истинном озарении нашел то, что искал долгие годы. Это был тот миг, когда Миллер увидел путь до самого конца — так, будто уже прошел его. Начинаясь он, как ни странно, в самом запаутиненном отсеке физики, куда давно никто не заглядывал, ибо там двери были заперты аксиомами. Миллера толкнуло отчаяние поиска, — право же, мысль его уже готова была ломиться в любую дверь.

Что означала его находка для него самого, для людей, он понял не сразу. Кинулся сначала к Дорону — докладывать, но что-то остановило Миллера, он словно споткнулся о взгляд этого военного в штатском, который прямо, как перпендикуляр, восседал в кресле. Споткнулся и забормотал о каких-то пустяках... Дорон, естественно, остался недоволен им больше, чем обычно.

«Главное — жить в мире с самим собой», — сказал кто-то из мудрых. Но с самим собой у Миллера началась отныне мучительная схватка. То, о чем он сегодня думал как о подлости, завтра казалось ему добродетелью. А послезавтра — наоборот. Его средство могло — действительно могло! — избавить мир от страшной угрозы ядерного самосожжения. Атомные бомбы, которые не (взрываются! Водородные заряды ракет, которые не могут поразить и воробья! «Люди, это возможно, возможно, возможно!» — хотелось ему кричать. Но люди бывают разными. «О да, — сказал бы Дорон, — это великолепно. Бомбы не взрываются — у противника! Вы, Миллер, великий патриот. Вы герой!»

Он скажет так и даже не улыбнется.

Когда Миллер понял это, ему стало страшно. Конечно, он может нарушить подписку о неразглашении военных тайн и послать статьи с описанием «эффекта Миллера» и схемы установки во все ведущие журналы мира. Сделать его установку несравненно легче, чем создать атомную бомбу. Тогда он спаситель человечества от угрозы ядерной войны. Но тогда он государственный преступник в глазах доронов и его ждет быстрая и «случайная» смерть, ибо дороны не прощают. Они убьют его просто потому, что так надо. В назидание другим.

Или — или. Выбор. Между славой и гибелью. Между благом человечества и собственным благом. Газеты твердят: маленький человек, сегодня ты особенно ничтожен. Ты винтик сверхсложной машины современности... Миллер тоже так считал. Но в наше время маленький человек может оказаться у кнопки, повелевающей силами ада и рая. Все беды и заботы мира лежат на твоих плечах, маленький человек, профессор Миллер!

Вот и сегодня, как много раз за последние дни, с потухшей сигаретой в руке он стоял посреди кабинета. По циферблату настенных часов бежала секундная стрелка. Секунды, минуты, часы... Рано или поздно, но он должен принять какое-то решение. На его открытие завтра набредет кто-то другой. Это неизбежно. И тогда ответственность перед самим собой и перед всем человечеством ляжет на плечи этого другого, но кто знает, что решит он?

Когда зазвонил телефон, Миллер догадался, что это Ирэн. Он волновался, видя издали девушку, похожую на нее. Он волновался, проходя мимо тех мест, где они бывали вместе. Миллер мог представить мир без себя, но представить себя без Ирэн — это было выше его воли.

Он снял трубку.

— Да...

— Ты решил?

Миллер едва не застонал. Вчера, в минуту слабости, он малодушно попытался переложить тяжесть решения на ее плечи. Он не сказал Ирэн ничего о существовании своего открытия, — он просто дал ей понять, что стоит на грани решения, от которого зависит либо их собственное счастье... либо счастье всего человечества.

Ирэн ответила ему тогда: «Я хочу быть с тобой. Как всякая женщина, я хочу иметь свой дом, своих детей — твоих детей. И чистое небо над головой. Мне легко принять решение, но решать должен ты. Потому что, если это сделаю я, ты мне не простишь». Она права. И, что бы она ему ни сказала, свободы в их отношениях уже не будет.

— Ты меня слышишь? — спросила Ирэн. — Ты еще не решил?

— Завтра утром...

Почему завтра утром, он сам не знал. Наступило молчание. Миллер готов был взвыть от боли.

— Завтра утром, Ирэн! Я буду тебя ждать... И прости!

Он бросил трубку. Потом побрел к двери. Его вел уже не разум, а инстинкт, желание найти кого-то более сильного, умного, кому можно было бы пожаловаться, как в детстве он жаловался отцу.

Миллер не помнил, как очутился у двери профессора Чвиза. Это был единственный человек — его добрый старый учитель, — к которому он еще мог прийти. Не рассказать — об этом не могло быть и речи, — но хотя бы услышать его спокойный голос.

На дверях лаборатории горела надпись: «Не входить! Идет опыт!»

Но Миллер не заметил ее. Он дернул дверь, она не поддалась. «Старик опять заперся, чтобы ему не мешали», — подумал Миллер и нажал тайную кнопку, отключающую блокировку. Дверь распахнулась, и он вошел в лабиринт установок.

Он шел мимо электронных машин, не видя их, думая о своем. Его лицо отразилось в экране телевизора. «Нет, нет, — говорил он себе, — мой страх ложен! Разве прокляли себя создатели атомной бомбы?» Он шел мимо колонн Графтена, мимо бетонных выступов, за которыми прятались шины, несущие в себе миллионы вольт напряжения, мимо пультов электронных микроскопов. «Хорошо то, что разумно, — билось в голове. — Какое мне дело до всех, если меня ухлопают дороны и меня не будет?»

Он шел мимо полусфер гиперрегулятора — гордости старика Чвиза. «Жизнь, богатство, Ирэн, дети, власть, слава — стоит ли отказываться от всего этого из-за дурацкой политики?»

Что-то сверкнуло перед глазами Миллера радугой. Какая-то пелена окутала раструбы гиперрегулятора. Миллер взмахнул рукой. Ее кольнул холод. Сверкание исчезло. Миллер опомнился. Нет, он попал не туда... Надо взять влево. (

— Миллер, вы опять здесь? — вскричал Чвиз, увидев его. — Я же просил вас...

— Меня? — сказал Миллер. — Это было, наверное, вчера, дорогой учитель, когда вы прогнали своего любимого ученика из лаборатории...

— Идите домой, Миллер, на вас нет лица.

— Пустое... Нервы.

— Но у меня до нуля упало напряжение! Миллер, вы случайно...

— Простите, Чвиз. Возможно. Я задумался. Но разве у вас идет опыт?

Борода Чвиза стала торчком.

— Вы были в камере?!

— Это опасно? — Миллер спросил почти равнодушно.

— К счастью, нет. Но вы меня напугали. Вот этот кролик, — он показал на застекленный вольер, — благодаря вам мог превратиться в эдакого сфинкса...

— Как жаль, учитель, что я не перенял у вас способность шутить! Но простите меня, я, кажется, действительно очень виноват, что помешал вашему опыту.

— Ничего страшного, Миллер, ничего страшного. Но вам следовало бы отдохнуть. Погодите, я провожу вас.

...Заснуть в эту ночь Миллеру не удалось. Тьму наполняли лица, даже когда он плотно зажмуривал глаза. Лица. Молодые, старые, красивые, уродливые, они толпой шли через сознание и смотрели, смотрели на Миллера. Их взгляд был невыносим. Так, вероятно, могли смотреть те, кого нацисты вели в газовые камеры.

С истерзанными нервами, стучащим сердцем Миллер бросился к ванной, чтобы принять холодный душ и хоть так прогнать видения.

И в эту минуту он услышал, как в замочной скважине входной двери заскрежетал ключ. Миллер обмяк. Ключ повернулся. Кто-то осторожно нажал дверь. Но запор изнутри не поддался. Тогда за дверью стало тихо. «Что за бред! — подумал Миллер. — Кому я нужен, если мои секреты еще при мне?»

В порыве отчаянной решимости он отбросил запор и распахнул дверь. На лестничной площадке никого не было, но внизу затихали шаги.

## 5. Галстук из Монако

На следующее утро, как обычно, ровно в 9.00 Миллер был в институте. Он прошел длинным коридором, легким наклоном головы приветствуя встречаемых, и, остановившись перед дверью своего кабинета, не сразу понял, что она уже отперта. «Странно», — подумал Миллер и вошел в кабинет.

Мягкий щелчок заставил обернуться человека, стоящего спиной к Миллеру и перебиравшего бумаги на столе.

— Простите, я не совсем понимаю... — начал Миллер, плохо сдерживая раздражение бесцеремонностью посетителя, — это мой кабинет и...

— Ваш? — искренне изумился человек у стола, и только в этот момент Миллер вдруг понял, что тот удивительно, просто удивительно похожа на него. Такое же растерянное веселое недоумение заметил он и во взгляде незнакомца. Миллер бросил портфель в кресло и подошел ближе, вглядываясь в стоящего напротив человека. Он видел себя! Именно таким он знал свое лицо. Час назад, когда он брился, он видел вот этого человека в зеркале. Зеркало? Голографическая проделка шутника Раута из оптической лаборатории? Он подмигнул своему изображению, но оно не ответило ему, и он понял, что это реальность.

Человек у стола засмеялся нервно и коротко.

— Забавно, очень забавно, — проговорил он задумчиво, разглядывая Миллера.

Тут физик заметил, что и одежда незнакомца была точной копией его костюма. Те же серые брюки, пиджак в клетку, белая рубашка, черные полуботинки и даже этот галстук с крохотным гербом Монако внизу, который он купил в прошлом году, когда ездил в отпуск на Ривьеру. Галстук — это уж слишком... Он подошел ближе и спросил:

— Простите, откуда у вас этот галстук?

— Купил в Монако, — ответил незнакомец.

— В прошлом году?

— В прошлом году.

— В августе?

— В августе.

Тут у Миллера впервые мелькнула мысль, что все происходящее — галлюцинация, болезненная реакция мозга, утомленного бессонными ночами последней недели. Как это называется у психиатров? Раздвоенность сознания? Неужели он заболел? Заболеть сейчас, накануне решающих опытов... Ужасно... Он опустил в кресло и, прикрыв лицо рукой, до боли надавил на глаза. Взглянул снова. Вот он, стоит.

— Это редчайший феномен, — сказал незнакомец и засмеялся нервным смехом. — Насколько я знаю, у моей матери не было близнецов. Вероятность такого совпадения практически равна нулю. И тем не менее, коли уж вы пришли ко мне, давайте познакомимся.

— Я пришел к вам? — спросил Миллер.

— Не понимаю. — Незнакомец пожал плечами. — Или вы будете отрицать, что минуту назад переступили порог моего кабинета?

— Но это мой кабинет! — Миллер встал с кресла.

— Черт с ним, с кабинетом! Не будем спорить по пустякам. И так, разрешите представиться. — Незнакомец протянул руку. — Профессор Эдвард Миллер, доктор физики...

— ...родился в Женеве 9 марта 1927 года, — продолжал Миллер, — окончил Мичиганский университет в 1950 году...

— Совершенно верно! — воскликнул незнакомец.

— Еще бы не верно! — сказал Миллер. — Это же я!

Теперь он подумал, что участвует в грандиозной мистификации, великолепном иллюзионе, и уже заранее восхищался гением неизвестного фокусника.

— Что значит «я»? — спросил незнакомец.

— Я — значит я, — сказал Миллер весело. — Эдвард Миллер, доктор физики — это я.

— Та-ак... — протянул незнакомец и вытащил из кармана пачку сигарет. «Курит тот же сорт», — подумал Миллер и взял предложенную ему сигарету. Две зажигалки щелкнули одновременно. Две одинаковые зажигалки. Они оба заметили это. — Так... гак, — снова протянул незнакомец и выпустил первое колечко дыма. — И так, вы утверждаете, что вы тоже профессор Миллер?

— У меня есть на это некоторые основания, — не без иронии сказал Миллер.

— Хорошо. Предположим. Как говорят политики, поговорим не о том, что нас разъединяет, а о том, что нас объединяет.

— При самом беглом осмотре видно, что объединяет нас чересчур многое.

— И так, вы мой двойник.

— Простите, это вы мой двойник.

— Не понимаю.

— Почитайте «Начала» Эвклида, он пишет там о принципе подобия, — посоветовал Мюллер.

— Кстати, я читал Эвклида.

— На третьем курсе. Главным образом для того, чтобы произвести впечатление на Леру Вудворд, рыженькую теннисистку с химфака.

— Вы и это про меня знаете? — удивился незнакомец.

— Это я знаю про себя!

— Послушайте, — сказал незнакомец, — а ведь все серьезнее, чем вы думаете. И зря вы веселитесь.

— Это — единственное средство, чтобы не сойти с ума.

— Да, нервы работают за красной чертой. И еще бессонная ночь: не привык ночевать в гостинице.

— В какой вы остановились? — с веселой любезностью спросил Миллер.

— Нигде я не останавливался. Я живу на Грей-авеню...

— ...дом 37, квартира 14.

— Верно! Но прошлой ночью я вернулся поздно и обнаружил, что замок заклинило. Ломать замок — это работа до утра, и я решил заночевать напротив.

— В «Скарабей-паласе»?

— Да.

— Значит, это вы скреблись в дверь, когда я сидел в ванной?

— В какой ванной?

— В своей ванной, в своей квартире 14, дом 37, на своей улице Грей-авеню!

— Та-а-ак.

— А ведь вы правы, — задумчиво продолжал Миллер, — положение действительно гораздо серьезнее.

Помолчали.

— Послушайте меня спокойно, кажется я все понял, — сказал наконец Миллер. — Так вот, я — настоящий Миллер, а вы — мой двойник, случайно синтезированный вчера в

лаборатории Чвиза. Старик добился своего! Он рассказывал мне не раз свою теорию матричной стереорегуляции. Человек — система живых клеток, особым образом организованных. Никакой души, духа и прочей мистики. Физика и химия. Только! Организм для Чвиза — матрица. Он дробит его на молекулярном уровне в поле своего гиперрегулятора и перепечатывает наново... Полная копия, абсолютно полная, вплоть до напряженности нейронов... Чвиз рассказывал об этом, но я всегда считал, что это бред.

— Кстати, и я думал, что это бред, — сказал незнакомец.

— Да-да, не перебивайте. Еще вчера утром вас не было. Поэтому мы никогда не встречались раньше. Вы — это я в то самое мгновение, когда я проходил мимо его биохологенератора или как там его называют.

— Послушайте, а вы не отличаетесь скромностью, — сказал двойник. — Почему «я — это вы»? А если наоборот? Как я мог родиться вчера, если я помню себя десятки лет? Я все помню, — сказал он задумчиво. — Я могу показать вам могилу отца, и две сосны, где висели мои качели, и свои фотографии... Мальчик в матроске на велосипеде...

— Это мои фотографии!

— ...и свои фотографии, и ту скамейку в Парке смеха, где я впервые увидел Ирэн...

— Ирэн! — воскликнул Миллер. — Вы знаете Ирэн?

— Простите, это моя невеста, — спокойно ответил двойник.

— Но это чудовищно!

— Успокойтесь, так называемый «профессор Миллер». И давайте здраво взвесим все события. Если вы утверждаете, что я возник вчера и виной тому ваша неосторожность в лаборатории старика Чвиза, то, насколько я знаю теорию Чвиза, мы должны быть абсолютно одинаковы физиологически, а характер и эмоции одного из нас должны определяться характером и эмоциями другого точно в момент синтеза. Каким были вы в ту секунду, когда Чвиз включил поле? Не помните? Разумеется, вы не помните: человек не может контролировать и запоминать свои эмоции по секундам. А тогда ответьте мне на вопрос: как можно сейчас доказать, что вы — настоящий Миллер, а я — синтезированный?

Миллер молчал.

— Значит, критерия нет, — продолжал двойник. — Сравнить не с чем. И, клянусь, я не отобрал у вас вашего имени. Синтезированный двойник — вы.

— Послушайте, — сказал Миллер, — но ведь я отлично помню, как все было. После разговора с Чвизом я сел на такси и уехал домой, а утром...

— А я после разговора с Чвизом пошел домой пешком и опоздал: вы заперли дверь.

— Но я помню все, что было до Чвиза, я все время думал...

— И я прекрасно помню, я тоже все время думал о своей установке нейтронного торможения.

— Это ваша установка?

— Ну а чья же?

— Послушайте, но ведь это уже очень серьезно! Теперь нас двое. Наша установка... — он невольно запнулся, так дико прозвучали эти слова «наша установка», — мы двое должны решить наконец...

— Не знаю, как вы, а я уже решил, — ответил двойник. — Всю ночь в «Скарабейе» я ворочался с боку на бок и думал, думал...

В этот момент в дверь постучали.

— Это Ирэн! — сказал Миллер.

— Да, это Ирэн, вчера я попросил ее зайти ко мне, — подтвердил двойник.

— Она не может видеть нас двоих, — зашептал Миллер, — вы должны уйти!

— Я?

В дверь опять постучали.

— Убирайтесь! — закричал Миллер.

— Послушайте, — глухо сказал двойник, — эта женщина — единственное, что есть у меня в этом мире, единственное, во что я верю.



Он резко оттолкнул Миллера и бросился к двери.

## 6. Кредо

Миллер едва успел закрыть за собой дверцу стенного шкафа. До прихода Ирэн у него оставалось мгновение, чтобы оценить ситуацию, в которую он попал, и найти какую-нибудь статичную позу. О боже, оценить ситуацию! Люди устроены так, что необычность своего положения по достоинству оценивают потом, много позже, заливаясь краской стыда, смеясь или испытывая приступы запоздалого страха. Но в конкретный момент они нередко ведут себя столь спокойно и привычно, словно всю жизнь только тем и занимались, что на два часа в сутки регулярно прятались в темных и душных стенных шкафах.

Так или иначе, но Миллер немедленно присел на корточки, чтобы замочная скважина оказалась на уровне его глаз, и обнаружил под собой твердый предмет, пригодный для сидения. Он даже успел подумать о том, что неплохо бы узнать, какой это болван не выполнил его распоряжения и не выбросил старенький оппель-сейф... Впрочем, надо бы при случае сказать ему «спасибо». И тут вошла Ирэн.

Дальнейшее было, как в кино. Нет, как в романе. Нет, как во сне. Во всяком случае, было так, как не бывает в обычной, нормальной жизни. Миллер, сидя в шкафу, наблюдал через замочную скважину не просто сцену свидания знакомого или незнакомого мужчины со знакомой или незнакомой женщиной, что уже достаточно пикантно и необычно для ученого с его именем, — он подглядывал за самим собой, причем подглядывал совсем иначе, нежели мы порой следим украдкой за собственным отражением в зеркале. Он имел возможность наблюдать себя, ну, что ли, целиком, хоть со стороны затылка, понимая при этом, что отражение может действовать совершенно независимо от своего хозяина.

Миллер затаил дыхание и прильнул к замочной скважине.

Между тем Миллер-второй, подойдя к Ирэн, поцеловал ее в лоб, как это делал всегда Миллер-первый. Потом подумал и вдруг поцеловал прямо в губы, что Миллер-первый делал чрезвычайно редко, когда испытывал прилив особого волнения от встречи с Ирэн. Затем он специфическим миллеровским движением шеи поправил воротничок рубашки, и Миллер-первый подумал про себя, что жест этот выглядит со стороны удивительно неприятно и какое счастье, что Ирэн на этот раз, как, вероятно, и всегда, не обратила на него внимания.

Звук поцелуя помог Миллеру-первому очнуться от созерцательности. «Я ревную или не ревную?» — неожиданно спросил он себя и понял, что сама возможность спокойно задать этот вопрос уже есть ответ на него.

Он чуть не рассмеялся. В конце концов можно относиться к происходящему как к научному эксперименту, способному вызвать у ученого лишь любопытство. Важно только понять, беспредельно ли оно. Итак, что будет дальше? Пора предложить Ирэн кресло у окна — ее любимое низкое кресло, стоящее рядом с низким столиком, затем открыть крышку бара, достать начатую вчера бутылку кальвадоса или стерфорда... «Ты сегодня лирически настроена, Ирэн? Значит, кальвадос?»

Словно подчиняясь приказанию Миллера-первого, двойник мягко проводил Ирэн в ее любимое кресло, затем беспомощно оглянулся, будто ища чего-то («Действительно, — подумал в это же мгновение Миллер-первый, — куда я сунул вчера ключ от бара?»), потом решительно протянул руку к той самой книжной полке, где стоял недочитанный томик Вольтера («Он вспомнил быстрее меня!» — с интересом отметил Миллер-первый), достал ключ, и вот уже крышка бара открыта.

— Я хочу, Ирэн, чтобы ты была сегодня серьезной.

Итак, кальвадоса не будет. Ирэн бросила на Миллера-второго внимательный взгляд и протянула рюмку. Забулькал стерфорд.

Отлично. У юристов это называется «экссессом исполнителя»: отражение проявило свою первую независимость от хозяина. Непонятно лишь, зачем Ирэн надо быть серьезной.

— Ты устал, Дюк?

Ну вот, они произнесли наконец по одной фразе. У Миллера гулко застучало сердце, потому что именно в этот момент он понял, что больше всего волновало его секундой прежде. Узнает ли Ирэн подделку? Поймет ли, что перед ней не настоящий Миллер? Не заподозрит ли по одним ей известным приметам, что это двойник?

Нет, не заподозрила. Она сказала «Дюк», она произнесла «Дюк», а не свое обычное «Эдвард», и это была ее маленькая благодарность за его волнение, за поцелуй при встрече, за предстоящий разговор, серьезность которого она угадала, — так редко он доверял ей серьезные разговоры...

Признательность не всегда красноречива.

— Ты устал, Дюк? — И все. Ни одного лишнего слова.

— Спасибо, милая... Я плохо спал этой ночью.

— Сердце? — Бедняжка, она всегда волновалась из-за его сердца!

— Нет. Думал. Я хочу сказать тебе...

В замочную скважину Миллер плохо видел выражение ее лица. Она сидела вполоборота к шкафу, а свет из окна шел неяркий: на улице моросил дождь и солнца не было.

Но вся ее поза: и закинутая голова с пышной прической, и поставленная быстрым движением рюмка, и рука, беспокойно лежащая на подлокотнике, — все это говорило о том, что она волновалась.

— Что ты хочешь сказать мне? — переспросила Ирэн, привыкшая к тому, что Миллер, погруженный в свои мысли, не всегда торопился их излагать. — Ты принял решение? Или что-нибудь случилось?

«Ого! Еще как случилось!» — подумал Миллер-первый и с благодарностью посмотрел на Ирэн: умница, все-таки почувствовала что-то...

— Да, — сказал Миллер-второй, — я, кажется, принял решение...

Зазвонил телефон. «Черт возьми, надо будет завтра сказать миссис Слоу, чтобы она не лезла со своими звонками в дообеденные часы!» — нелепо подумал Миллер-первый, нетерпение которого было естественным. Между тем двойник, извинившись перед Ирэн, спокойно поднял трубку.

— Я вас слушаю, миссис Слоу. Дорон? Ну что ж, соедините. И скажите Керберу, чтобы он зашел ко мне... минут через десять.

«Дорон? Как он некстати!» — подумал Миллер-первый и даже приподнялся со своего сиденья, потому что никогда не видел себя разговаривающим по телефону с шефом.

— Дорон? — сказал двойник. — Вы очень кстати, я только что хотел вам звонить... Да, генерал, я готов принять участие в испытаниях. Кое-что есть, попробуем... Благодарю вас, шеф, но поздравления я буду принимать после испытаний. Когда? Вы говорите, сегодня? Ну что ж, не возражаю. Пусть будет в четыре. До встречи на полигоне!

Невероятным усилием воли Миллер-первый заставил себя усидеть в шкафу. Так вот оно, решение! Минутный разговор с Дороном, десяток элементарных слов, и подведена черта переживаниям, бессонным ночам, гамлетовским раздумьям. Как это просто — в течение минуты решить судьбу свою, судьбу Ирэн, судьбу всего мира! И ничего вокруг не изменилось. Где-то по коридору шагает спокойно Кербер; как всегда, подкрашивает губки миссис Слоу; едут машины по улице, танцуют где-то пары;

работают где-то люди, на какой-то части земного шара шьется пальтишко для ребенка, и неизвестно теперь, успеет ли он его надеть... Нет, не дрожит рука Миллера-второго; булькает стерфорд в рюмку Ирэн.

— Спасибо, Эдвард, я больше не хочу. Он взял ее ладонь, прижал к своей щеке.

— Но ты же сама отдала мне решение.

— Ты говоришь так, будто я возражаю.

— У тебя теперь будет все, Ирэн, — продолжал он, словно не слыша ее слов. — Виллы, яхты, машины, покой, счастье... Знаешь, если верно, что отдельные беды порождают общее благо, то пусть общая беда создаст хотя бы наше с тобой счастье. Мне надоело...

— Ты говоришь так, — повторила Ирэн, — будто я возражаю!

— Когда, Ирэн, впереди идет гордость, позади идет убыток. Но я люблю тебя, Ирэн, ты понимаешь?

Раздался стук в дверь. Вошел помощник Миллера Кербер. Он остановился у порога, издали поклонился Ирэн и, как всегда, сняв очки, молча обратил свой взор к шефу. Он был в сером халате с рукавами, засученными до локтей, а его голый череп, начищенный до блеска, опять, как и всегда, вызвал желание у Миллера-первого поставить на нем печать. Даже сейчас, сидя в шкафу, он почувствовал зуд в руках и, глядя на своего двойника, понял, что тот, вероятно, испытывает нечто подобное.

— Кербер, — сказал Миллер-второй, — мы сейчас осмотрим установку. К четырем часам ее надо доставить на полигон. Ирэн, это займет не более десяти минут. Прости, тебе придется подождать. Я пришлю за тобой, как только мы кончим.

Кербер расширил глаза, но ничего не ответил, только склонил чуть-чуть голый череп. Они вышли.

Совершенно неожиданно Ирэн показала им вслед язык, потом достала из сумочки пудру и повернулась лицом к окну.

Не колеблясь, Миллер осторожно отворил дверцу и бесшумно вышел из шкафа. Когда он, уже не таясь, сделал несколько шагов по кабинету, Ирэн, не оглядываясь, без удивления спросила:

— Так быстро?

— Да. Мне нужно позвонить.

— Ты где-то выпачкал весь костюм, — сказала, повернувшись, Ирэн.

Миллер уже поднял телефонную трубку.

— Миссис Слоу, срочно соедините меня с Дороном!

Прошла долгая минута, прежде чем Миллер услышал:

— К сожалению, шеф, Дорон не отвечает. Миллер швырнул трубку на рычаг.

— Черт возьми! — вырвалось у него.

— Эдвард, — сказала Ирэн, — случилось еще что-нибудь?

— У тебя не будет ни яхт, ни вилл, Ирэн. Это все бред. Ты будешь нищей, как я. Ты будешь...

— Что это значит, Эдвард?

— Я не могу объяснить. Не умею. Нам пора уходить.

— Куда?

— Этого я тоже пока не знаю. Если угодно, я испытывал тебя, Ирэн, хотел проверить.

— И Дорона тоже испытывал? И Кербера? Зачем?!

— Пойдем, Ирэн. Все очень сложно. Тебе не понять.

— У меня голова идет кругом... Опомнись и помоги, опом...

Она не договорила. Миллер вдруг увидел в ее глазах ужас. Она смотрела мимо него совершенно невыносимым взглядом. Потрясение было так сильно, что она лишилась чувств.

Он быстро оглянулся.

В дверях стоял Миллер-второй.

## 7. Голый король

Нахальства у Двойника, очевидно, хватало. Он подтолкнул Миллера к шкафу. — Забирайтесь назад, — сказал он, — поговорим потом.

Миллер чуть не задохнулся от злости. В нем все клокотало, но он понимал, что пререкаться сейчас бессмысленно: каждую секунду Ирэн может очнуться, и тогда трудно представить, что произойдет. Он забрался в шкаф.

Все в ту же замочную скважину Миллер увидел, как Двойник, смочив носовой платок водой, приложил его ко лбу Ирэн. Она глубоко вздохнула и открыла глаза. Ее взгляд скользнул по кабинету беспомощно и боязливо.

— Дюк, — тихо сказала она, не то спрашивая, не то утверждая, — я больна?

— Успокойся, Ирэн, — мягко сказал Двойник, — не надо волноваться.

Он поднял ее и усадил в кресло.

— Эдвард, мне показалось, что ты... Я видела двоих...

— То есть как двоих? Кого?

— Мне страшно, Дюк.

— Успокойся, Ирэн, — повторил он. — Ты очень утомлена. Это бывает. Когда я много работаю, со мной происходит нечто подобное. Это не болезнь. Успокойся. Ты знаешь, миражи в пустыне, ложные солнца... Ты, наверное, волновалась?

— Да. Я ждала твоего решения и...

— Не будем сейчас об этом. — Двойник обнял Ирэн за плечи. — У нас еще целая вечность впереди.

— Да-да, Дюк, ты прав, как всегда.

Миллер, наблюдавший за этой сценой из шкафа, вначале удивился тому, как Двойник вышел из столь трудного положения, как легко он успокоил Ирэн. «Молодец! — невольно похвалил он. — Я, наверное, не смог бы сделать это столь убедительно». Но когда Ирэн, тронутая его тактом и благодарная, прильнула к Двойнику, смотреть на это было выше его сил.

— Я провожу тебя, — услышал Миллер голос Двойника.

— Не надо, Дюк. Мне нужно побыть одной.

Ирэн направилась к двери. У порога она на мгновение остановилась, и ее взгляд вновь скользнул по кабинету.

Миллер сидел неподвижно, закрыв лицо руками, пока Двойник не распахнул двери шкафа.

— Выходите, — сказал он, — мы одни. Нестерпимо жгло горло. Опустившись в кресло, где минуту назад сидела Ирэн, Миллер схватил рюмку, одним махом выпил вино и закашлялся. Двойник укоризненно посмотрел на него.

— Я не думал, — ехидно заметил он, — что у вас есть склонность к алкоголизму.

Миллера взорвало, но он сдержал себя и как можно спокойнее ответил:

— Еще неизвестно, какие пороки обнаружились бы в вашем характере, если бы вы сидели в этом шкафу, а я бы нежничал с вашей невестой.

— Оставим это, — прервал Двойник. — Лучше обсудим положение. — Он посмотрел на часы. — До испытаний осталось мало времени, я должен к ним подготовиться. Ну, а вы...

— Что вам делать на испытаниях? Если кто-нибудь из нас должен на них присутствовать, то, конечно, я! Вы оставайтесь здесь, в кино сходите, что ли.

— Я не люблю кино. И вы отлично это знаете. Мне нужны испытания, они слишком много для меня значат, поэтому я должен быть на полигоне!

— В таком случае я звоню сейчас Дорону и говорю ему, что поедет один Кербер. — В голосе Миллера послышались металлические нотки. Он решительно направился к телефону. Двойник остановил его.

— Не торопитесь. Через час после вашего звонка я зайду к Дорону и скажу, что еду на испытания!

— Он примет вас за сумасшедшего.

— Почему меня, а не вас? Они замолчали.

— Поймите, я, как и вы, тоже ученый, — сказал Двойник. — Мне, как и вам, прежде всего важно убедиться в том, что установка работает.

— Это, пожалуй, — единственное, что заслуживает внимания. — Миллер усмехнулся, понимая, что первый раунд у них кончился вничью. — Так давайте, коллега, объединим свои усилия хотя бы на этом этапе.

Оба помолчали и шеями поправили воротнички рубашек.

— Вы... впрочем, могу и я... короче говоря, один из нас поедет на полигон раньше, — неожиданно предложил Двойник. — Там и встретимся. В бункере могут находиться только двое, нам места хватит.

— Но как быть с Кербером? Он всегда ездил на полигон вместе со мной...

— И со мной тоже... Обойдемся без Кербера, — отрезал Двойник. — А то, боюсь, я ему все же поставлю печать на лысину!

И они, быть может, впервые добродушно рассмеялись, отлично поняв друг друга.

...Как и договорились, Миллер приехал на полигон раньше, а Двойник должен был приехать вместе с Дороном. Предъявив часовому пропуск, Миллер прошел в свой бункер. Дверь была открыта. У пульта управления колдовали два механика — служащие полигона. Они доложили, что установка к опыту готова. Миллер отослал их.

Оставшись один, он полностью переключил свой мозг на предстоящий эксперимент.

В то время как глубоко под землей должна будет взорваться бомба и вспыхнет ядерный шквал огня, он, Миллер, находясь в двух километрах от этого ада, попытается задержать взрыв, ну, пусть на пять секунд, на десять, этого будет достаточно, чтобы понять: установка сработала! Она сейчас там, над черным жерлом шахты, уходящей в глубины земли. Но если нажать вот эту красную кнопку, суперполе должно заключить атомный огонь в свои объятия. Это поле должно держать его не только секунды — вечно, всегда! — но может и выпустить, и тогда бетон, земля — все превратится в сгусток плазмы...

Миллер чувствовал, что эксперимент закончится хорошо. Все прошлые ошибки исправлены. Но все ли? Да, кажется, все... Сегодня установка будет работать!.. А вдруг нет? Разве он застрахован от неожиданностей? И кто вообще избавлен от них?

Неожиданно Миллер услышал голос Дорона.

— Профессор, — сказал генерал, — что вы нам сегодня обещаете?

Миллер испуганно отшатнулся, но, поняв, рассмеялся. На командном пункте включили трансляцию, голос Дорона доносился из репродуктора.

— Наука не терпит спешки. — Ошарашенный Миллер услышал свой собственный голос. «Значит, они уже там. Лишь бы Двойник не наговорил лишнего!» — Из суммы рядовых репетиций складывается премьера, генерал.

— Вы театрал, профессор, — ответил Дорон с раздражением, — но у нас все-таки не спектакль! Вы когда-нибудь скажете мне толком о ходе ваших работ?

— Но, генерал, иногда и репетиция может доставить удовольствие! — ушел от прямого ответа Двойник.

Да, он вел себя осторожно. «Или он не уверен в исходе испытаний, — подумал Миллер, — или... — и тут его поразила неожиданная мысль: — или он, кроме самой установки, больше ничего не знает!»

— Профессор, — сказал между тем Дорон, — мы с нетерпением ждем завершения вашей работы. И чем быстрее она будет закончена, тем лучше для вас.

— Я постараюсь, генерал.

Когда Двойник наконец появился в бункере, он увидел Миллера, улыбающегося и почти счастливого. Миллер сидел в кресле и курил сигарету. Он встретил своего коллегу иронически.

— Как добрались, профессор? — спросил Миллер.

— Отлично, профессор! — Двойник принял предложенный тон разговора. — Правда, Дорон забросал меня глупыми вопросами, а в остальном все нормально. Установка готова к опыту?

— Конечно.

— Итак, коллега, сегодня решается наша судьба? — сказал Двойник. — Если установка будет работать, как я и предполагаю, то мир вскоре узнает о новом открытии.

Миллер угрюмо насунился.

— Не надо торопиться, — заметил он.

Двойник пролистал журнал монтажа, в котором шаг за шагом записывалась сборка аппаратуры, и с удовлетворением потер руки.

— Я представляю, — сказал он, — как мы начнем выпускать установки серийно, большими партиями. Любой хороший завод освоит их производство за два месяца.

— Это не так просто, — заметил Миллер.

— Знаю. Но достаточно посадить конструктора, чтобы он грамотно сделал чертежи по уже существующей разработке, и все будет нормально. В установке, конечно, не все совершенно, но она и так хороша.

— Может быть, хватит болтать? — зло заметил Миллер. — Пора приступить к делу.

Они тщательно проверили все приборы.

— Я очень волнуюсь, — признался Двойник, — и в то же время я спокоен, мне кажется, что опыт будет удачен.

— Возможно, возможно. — Миллер испытующе посмотрел на Двойника. — Но меня беспокоит одна деталь: сможет ли гиперполе пробить такую толщу земли? Я как-то упустил это из вида.

— Вполне естественно, — сказал Двойник. — Как вы могли думать о том, о чем я не думал?

Они взволнованно зашагали по комнате. «Господи, почему я не проверил это раньше?» — подумал каждый из них.

— А если... если... — Двойник остановился, — увеличить напряженность?

Миллер на секунду задумался, но, проделав в уме несложные подсчеты, разочарованно сказал:

— Нельзя! Не справятся блоки фокусировки поля. Кроме того, в зону действия установки попадет первый бункер, там люди...

— Ерунда! — Двойник загорелся своей идеей. — Я уверен, ничего им не будет!

— Люди могут пострадать! — резко сказал Миллер.

— Вы просто хлюпик, профессор!

Миллер ничего не ответил. В голову пришла любопытная мысль: если включить оба генератора гиперполя последовательно, то этого будет вполне достаточно...

— Слышите, я требую! — упрямо повторил Двойник.

— У вас нет времени, чтобы перенастроить установку.

— Что же делать?

— Включим генераторы поля последовательно.

— Зачем? — не понял Двойник.

Миллер, не скрывая своего превосходства, объяснил идею. Некоторое время Двойник не понимал и только в конце, когда Миллер сказал ему, что и как надо делать, согласился. Через несколько минут аппаратура была готова.

Миллер торжествовал. «Двойник, — думал он, — не очень-то хорошо соображает. Впрочем, это естественно, ведь он живет отдельно от меня второй день, — значит, уже два дня мыслит иначе, совсем иначе... Вероятно, в лаборатории Чвиза воспроизвелось далеко не все... Главное! — И от этой мысли Миллер пришел совсем уж в отличное настроение. — Двойник, кажется, и не подозревает о некоторых тонкостях теории нейтронного торможения!»

— Еще есть надежда, что король голый, — сказал вслух Миллер.

— Что? — не понял Двойник.

— Это я просто так. — Миллер мысленно обругал себя за несдержанность. Он подумал о том, что если не будет установки — она, например, исчезнет, — то Двойнику грош. Ведь он не сможет вновь создать установку!

В репродукторе раздался голос начальника полигона:

— Зона освобождена. Приготовиться, через пять минут взрыв.

— Садитесь за пульт, — сказал Миллер. — Я буду снимать показания приборов.

И отошел в глубь бункера.

...Из командного пункта доносился монотонный голос начальника полигона:  
— До взрыва 30 секунд... 10... 5... 3... Двойник включил установку. Начальник полигона считал:

— Два... Один... Взрыв! Тишина.

Прошло пять секунд, десять... Взрыва не было.

— Выключайте, — спокойно сказал Миллер. Двойник даже не пошевелился.

На командном пункте началась паника.

— Выключайте! — сказал Миллер.

— Еще несколько секунд, — не оглядываясь, ответил Двойник.

— Выключайте! Двойник взорвался:

— Как вы не понимаете, что каждая лишняя секунда — это тысяча кларков в недалеком будущем!

Миллер остолбенел от изумления. Паника катилась по полигону.

— Немедленно проверить энергетiku! — ревел в микрофон Дорон. — Начальника третьего участка ко мне!

— Выключайте! — закричал Миллер и бросился к пульту.

Двойник, сжав кулаки, поднялся ему навстречу.

## 8. Билет в Аргентину

Миллер не успел нажать кнопку сброса поля: рука Двойника цепко обхватила его запястье. Физик рванулся. Двойник засмеялся коротко и неприятно.

— Драка отменяется, — сказал он отрывисто, — ведь и физически мы равны. — Он разжал руку.

Миллер чуть тронул красную кнопку, и в тот же миг они увидели, как острой пикой взметнулась вверх дрожащая голубая линия на экране нейтронного счетчика: в шахте взорвалась бомба.

Миллар устало опустился в кресло, закрыл глаза. Двойник подошел к контрольному секундомеру.

— Шесть минут, семнадцать и три десятых секунды, — сказал он. — Боже мой, какой вы все-таки идиот! Просто не верится, что вы мой двойник.

— Идиот вы, — лениво сказал Миллер. — Впрочем, даже кретину ясно, что если процесс ядерного деления можно затормозить на десять секунд, то при определенном расходе энергии его можно затормозить на десять минут, или дней, или лет. Это уже неинтересные технические детали, которые должны заботить не физика, а репортера... А вы упивались своей властью над нейтронами, как мальчишка, которому подарили барабан и который не может остановиться.

— Да! Упивался! — закричал Двойник. — Упивался! Потому что нам с вами все ясно и секунду спустя, а Дорону и господам из министерства обороны секунды мало! Им нужен эффектный фокус, — вот тогда им будет ясно! Эффектный и достаточно долгий, чтобы они успели сообразить. Года два назад я листал книжку «Теория рекламы»...

— Это я листал! — сказал Миллер.

— Опять дурацкий спор, — вздохнул Двойник. — Ну хорошо: мы листали. Но вы ничего, видно, не запомнили, а я запомнил. Надо уметь продавать. И, право же, все равно, чем вы торгуете — пивом или установками нейтронного торможения. Если вы принесете Дорону листок с формулами, вам заплатят тысячу кларков, а если вы сунете ему под нос секундомер, — можете сорвать миллионы.

— Так, так, — сказал Миллер, — браво! Раньше я думал, что есть физики-теоретики и физики-экспериментаторы. Оказывается, есть еще физики-лавочники.

— Зря стараетесь: драки не будет, — спокойно сказал Двойник. — Ну что вы злитесь? Почему цену моим мозгам должен назначать кто-то, а не я?

— Вашим мозгам? — переспросил Миллер.

— Ну хорошо: нашим.

— Это, простите, меняет дело. Я сам распоряжаюсь своими мозгами.

— Можете не волноваться: я джентльмен. Все деньги — пополам. И, послушайте меня, давайте сразу договоримся: я покупаю билет в Аргентину или в Австралию, куда хотите, хоть в Россию, и вы уезжаете. Нам будет трудно вдвоем.

— Интересно, — сказал Миллер, — очень интересно. Я уезжаю, а вы? Что будете делать вы? Только откровенно.

— Абсолютно откровенно! Я иду к Дорону и рассказываю ему о том, что генератор существует, работает, и предлагаю его купить... ну, допустим, за миллиард кларков.

— Зачем вам такая куча денег?

— Я не жадный: миллиард надо просить для солидности. На двоих нам вполне хватит двадцати миллионов. Потом отдаю установку, ее разбирают, изучают...

— Но они не понимают принципа генерирования и ориентации поля.

— А зачем его понимать? Кто понимает, что такое энтропия? Кто представляет себе бесконечность пространства? Так даже удобнее: я им — установку, они мне — чек. И до свидания. Поселимся с Ирэн где-нибудь у теплого моря...

— Но ведь Ирэн будет в Аргентине.

— Почему?

— Вы же собираетесь спровадить меня в Аргентину.

— Вас, но не Ирэн.

— Ах, вы надеетесь, что я.

Их разговор прервал голос Дорона из репродуктора:

— Профессор Миллер! Профессор Миллер! Двойник быстро подошел к микрофону, щелкнул выключателем.

— Миллер у микрофона.

— Мы до сих пор не понимаем, чем вызвана задержка взрыва, — сказал Дорон. — Могут ли ваши опыты влиять на наш эксперимент?

— Гм... Трудно сказать... — осторожно начал Двойник.

— Думаю, что не могут, — быстро вставил Миллер.

Двойник погрозил ему кулаком.

— Вы могли бы зайти ко мне? — спросил Дорон.

— Хорошо, — сказал Двойник.

— Я зайду через десять минут, — добавил Миллер. Двойник выключил микрофон.

— Зайду все-таки я, — сказал он.

— Послушайте, мне это надоело. — Миллер закипал. — С меня хватит. Вы ходили по моему кабинету — я сидел в шкафу, вы ездили в моей машине — я брал такси. Давайте вести честную игру: утром вы говорили с Дороном, теперь моя очередь.

— Понял, — сказал Двойник и улыбнулся, — вы думаете, что я начну торговлю и оставлю вас в дураках...

— А где гарантия?... — перебил Миллер.

— Вот это настоящий разговор! — захохотал Двойник. — «Где гарантия?» Да, вы не такой простак, каким хотите казаться. — Внезапно он стал серьезным. — Даю вам слово: сегодня торговли не будет. Это — слишком серьезное дело, и к нему надо подготовиться. Более того, я постараюсь убедить Дорона, что задержка, возможно, не имеет к нам отношения. Если он узнает о нашем опыте, то спокойно сможет обойтись и без нас: установка в его руках. Итак, сейчас пятнадцать тридцать, в семнадцать встретимся дома и все обдумаем... Да, пока не забыл: купите себе домашние туфли, я не могу больше ходить по квартире босиком.

Двойник вышел. Некоторое время Миллер неподвижно сидел в кресле, потом встал, в задумчивости походил по тесному бункеру, сел снова. Итак, решение, о котором он думал так долго, принято. Принято не им. Помимо его воли. Двойник продаст установку, это вопрос только времени. Он должен помешать ему. Как? Как? Как?



Он сидел долго. Вдруг вспомнил: «Кто понимает, что такое энтропия? Кто представляет себе бесконечность пространства?» Миллер быстро встал.

— Может быть, это не лучшее решение, но это — решение, — сказал он своему отражению в трубке осциллографа. Выпуклое стекло искажало его лицо. Там, в трубке, он совсем другой, непохожий на Двойника...

«Мерседес» профессора Миллера подъехал к стенду, где была смонтирована установка. Он улыбнулся часовому: тут его знали. Подошел к аппарату, долго возился, отключая провода, тянувшиеся к маленьким ящичкам — блокам ориентации поля. В них — все. Два ящичка не больше жестянки из-под чая. Правда, тяжелые. «Гири, — подумал Миллер, — гири на весах войны и мира». Он отнес их в машину.

Через десять минут, когда он был уже милях в пятнадцати от полигона, он остановил свой «мерседес» у моста через реку. Вышел. Вынул блоки, положил под передние колеса. Сел за руль и двинул автомобиль. Раздался легкий хруст, как сахар на зубах. «Мерседес» снова остановился. Миллер вышел с газетой в руках. Аккуратно сгреб в газету исковерканные пластинки металла, панельки, магнетики, битое стекло, комочки рваных проводков. Завернул. Пакетик полетел в реку, шлепнулся и даже проплыл, к удивлению Миллера, несколько метров. Но тонкая бумага быстро размокала, расплзлась под тяжестью разбитых приборов.

Он переехал мост. Крутой поворот шоссе был огорожен белыми бетонными столбиками, прямыми и строгими, как солдаты. Миллер на ощупь проверил застёжки предохранительного шоферского пояса. «Жалко все-таки машину...» — это была его последняя мысль перед тем, как «мерседес», ударившись правым боком в столбик, с визгом отлетел на левую сторону шоссе. Маленькая тонкая струйка побежала к обочине. Наверное, это была вода. А может быть, бензин. А может быть, кровь?

...17.00. Миллера нет. Что он придумал? Душно. Двойник подошел к окну, распахнул створки и в тот же миг услышал голос мальчишки-газетчика: «Экстренный выпуск! Новый подземный взрыв прошел успешно!» (Он улыбнулся.) «Миссис Лэлли Кички — мать двадцать шестого ребенка!» (Молодец Лэлли!) «Известный физик профессор Миллер — еще одна жертва автомобилизма». Двойник вздрогнул. Нет, он не мог ослышаться. Выскочил на улицу, схватил газету и сразу увидел на первой полосе свой искореженный «мерседес». Отдельно — фотография Миллера: голова откинута назад, глаза закрыты. Не понимая слов, пробежал глазами заметку: «...доставлен в госпиталь св. Фомы...» Где этот святой находится?

Первое, что сказал врачу Миллер, когда открыл глаза в госпитале святого Фомы, было:

— Прошу вас позвонить по телефону РС-15-875... господину Дорону... и рассказать ему...

— Обязательно, обязательно, — суетливо и ласково ответил врач и тут же начал набирать номер.

«Так, — подумал Миллер, — установки нет. Это раз. Дорон знает, что я в больнице. Это два. Сегодня об этом напишут газеты. — Он готов был смеяться от радости. — Главное теперь — надуть врачей... Какие признаки сотрясения мозга? Тошнота. А еще? Кажется, сотрясение нельзя проверить никакой электроникой... Итак, он перешел наконец на легальное положение. «Профессор Миллер — жертва автомобильной катастрофы». Ха! Ха! Пусть теперь тот покрутится!»

— Если придет мой брат, вы узнаете его, он очень похож на меня, — пропустите его, пожалуйста, — сказал он самым больным голосом, на который только был способен.

Двойник пришел в тот же вечер, едва не столкнувшись с только что ушедшей Ирэн. Миллер улыбнулся, увидев его наклеенные усы.

— Не колются? — спросил он шепотом.

— Что? — не понял Двойник.

— Усы не колются? — Миллер захохотал. — Может быть, теперь вам купить билет в Аргентину?

— Чему вы, собственно, радуетесь? Разбили мою машину...

— Нашу машину, — поправил Миллер.

— ...нашу машину, — продолжал Двойник, — и только ради того, чтобы заставить меня купить эти дурацкие усы? Это не смешно, это глупо. Неужели вы до сих пор не понимаете, что Дорону совершенно наплевать на то, кто из нас настоящий Миллер? Ну, пусть вы. Пусть. А я пойду и предложу ему установку. Он что же, по-вашему, не возьмет ее только потому, что вы, так называемый «настоящий Миллер», лежите в госпитале? Чепуха!

— Правильно, — весело сказал Миллер. — Все правильно. Но вся штука в том, что теперь вам нечего предлагать Дорону.

Он ожидал увидеть на лице Двойника удивление или возмущение. И не увидел.

— Знаю, — Двойник устало махнул рукой, — все знаю. Я был на полигоне. Вы сняли блоки ориентации поля и выбросили в какую-нибудь помойку. Согласен с вашим выбором: это самая дорогая вещь, которая когда-либо лежала на помойке за всю историю человечества. Но я не буду их искать. Пусть ищет Дорон, если ему жалко двадцать миллионов кларков. А мне эти блоки не нужны. У меня они есть. Вот тут.

Он постучал себя пальцем по лбу.

## 9. Ключевое уравнение

Миллер молчал, а Двойник со вкусом описывал детали открытия. Он так увлекся, что вынул карандаш и потянул к себе листок с температурной кривой, чтобы изобразить ключевое уравнение.

Это было уже слишком. Перед Миллером сидело его «я», на этот раз не только физическое, но и интеллектуальное. Сидел ученый, которому формулы доставляли чисто эстетическое наслаждение.

— Хватит, — сказал Миллер. Карандаш Двойника замер.

— Хорошо, коллега, хватит. Но согласитесь, что у нас с вами великолепная профессия. Право, мне жалко лишать вас удовольствия быть ученым.

— То есть как лишать? Почему меня, а не себя? Это был глупый и ненужный вопрос, но Миллер нарочно задал его, чтобы выиграть время.

— По-моему, это ясно. — Двойник улыбнулся. — В наши дни всеобщая жизнь ученого трудна. Я к ней более приспособлен, потому что во мне, к счастью, нет вашего комплекса неполноценности.

— Совести, — поправил Миллер.

— А! — Двойник улыбнулся. — Для нас, ученых, объективная реальность превыше всего. Что такое совесть? В каких координатах прикажете ее измерять? И чем? Вот так-то.

— Пожалуй, вы правы, — заметил Миллер, — вам легче жить.

— Ну, не сказал бы. Черт возьми, кому из нас приходится больше заботиться друг о друге: вам или мне?

— Если вы имеете в виду вариант с Аргентиной...

— Почему? Мы можем рассмотреть и другие варианты. Помнится, в детстве я — значит, и вы, — мы оба мечтали быть художниками. Почему бы вам не вернуться к живописи? Тоже творчество.

— Действительно, почему бы?

— Да и вообще Аргентина не обязательна. Вы можете остаться здесь, вы станете моим братом, документы мы купим. Затем вилла на Коралловых островах, а? Плохо разве?

— Неплохо, — согласился Миллер.

— Но без Ирэн, профессор, — сказал Двойник. — Ирэн моя.

Миллер не умел притворяться. Он знал за собой эту слабость. К тому же у него по-настоящему заболела голова.

— Так что же, — сказал Двойник, — обсудим этот вариант?

— Не сейчас. — Миллер закрыл глаза. — Завтра... У меня голова идет кругом.

— Вижу, вижу, вы побледнели. У вас действительно сотрясение мозга? Бедный мой братик...

Двойник нежно погладил Миллера по плечу.

«А ведь он, пожалуй, не врет, — подумал Миллер. — Он действительно жалеет меня, ибо считает поверженным. Он просто опьянен сознанием своего превосходства! Это хорошо».

И вдруг Миллера, как острым ножом, резанула мысль: Двойника не было раньше, и его не должно быть в будущем! Боже, как это просто! Как это бесчеловечно просто!

— Завтра, — сказал Миллер, не открывая глаз. — Решим все завтра. Вы подумайте... о вариантах. Я тоже подумаю... братик.

Последнее слово далось ему с трудом, но почему-то очень захотелось его произнести.

— Что ж, неплохо! Дела наши, кажется, идут на лад. А говорят, что от автомобильных катастроф один только вред. — Двойник подмигнул Миллеру. — Итак, завтра. Вы больной, а потому выбирайте время.

— Я выйду отсюда в девять вечера. Заеду домой переодеться, — у меня порван пиджак. Встретимся в одиннадцать... На углу Кригс-стрит и Лобн-авеню.

— Почему на улице? Уж лучше в кафе...

— Хорошо, давайте тогда в институте. Там никого уже не будет, и нам не помешают.

— Дома еще спокойней.

— Нет, нет, только не дома!

— Понимаю. Может прийти Ирэн? Пожалуй, вы правы, профессор...

Двойник поправил шейный воротник рубашки и вышел.

Когда за ним закрылась дверь, Миллер понял, что еще минута-другая — и он сорвался бы. Накричал бы, нагрубил и все испортил... Итак, Миллер против Миллера. Как странно. Впрочем, странно ли? Разве все эти последние месяцы он не был занят борьбой с самим собой? Здесь ничего не изменилось, если не считать того, что его второе, темное «я» отделилось и зажило самостоятельной жизнью. Завтра этой борьбе придет конец, только и всего. Но хватит ли у него сил сломать это «я» в другом человеке?

...Утром Миллер проснулся бодрым, решительным, каким давно уже не был. Уговорить врачей выписать его из госпиталя не составило особого труда. Куда труднее было дожидаться вечера.

План был четок и ясен. В 9.15 Миллер заехал к себе домой, торопливо переоделся, открыл ящик стола и, ни секунды не колеблясь, сунул в карман пистолет. Потом вышел на улицу, остановил такси. «Уэлком-сквер, 18!» — крикнул шоферу.

Ирэн, как он и ожидал, была дома. С того времени, как Миллер оказался в больнице, она не находила себе места, но из квартиры не вышла ни на секунду. В любой момент Миллер мог позвать ее — так думала Ирэн, страдая от случившегося.

Когда Миллер вошел, она молча поднялась к нему навстречу, и глаза ее говорили больше, чем любое слово, которое могли бы произнести губы.

— Ирэн, — сказал он. — Помоги мне быть сильным...

Она на шаг отступила — маленькая серьезная девочка с внезапно осунувшимся лицом — и тихо спросила:

— Дюк, нам будет... очень плохо?

— Да, Ирэн, скорей всего. Я принял решение, и через два часа...

— Но уже ночь, — сказала она.

— Через два часа я сделаю самый важный и самый трудный шаг к его осуществлению. Я пойду сейчас...

— Не надо, — прервала Ирэн. — Что бы ты ни сделал, я одобряю. Однажды я уже сказала тебе об этом. Лишь бы ты не был таким...

— Каким?..

— Таким... разным. Издерганным. Я устала мучиться твоими мучениями.

— Ирэн, я должен сейчас уйти.

— Хорошо.

Она подняла голову. В ее глазах блестели слезы.

— Потом ты мне все объяснишь. Когда у тебя будет время. Я жду, Дюк.

Говорить Миллер больше не мог. Он благодарно посмотрел на Ирэн и вышел из комнаты.

После его ухода Ирэн с минуту еще стояла у двери, опустив руки. Медленным взглядом обвела комнату, в которой сгущались сумерки. Потом вытерла слезы, посмотрела на часы — было десять вечера — и пошла в спальню. Когда раздался стук в дверь, она была уже в халате.

— Лили, это ты? — спросила она, решив, что это маленькая Лили, живущая на первом этаже.

Дверь открылась.

— Дюк?! — воскликнула Ирэн, удивленная столь внезапным возвращением Миллера.

— Да, я. Ты расстроена? А у меня хорошие новости. Все складывается так удачно, что не сегодня-завтра ты станешь женой богатого и знаменитого мужа. Через неделю, Ирэн, мы отправимся на Коралловые острова. Ты так давно мечтала о поездке... Что с тобой, дорогая?

Ирэн зажала рот, чтобы не закричать.

— Ирэн! — Он шагнул к ней, но она отпрянула в' угол.

— Не подходи... — прошептала она. — Это не ты! Страшным усилием воли Двойник удержал проклятия.

— Ирэн, послушай... Я не думал...

Но Ирэн не слушала его. Она вжалась в стену и медленно покачивала головой. Потом словно обмякла, взгляд ее потух.

— Уходи, — глухо сказала она. — И не появляйся, пока я не позову тебя. Мне надо подумать.

— Но я тебе все объясню!

— Десять минут назад я не просила у тебя объяснений. — Она хрипло засмеялась. — Ты хамелеон. Ты не способен решать раз и навсегда. Теперь решу я сама. Уходи.

...Двойник быстро шел по темному коридору института, не глядя по сторонам. Если бы перед ним сейчас вдруг возникла стена, он не стал бы ее обходить, он прошиб бы стену, так переполняла его ярость. Но у двери в кабинет он замедлил шаг, вынул из кармана пистолет и, поколебавшись секунду, поставил спуск на предохранитель...

## 10. Развязка без конца

Что было дальше? — быстро спросил Гард. Некоторое время Фред не отвечал. Он закрыл блокнот, отвернулся к окну и с тоской смотрел на улицу. У Гарда возникло ощущение, что, не будь его в кабинете, Фред распахнул бы сейчас окно и измерил остаток своей жизни двадцатью метрами до мостовой.

— Ты слишком близко принимаешь все к сердцу, — сказал Гард. — Тебя так надолго не хватит.

— Что было дальше? — медленно спросил репортер, словно не слыша последних слов Гарда. — Они вполне созрели для решительных действий. Понимаешь, Дэвид, — он повернулся к инспектору, — это почти то же самое, как в одном человеке идет борьба с самим собой и вот он однажды решает, что пора подвести черту. Быть или не быть — в

конце концов это каждому рано или поздно приходится решать. Но когда мы подводим черту для себя, мы можем убить мысль, оставив плоть живой. У них же плоть оказалась неотъемлемой от мысли... Убийство было, Гард, и ты это прекрасно знаешь!

— Но юридически...

— Но юридически его не было, если Миллер жив, а наличие двойников нигде не зафиксировано?

— Однажды я уже слышал это, — сказал Гард.

— От Дорона, — спокойно добавил Честер.

— Откуда ты знаешь?

— Я знаю все. С того момента, как появился Двойник, и до того момента, как тебя вызвал Дорон. Он тебя вызывал?

— Но при этом никто не присутствовал.

— И он говорил с тобой?

— За последние три года я впервые позволяю себя допрашивать. Да, говорил, две минуты.

— Вполне достаточно, чтобы сказать: «Инспектор Гард, зарубите себе на носу...»

— Но про Двойника он мне ничего не говорил.

— А ты у него спрашивал? Дорон привык иметь дело с теми, кого уже трудно превратить в людей, потому что святой Франциск давно обратил их в бессловесных скотов...

— Фредерик!

— Что было дальше, Дэвид? Была ночь. Дежурный сказал, что это случилось где-то в районе двенадцати. Но их последняя встреча началась часом раньше. Целый час они сидели в креслах друг перед другом, пили вино и сжимали в карманах пистолеты. В сущности, Гард, они не были врагами, потому что человек не умеет быть врагом самому себе. Непримирины были их планы! Одинаковое прошлое — и взаимоисключающее будущее! Это трагедия, Гард, трагедия нашего века — я не взял бы на себя обязанность адвоката, если нужно было бы защищать оставшегося в живых... Дурацкая жизнь, если она может до такой степени искалечить психологию человека, что нередко и без двойников мы сами себя не узнаем!

Да, Гард, они были умными людьми и наверняка думали обо всем этом в тот последний час. Впрочем, тогда уже ничто не имело для них значения — ни открытие, ни установка, ни Аргентина, ни даже Ирэн. Они еще произносили какие-то слова, но только для формы, боясь спугнуть жертву, ведя тонкую игру. Ведь каждый из них думал, что лишь он замыслил убийство, меж тем жертва об этом даже не подозревает!

Вот почему, Гард, они, не сговариваясь, выстрелили одновременно и даже несколько неожиданно для себя, хотя оба стремились к такому финалу, — они выстрелили вскоре после того, как одновременно поняли, что оба пришли убивать. А сначала... Скачала они наивно искали, повода вытащить друг друга из кабинета, из этого института — куда-нибудь на улицу, в темноту, чтобы можно было сбросить труп в канаву, обезобразив предварительно лицо, или в реку... Это страшно, Гард, это чудовищно, но представь себе:

« — Ах, как хорошо сейчас на свежем воздухе, профессор!

— Где-нибудь у реки...

— Цивилизация скоро задушит природу.

— А помните, как мы в детстве мечтали попасть на необитаемый остров?

— Вместе с рыжей химичкой Лерой Вудворд?

— Нет, еще раньше. Правда, тогда у нас была... Роза Мэрфи! Она жила в соседнем доме...

— И тоже рыжая! Нам с вами везло, на рыжих, коллега.

— Какая славная пора!

— Так выйдем на воздух?

— Пожалуй...»

Разговор современных убийц... В недалеком будущем, Гард, прежде, чем покончить со своими жертвами, убийцы будут, как фотографы, говорить: «Простите, можно попросить вас чуть-чуть повернуть голову — вот так? Смотрите в эту точку. Подбородочек повыше, это выглядит эстетичней. И, пожалуйста, повеселее взгляд. Отлично!» — а затем: «Спокойно, стреляю!»

Знаешь, что испортило им все дело? Вызов дежурного. Не нажми Миллер кнопку, мы ничего не знали бы о происшедшем. Ни мы, ни весь мир...

— Ты думаешь, — сказал Гард, — что мир об этом узнает?

— Иначе какой смысл в том, что это случилось?

— От тебя?

— Да, от меня. Чего бы мне это ни стоило. И очень скооо!

— А почему ты считаешь, что именно Миллер вызвал дежурного? И зачем?

— Потому что Миллер... Видишь ли, он позволил себе поиграть с Двойником в кошки-мышки. Ты обратил внимание, Гард, на то, что Миллер почти во всем был нерешительнее Двойника? Он, а не Двойник сидел в шкафу, он прятался на полигоне, он жалко выглядел перед Ирэн, он метался из крайности в крайность... Я не знаю, почему так происходило. Возможно, потому, что человек, творящий зло, всегда решительней человека, творящего добро. Зло более прямолинейно, оно грубее, целеустремленней...

— Но добро все же сильнее, Фред.

— Только в итоге. И не всегда. Так вот, Дэвид, дежурного вызывал тот из них, у кого прежде сдали нервы. Миллер незаметным движением — спинкой кресла, чуть откинувшись назад, — нажал кнопку вызова дежурного. Когда раздались бы шаги по коридору, он сказал бы Двойнику: «Сюда кто-то идет. Прячьтесь в шкаф!» — и настоял бы на этом со всей решительностью, которой ему прежде так не хватало. Он еще не знал в тот момент, что Двойник тоже пришел убивать. И он рассчитывал не просто подшутить над Двойником, а получить при этом хоть крохотное подтверждение собственной решимости и воли, без которых его палец не смог бы нажать на спусковой крючок пистолета.

Но дежурный не появлялся! А повторный вызов уже не прошел незамеченным. И вот тут-то, в течение каких-то секунд, словно спрессованные обстоятельствами, разыгрались трагические события.

— Зачем вам дежурный, Миллер? — резко спросил Двойник.

— Чтобы вы сели в шкаф! — так же резко и прямо ответил Миллер.

— В шкафу проще убивать?

— Проще на улице.

Вызов был принят. Они все поняли. Они уже не сидели. Они стояли посередине комнаты. Они смотрели друг другу в глаза, но, как боксеры, видели все, что делают их руки.

Два выстрела слились в один.

Остальное ты знаешь, за исключением некоторых подробностей.

Убийца, перешагнув труп, вышел из кабинета. В любую секунду могла открыться дверь. Правда, у него оставалась возможность убрать дежурного, но это было уж слишком, и он понимал, что убийство дежурного юридически не оправдаешь.

И действительно, они столкнулись почти у самых дверей кабинета.

— Вы давали сигнал? — спросил дежурный.

Он ничего не ответил: он был взволнован и, кроме того, ему было некогда.

Через семь минут его машина остановилась у дома, где живет Дорон. От института до этого дома ровно семь минут езды по ночной улице. Это был тот случай, когда разговор с Дороном должен был состояться не по телефону и немедленно, — поэтому он рискнул прийти к нему прямо в дом и поднять с постели. А не прийти не мог: в кабинете лежал труп, надо было предупредить события. Еще через десять минут Дорон выехал в институт. Ты помнишь машину, которая, сверкнув фарами, въехала во двор института, когда мы, допросив дежурного, выходили из здания? Это был Дорон.

Так что же, Гард, он сказал Дорону?

Он напомнил ему о направлении поисков Чвиза, сказал о появлении двойника и об Ирэн. И больше ничего. Об открытии и установке не было сказано ни слова! Пока не было сказано ни слова,.. И у него были для этого существенные причины, — я не знаю точно, какие именно, но полагаю, что самой главной была та, что он боялся стать таким же трупом, как тот, что остался лежать в кабинете... Ведь Дорон мог легко освободиться от автора открытия, считая, что в его руках установка, тем более что повод для этого был самый подходящий...

Затем последовали два вызова: тебя и Чвиза. Старика подняли с постели, и Дорон принял его у себя в кабинете. Понимаешь, если бы можно было повторить все условия, при которых получился Двойник, это стало бы открытием всех открытий! Дорон отлично это понимал. Вероятно, он уже рисовал в своем воображении какого-нибудь кретина, физическая сила которого вполне компенсировала отсутствие мозгов. Таких кретинов можно было бы делать тысячами и миллионами, это были бы замечательные солдаты, полицейские, дешевая рабочая сила, — черт знает какие перспективы открывала такая возможность! Бедный Чвиз! Теперь он испытает на себе такое давление Дорона, какого не испытывал даже Миллер. Я не знаю, сумеет ли он воспроизвести эксперимент, который привел к появлению двойника, но то, что он сам теперь раздвоится, не сомневаюсь. Это будет битва не менее трагическая и не менее кровавая, чем битва двух Миллеров!

То, что сказал тебе Дорон, ты помнишь, я повторять не буду. Конечно, он немедленно позвонил Хейссу, и газета на следующий день вышла без моего репортажа. Труп, завернутый в какие-то тряпки, убрали сначала в морг, выдав за нищего. А затем убитого похоронили на кладбище Бирка. Похоронили рано утром, хотя Бирк вот уже шесть лет хоронит только вечером, при свете факелов. Но чего не в силах сделать Дорон!

Утром профессор сидел в своем кабинете, как будто бы ничего и не случилось...

— А что с Ирэн? — спросил Гард.

— Сейчас, наверное, уже все в порядке. Она ведь ничего не знает об убийстве, а все ее подозрения и тревоги должно развеять время.

— Фред, ты гениальный сыщик! — не без зависти сказал Гард. — Как ты все узнал? Ты говорил с людьми? Нашел очевидцев? Видел...

— Дело сейчас не во мне. Это в другой раз. А сейчас... Ты должен помочь! Дай хотя бы совет. Я не знаю, Дэвид, что делать... Или немедленно предупредить мир о случившемся, или... Что мне делать, Гард? Я должен торопиться с решением — пока не поздно, пока еще можно предотвратить катастрофу!

— О чем ты говоришь, Фред?

— Мир должен быть сейчас предельно бдительным, Дэвид. Нам нельзя спать спокойно, мы должны..

— О чем ты говоришь? — повторил Гард.

— Ах, Дэвид, ты никак не хочешь понять, в чем ужас положения! Да, я знаю все, я знаю все про двух Миллеров. Но я не знаю главного: кто из них остался в живых!..

Конец первой книжки

Песенная поэзия

Новеллы Матвеевой

Я не поэт, а прозаик, и потому мне совсем нелегко говорить о тонком песенном искусстве Новеллы Матвеевой, да и не берусь я делать ему какой-то профессионально-

критический разбор. Мне просто посчастливилось несколько раз слышать ее, поближе узнать, и я не могу не поделиться своим непосредственным человеческим впечатлением.

Прозаик я не только потому, что работаю в определенном литературном жанре. Волею судеб в последние годы мне близко, я бы сказал, опасно близко пришлось подойти к прозе жизни, не только простой, безобидно-обыденной, но и темной, даже мрачной, и душа моя завалена валунами человеческих бед и несчастий. И скажу откровенно: иногда становилось боязно — сумеет ли она выкарабкаться из-под этих завалов и почувствовать свет и радость жизни? Вот почему я с такой остротой воспринял все это в поэзии Новеллы Матвеевой. Ведь это было бы так ужасно — | видеть на строительной площадке только хаос, мусор и коробки недостроенных зданий. Но вот этого хаоса коснулось волшебное зрение поэзии, и все преобразилось.

Летняя ночь была Теплая, как зола...

Так,

незаметным шагом

До окраин я дошла.

Новелла Матвеева берет своего слушателя — да, слушателя, потому что она поэт и композитор, — и полной глубины и проникновенности ее поэзия достигает, когда она поет под гитару, под самую простую гитару, очень простым, вовсе не артистическим голосом свои песни-стихи. Тогда она берет своего слушателя, даже самого прозаического и даже самого обремененного своими думами и болями, и ведет его за собою на городскую окраину, в грязь и в глину, на ночной пустырь, где, медленно остывая, лежит железный лом, ходят цементные волны и стоит беспризорная кадка с краской и палкой-мешалкой в ней, где «в белой ночной дали» чудятся какие-то вырезные башни, виднеются кружевные краны и недостроенные дома без крыш, которые «что-то такое знали, что и молвить не могли».

Из-за угла, как вор,

Выглянул бледный двор:

Там на ветру волшебном,

Танцевал бумажный сор,

А эти дома без крыш

Словно куда-то шли,

Плыли,

Как будто были

Не дома, а корабли...

...Было волшебно все,

Даже бумажный сор.

Даже мешалку-палку

Вспоминаю до сих пор.

И эти дома без крыш —

Светлые без огня...

Эту печаль и радость.

Эту ночь с улыбкой дня.

Поэзия!

Ведь в чем сущность поэзии?

В преобразовании. В движениях Души. В порывах и устремлениях. В печали и радости. В улыбке Дня, освещающей, пробивающей даже мрак ночи, даже такой ночи, «что ни зги, точно двести взятых вместе ночей». Потому что в ночи жить нельзя. Потому что нельзя жить в измене, обиде, обмане, в мире, где «зеленая плесень да мох», в атмосфере мелких обывательских интересов, секретов и тайн, которые трубы — в стихотворении



«Водосточные трубы» — «сделав трубочкой губы», стараются выболтать нам. Но нет, старые, ржавые трубы, отвечает им поэтесса, я вам —

...Верю, ах, верю!  
Но почему-то не верю  
И улыбаюсь  
Каменным этим домам.  
Верю надежде —  
Даже как будто напрасной;  
Даже напрасной —  
Совсем невозможной мечте;  
Вижу я город,  
Вижу я город прекрасный —  
В белом тумане,  
В черном вечернем дожде.

А ведь в этом и есть душа поэзии: видеть и дождь и город, печаль и радость, чувствовать и горе, и надежду, и даже самую напрасную, почти невозможную мечту, и стремиться. Потому что без этого жить нельзя. Нет, это не чудо, не иллюзия и не обман, и не этого ищет и хочет поэт.

Ах ты, фокусник, фокусник, чудака!  
Ты чудесен, но хватит с нас чудес!  
Перестань! —  
Мы поверили и так  
В поросенка, сошедшего с небес.  
...Не играй с носорогом в домино  
И не ешь растолченное стекло,  
Но втолкуй нам, что черное черно,  
Растолкуй нам, что белое бело.

Но он боится и другого, что

...«Летучий голландец» на дрова пойдет.  
Кок приготовит нам на этих дровах  
Паштет из Синей Птицы...

Нет, это совершенно страшный образ: «паштет из Синей Птицы», считающейся символом человеческого устремления к мечте.

«Мне говорят иногда, что я зову к уходу от жизни, — сказала она в разговоре со мной. — Но я не понимаю, как это можно. От жизни уйти можно только в смерть. Ведь только два места есть, два состояния: жизнь и смерть. А я хочу только лучшей жизни, и для себя и для других. Вот и все».

Лучшее свидетельство этому — «Страна Дельфиния», стихотворение, которое можно прочесть в этом же номере «Юности».

...Где-то есть земля  
Дельфиния  
И город  
Кенгуру.  
— Это далеко!  
— Ну что же!

Устремление. Чтобы цвели розы, чтобы росли пальмы, чтобы пели птицы — как же это все возможно без меня? Это романтическое устремление, в чем-то близкое и очень созвучное «Алым парусам» Александра Грина, пронизывает, по существу, все творчество Новеллы Матвеевой. Оно пронизывает и ее отношение к человеку, человеку, глубоко думающему, тонко чувствующему. Вот у костра «в тиши весенней, в тиши вечерней» горит костер,

А рядом кто-то  
Сидел, мечтал.  
Котел кипящий.  
Огонь шумящий  
Ему о чем-то  
Напоминал.

Вот пожарный «в каске ярко-бронзовой, носил, чудак, фиалку на груди».

Ему хотелось — ночью красно-розовой —  
Кого-нибудь из пламени спасти.  
... Не то, чтобы ему хотелось бедствия,  
Но он грустил о чем-то... Вообще...

Не повезло пожарнику-мечтателю, «набат на башне каменно молчал», и вдруг этот легкий иронический рассказ заканчивается мудрой фразой:

А между тем горело очень многое,  
Но этого никто не замечал.

Повторяю, я не берусь говорить профессионально об изобразительных средствах Новеллы Матвеевой — это, вероятно, должны сделать наши литературные критики, — но я не могу не сказать о редкой красочности песенной поэзии Матвеевой, о ее картинности, иногда буквально соприкасающейся с живописью.

В закатных тучах красные прорывы...  
Большая чайка — плаваний сестра —  
Из красных волн выхватывает рыбу.  
Как\* головню из красного костра...  
И, как король в пурпурном облаченье,  
При сиее топки красен кочегар.

Или:

Набегают волны  
Синие...  
— Зеленые!  
— Нет, синие!  
Как хамелеонов  
Миллионы,  
Цвет меняя  
На ветру.

Или:

... Как зеленоватая медузина спина,  
В море отражается луна,  
Трепет волны приводит в трепет  
Луну.  
То разорвет, то снова слепит  
В одну.

Да нет, разве можно перечислить все россыпи этого таланта?

Возле речной волны  
Травы росой пьяны,  
У колокольчиков  
Капли на кончиках  
Поскорей наполним нашу,  
Все равно какую чашу,  
Чашу кратера вулкана  
Или чашечку цветка.

Опять не удержался! Прошу прощения.

А музыка?.. Нет, я тем более не композитор и не музыкант. Но и как простого, неискушенного слушателя, меня не может не волновать и не поражать ритмическое и эмоциональное богатство и разнообразие песен Новеллы Матвеевой.

То это подлинный вихрь, буря, почти кристаллизованная энергия звуков:

Какой большой ветер  
Напал на наш остров,  
С домишек сдул крыши.  
Как с молока пену, —

то нежность и задумчивость «Реченьки», которая «кружится, кружится, то пропадает в лесу, то обнаружится». То это легкий бег веселого кораблика по волнам, то вольные и игривые напевы цыганского табора, то мечтательная задумчивость песни про «котел кипящий, огонь шумящий», то библейские мотивы «Агасфера», философски мудрой легенды о вечном страннике, ищущем смерти, но приговоренном к бессмертию, а то вдруг новый взрыв энергии и наступательной силы братьев-капитанов:

Мы капитаны, братья-капитаны!  
Мы в океан дорогу протоптали,  
Мы дерзким килем море пропороли  
И пропололи  
От подводных трав.

И меня только удивляет, что мы не слышим Новеллу Матвееву по радио, не видим ее на экранах телевизоров. Нет и пластинок с записью ее песен. Их исполняют некоторые артистки эстрады, одни лучше, другие хуже, даже в своей «музыкальной обработке», но ни одна из них, естественно, не может передать их подлинного духа, всех особенностей собственного исполнения Новеллы Матвеевой.

Да и печатают ее маловато, далеко не все, что она написала.

У древних греков было слово, означающее неразложимое единство красоты и добра. «Калокагатия». В искусстве они видели источник, в котором человек, приобщаясь к

прекрасному, освобождается от всего наносного, низменного, извращенного. По Аристотелю, даже трагедия есть средство нравственного очищения зрителя и улучшения человека.

Вот такова же, как мне представляется, и песенная поэзия Новеллы Матвеевой — богатая и чистая, высокая и глубоко нравственная. Подлинная поэзия. Калокагатия.

Григорий МЕДЫНСКИЙ

ПЕСНИ

Новеллы Матвеевой

ФОКУСНИК

Ах ты, фокусник, фокусник, чудаки!  
Ты чудесен, но хватит с нас чудес!  
Перестань!  
Мы поверили и так  
В поросенка, сошедшего с небес.  
Да и вниз головой на потолке  
Не сиди: не расходуй время зря!  
Мы ведь верим, что у тебя в руке  
В трубку свернуты страны и моря.  
Не играй с носорогом в домино  
И не ешь растолченное стекло.  
Но втолкуй нам, что черное черно.  
Растолкуй нам, что белое бело.  
А ночь над цирком  
Такая, что ни зги;  
Точно двести  
Взятых вместе  
Ночей,  
А в глазах от усталости круги  
Покрупнее жонглерских обручей...  
Ах ты, фокусник, фокусник, чудаки!  
Поджигатель бенгальского огня!  
Сделай чудное чудо;  
Сделай так,  
Сделай так, чтобы поняли меня!

ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА ЗМЕЙ

И опять она сидит  
Посреди  
Караванного большого  
Пути,  
А вокруг нее — следы,  
следы,  
следы,  
следы.  
Кто пройдет обутый, кто — босой,  
Кто проедет на верблюде  
Седом,

Кто на лошади с багряным  
Седлом...  
Чьи-то туфли проплывут, как цветы,  
Как цветы, расшитые росой...  
А в корзинах перед нею —  
С медной прозеленью змеи.  
Как расплавленный металл.  
Как густой ручей...  
Здравствуй, заклинательница змей!  
Заклинательница змей.  
Отчего  
Мне не нравится твое  
Колдовство!  
Ты как будто что-то лепишь  
из змеиных тел.  
Что ж ты слепишь! —  
Я бы знать хотел.  
Вот усатая привстала  
Змея;  
Ты слепи мне из нее  
Соловья!  
Ах, не можешь!  
Так зачем  
Надо заклинать  
То, что можно только  
Проклинать!!  
Заклинательница знает.  
Что напрасно заклинает.  
Ну, а что же делать ей,  
Что же делать ей,  
Бздной заклинательнице змей!!

#### ЦЫГАНКА-МОЛДАВАНКА

Развеселые цыгане  
По Молдавии гуляли  
И в одном селе богатом  
Ворона коня украли,  
А еще они украли  
Молодую молдаванку;  
Посадили на полянку.  
Воспитали, как цыганку.

Навсегда она пропала  
Под тенью  
Загара...  
У нее в руках гитара,  
Гитара,  
Гитара...

Позабыла все, что было,  
И не видит в том потери...

Ах, вернись, вернись, вернись!  
Ну, оглянись по крайней мере!..  
Мыла в речке босы ноги,  
В пыльный бубен била звонко  
И однажды  
Из берлоги  
Утащила медвежонка;

Посадила на поляну.  
Воспитала, как цыгана,  
Научила бить баклуши,  
Красть игрушки из кармана.  
С той поры про маму-папу  
Забыл медвежонок.  
Прижимает и сердцу лапу  
И просит  
Деньжонок...  
Держит шляпу вниз тульёю..  
...Так живут — одной семьёю,—  
Как хорошие соседи.  
Люди, кони и медведи...  
По дороге позабыли.  
Кто украл, а кто украден.  
И одна попона пыли  
На коне и конокраде...  
Никому из них не страшен  
Никакой недуг, ни хворость,  
По ночам поют и пляшут,  
Да в костры бросают хворост.  
А беглянка добрым людям,  
Проходим  
Ворожит;  
Все, что было, все, что будет.  
Расскажет,  
Как может...  
Что же с ней, беглянкой, было,  
Что же с ней, цыганкой, будет!  
Все, что было, позабыла,  
Все, что будет, позабудет.

## ПОЖАРНЫЙ

Жил-был пожарный в каске  
ярко-бронзовой.  
Носил, чудак, фиалку на груди...  
Ему хотелось — ночью красно-розовой —  
Кого-нибудь из пламени спасти.

Мечта глухая жгла его и нежила:  
Вот кто-то спичку выронит... И вот...  
Но в том краю как раз пожаров не было:  
Там жил предусмотрительный народ.

Из-за ветвей следить любила в детстве я.  
Как человек шагал на каланче...  
Не то, чтобы ему хотелось бедствия,  
Но он грустил о чем-то... Вообще...

Спала в пыли дороженька широкая,  
Набат на башне каменно молчал...  
А между тем горело очень многое.  
Но этого никто не замечал.

#### ПЕСНЯ ПРО КОТЕЛ

В тиши весенней,  
В тиши вечерней.  
Вблизи от прерий,  
Вдали от гор  
Стояла ферма,  
Стояла ферма,  
А возле фермы  
Пылал костер.  
В котле широком  
Кипело что-то,  
А рядом кто-то  
Сидел, мечтал;  
Котел кипящий,  
Огонь шумящий  
Ему о чем-то  
Напоминал...

Вот ночь настала  
Костра не стало;  
Последний уголь  
Угас,  
Погас...  
А тот, сидящий,  
В огонь смотрящий —  
Он тоже скрылся,  
Скрылся  
Из глаз...

И мы не знаем,  
Ах, мы не знаем,  
Был  
Или не был  
Он на земле;  
Что  
В тихом сердце  
Его  
Творилось  
И что  
Варилось

В его котле.

## СТРАНА ДЕЛЬФИНИЯ

Набегают волны  
Синие...  
— Зеленые!  
— Нет, синие!  
Как хамелеонов  
Миллионы,  
Цвет меняя  
На ветру...  
Ласково цветет  
Глициния;  
Она нежнее  
Инея...  
А где-то есть земля  
Дельфиния  
И город  
Кенгуру.

— Это далеко!  
— Ну что же!  
Я туда уеду  
Тоже...  
Ах ты боже, ты мой боже,  
Что там будет  
Без меня!

Пальмы без меня  
Засохнут,  
Розы без меня  
Заглохнут,  
Птицы без меня  
Замолкнут...  
Вот что будет  
Без меня!  
Да, но без меня —  
В который  
Раз! —  
Отплыло судно «Дикобраз»,  
Как же я подобную  
Беду  
Из памяти  
Сотру!  
А вчера пришло.  
Пришло,  
Пришло  
Ко мне письмо.  
Письмо,  
Письмо  
Со штемпелем моей



Дельфиний,  
Со штампом  
Кенгуру.  
Белые конверты  
С почты  
Рвутся, как магнолий  
Почки,  
Пахнут, как жасмин...  
Но вот что  
Пишет мне моя родня:  
Пальмы без меня  
Не сохнут,  
Розы без меня  
Не глохнут.  
Птицы без меня  
Не молкнут...  
Как же это... без меня!

Набегают волны  
Синие...  
— Зеленые!  
— Нет, синие!  
Набегают слезы  
Горькие;  
Смахну,  
Стряхну,  
Сотру...  
Ласково цветет  
Глициния;  
Она нежнее  
Инея...  
А где-то есть земля  
Дельфиния  
И город  
Кенгуру...

Илья Зверев

#### РОМАНТИКА для взрослых

Как сейчас, я слышу его голос. Он волнуется, иногда быстро говорит, возвращаясь к одному и тому же снова и снова, а то задумывается... Ему надо было это сказать, хотя, конечно же, он не думал, что это последняя его статья. Сказанная, но ненаписанная. Он, писатель Илья Зверев, не знал, что схватится за сердце на следующее утро — и все. И конец.

Спасибо им, людям из Радиомитета, за то, что незадолго до его смерти они приехали к нему домой и предложили сказать в микрофон о том, что волнует его, и поползла магнитофонная лента, наматывая негромкий голос... И очень грустно, что после они положили эту ленту на полку. Они не были «романтиками для взрослых», жаль...

Зверев был мне другом, и я знаю, что в последние годы его действительно волновала, тревожила даже эта тема — о мечтах молодежи, о романтике для взрослых. Об этом он и говорит в заметках, публикуемых сегодня «Юностью». Их нет смысла редактировать,

причесывать, да и нельзя теперь. Все сказано ясно. Это конспект повести, может быть, романа, которые, на беду, написаны уже не будут.

А мысль осталась. Живая, острая, самая что ни на есть насущная. Конец болтовне и бездумным решениям — это романтика для взрослых. И реформа, которую мы проводим сейчас в народном хозяйстве, и новая пятилетка... Мне кажется, что само это выражение, счастливо найденное писателем в жизни, — романтика для взрослых, — оно останется. Оно заслуживает того, чтобы стать крылатым.

### Анатолий АГРАНОВСКИЙ

Думаю, что если бы нашелся филолог, который взялся бы подсчитать, какие именно слова чаще всего употребляются в молодежных очерках, статьях, рассказах, то я уверен, что самым эксплуатируемым, самым употребляемым словом оказалось бы слово «романтика». Просто нельзя шагу ступить без романтики. Так именуются любые трудности, любые поездки куда-нибудь далеко, и недалеко тоже, встречи с прошлым, встречи с будущим, и с настоящим тоже. Всякое непривычное, чрезвычайное есть романтика, но привычное — тоже, только это называется «романтика будней».

Высокое слово пущено в обращение слишком широко, издано неограниченным тиражом, порой без какого бы то ни было золотого обеспечения. И эта, что ли, девальвация дорогого слова, по-моему, пострашней девальвации денежной.

Я об этом в последнее время и писал и думал много. Я сочинил пьесу «Романтика для взрослых», где пытался исследовать обстоятельства, связанные с этим бедствием. А навела меня на тему одна встреча, одно знакомство.

В Нарве я познакомился с одним молодым парнем. И он очень на меня рассердился, когда разговор зашел о всяческой романтике. Я, право, ничего такого казенного не сказал, а он уже разозлился. Он, видите ли, самого этого слова «романтика» слышать не может, его прямо трясет от этого слова. И, вы знаете, парень дал серьезное и, по-моему, вполне достаточное обоснование своей неприязни.

Он сказал, что осточертела вся эта романтика для маленьких, когда главное — чтобы куда-нибудь ехать, чтобы руки примерзали к железу, чтобы были чрезвычайные обстоятельства, буран в лицо и прочее. Он называл все это романтикой из песенок. Этот парень был с биографией, работал в Якутии и на Колыме, и руки у него в самом деле и не раз примерзали к железу, потому что снабженцы не привезли романтикам рукавицы, когда было нужно. И вот, говорил он, надоела романтика зажмурившись, без разбору, независимо от того, откуда пришли трудности.

Нужна романтика для взрослых.

Как раз от него я этот термин услышал и воспользовался им. Нужна романтика с открытыми глазами, когда все видишь, как оно есть, все понимаешь, как оно на самом деле, и тебе трудно и больно, и ты все-таки идешь сознательно, потому что идти действительно необходимо.

Понятие «романтик», так же как и его антипод — «мещанин», обросло таким количеством всяких точных и неточных образов и толкований, что теперь уж каждый волен вкладывать в эти слова любую начинку, удобную и выгодную лично ему. Любят ссылаться на географию: мол, есть места, где романтика, так сказать, прописана навечно. Но, безусловно, и в Братске есть мещане, а где-нибудь в Подольске, под Москвой, полно романтиков. Так что подобное механическое определение не точней и не умней, чем привычка определять мещанина по ширине брюк. Если узкие — мещанин, если широкие — свой в доску парень. Всякого рода такие внешние привязки нелепы, потому что человека от мещанина отличает идейность, осмысленность, умение думать не только о себе-любимом.

Романтика — это не только увлеченность, но и знание смысла того, во имя чего ты живешь.

Я что-то не очень представляю себе порядочного, увлеченного и неглупого человека, который вот так бы взял и заявил: «Я романтик!» Боюсь, что слово это охотнее цепляют к себе мещане и приспособленцы. Вообще я должен сказать, хамелеоны, кузнечики, всякие твари, умеющие менять окраску, могут позавидовать мещанину. Он гений приспособленчества. Поскольку у него нет своих идей, своих убеждений, он охотно принимает любую фразеологию, громче всех произносит любые входящие в моду слова.

Человек, которого мы зовем романтиком, не может не быть увлеченным и не быть убежденным. Он боец, он не может уйти от боя за свои убеждения, за то, что считает стоящим и справедливым. А обывателя устраивает все на свете, он живет спокойно, ему все равно, какие идеи восторжествуют, и он возьмет потом любую терминологию, чтобы нашиговать ее своим смыслом. Очень еще часто всякая пакость прячется за словом «романтика», ей так удобно и выгодно.

Я повторяю: много всякого напластовалось на хорошее слово. Надо вернуться к истокам, к чистому его корню, к самой сути высокого понятия — «романтика». Я видел, как очень хорошие люди, поднятые и, как говорят, окрыленные этой звонкой «романтикой из песенок», сталкивались с прозой жизни и очень быстро теряли свое приподнятое настроение. Причем не от малодушия теряли, а от несовпадения: они подготовлены были совершенно к другому. Беда, когда человек готовится к боевой службе по военным маршам. Или к целине по барабанным целинным песенкам, хорошо всем известным.

Нужна романтика с сознанием ответственности.

Человек приезжает в какие-то дальние края или на месте остается, но ведет бой за правду, вступает в какие-то сложные отношения с невыдуманными людьми, — в любом месте он должен быть личностью, а не винтиком, должен отвечать за дело.

Настоящему романтику, кроме восторженности — и больше восторженности, — нужно знание жизни, знание своих сил, своего места. И вообще очень много всяких земных, конкретных свойств, потому что на розовом облаке мечтаний далеко не уедешь. Надо быть готовым к настоящей, живой жизни, сложной, требовательной, тяжелой иногда. К борьбе за свое место в жизни, за свои убеждения, за свое достоинство.

Нужно быть самостоятельной личностью, быть собой, а это не просто дается.

Самостоятельность может родиться и вырасти только из поступка, из действия, которое осмыслено. Все начинается с мелочей, с самого нежного возраста. Уже пятиклассник знает на своем опыте, на собственной шкуре, что недостаточно пожелать быть героем, чтобы стать героем. Сказать или не сказать правду? Влезть в острый спор или обойти стороной? Послушать, что там тебе советуют, и исполнить без рассуждений или все-таки порассуждать? Это азбучно, и мы все твердим, что надо верить юным, доверять юным, но надо ведь еще, чтобы они действительно хотели самостоятельности, а не только говорили о ней.

Несамостоятельное положение, положение вечно ведомого, несомненно, имеет свою выгоду и прелесть. Ты как за каменной стеной. Кто-то за тебя думает, что-то решает, кто-то отвечает, если что-то не так. А тут надо решать самому, и ни на кого эту тяжесть перевалить нельзя. Потому романтика — это умение стоять на своих ногах и думать своей головой.

Надо бы воспользоваться прекрасным советом Маяковского, который, правда, был Дан по другому поводу. Придется его отчасти перефразировать: «Я б романтику закрыл, слегка почистил, а потом опять открыл, вторично».

Конечно, без романтики мир скиснет, по только звону о ней не надо.

Без кислорода вообще жить нельзя, но мы же не кричим на каждом перекрестке: «Слава кислороду! Да здравствует кислород!» Мы просто дышим. Так давайте дышать...

Андрей Баташев

КВИНТЕТ МАСТЕРОВ

— Деньги-то они получают на шестерых? А работают впятером. Тогда все ясно. А то бригада комтруда... Просто молодые циники, которые нашли способ гнать монету...

Сказавший это человек держал в руках развернутый лист газеты. В его тоне было даже что-то сочувственное: мол, конечно, здесь кроется жульничество, но все мы люди взрослые и понимаем, что такое жизнь... Речь шла о героях газетного очерка. В тот же день я прочитал его. Вот что мне стало известно.

В бригаде Леонида Никонова — завод «Динамо», Москва, — пятеро работают за шестерых. Шестой — почетный член бригады — космонавт Алексей Леонов.

Сам бригадир — уникальный мастер своего дела. Он комплектует полторатонное сердце двигателя (ротор и статор) легко и быстро...

Все в этой бригаде учатся...

Бригада станет заводской школой инженеров...

Честно говоря, гладкий стиль статьи и «розовое» содержание не внушали особого доверия. Я решил сам познакомиться с ребятами из бригады Никонова.

Из редакции заводской многотиражки я позвонил бригадире в цех. Он сказал мне: «Приходите на участок, посмотрите, как мы работаем, тогда и разговор будет».

### «Короли» и капуста

Первый машинный цех. Участок сборки крупногабаритных двигателей переменного тока. Сборка — это семь различных операций. Выполняют их рабочие четырех специальностей: обмотчики, паяльщики, бандажировщики, слесари. Раньше (до образования бригады) было так: обмотчики загружены, а слесарям делать нечего, и наоборот. Сегодня в бригаде Никонова каждый рабочий может выполнять любую операцию. В то же время ребята сохраняют специализацию. Поэтому каждый из них, как сказал начальник цеха, в своем деле — король. Пятеро королей на одном участке.

— Смотри, бригадир, — постукивает пальцем по циферблату часов Гена Зайцев, — как быстро и хорошо я намотал ротор.

Что он чувствует? Азарт молодости. Уверенность в себе. Он знает, что достиг той степени умения, которая называется мастерством.

— Когда работаешь по-настоящему, — рассказывает Зайцев, — то отключаешься от всего. Полная сосредоточенность — это полная тишина: никто из нас не слышит стоящего вокруг грохота. Настоящий мастер должен работать по секундной стрелке.

Наверное, каждый человек хочет стать мастером. Вся наша жизнь — это только овладение мастерством. Это путь от невозможного к возможному.

Невозможно... Невозможно, чтобы на контрабасе играли так же, как на скрипке. Скрипка — это мелодия, а контрабас — это только аккомпанемент. Но вот приходит великий музыкант, и оказывается, что контрабас имеет право на сольную партию. И наступает бережная тишина, сопутствующая высокому творчеству. Люди погружаются в тишину, вслушиваясь в каждую ноту, ибо исполнитель подошел на их глазах к тому, что кажется пределом человеческих возможностей. Мастерство всегда в том, чтобы преступить этот предел... Ребята из бригады Никонова заслужили звание мастеров своим трудолюбием и умной одаренностью. Конечно же, каждый из них — король.

Но раз есть короли, быть может, есть и капуста? В романе ОТенри вместо нее были пальмы и бананы. А в нашем случае?

— Читали в журнале «Наука и жизнь», — спросил меня Зайцев, — что при интенсивной работе организм человека полностью заменяется через семь лет? Так вот при нашей работе он заменяется, наверное, лет за пять. Вкалываем? Еще как! Особенно в конце месяца. Потому что нас, как и на всех сборочных участках, держат заготовители. Устранить штурмовщину можно только согласованной работой всех участков, всех цехов. А сейчас нам часто приходится жертвовать отдыхом и учебой. Во имя чего? Во имя штурма! Чтобы наши обязательства не стали «липой».

Это производственная, так сказать, «капуста». Есть и другая.

— Мы любим свой завод, — говорит Володя Костепко. — Это не громкие слова. Завод — действительно самое главное в нашей жизни. И мы хотим, чтобы у нас был настоящий клуб, свое кафе... Мы хотим, чтобы была научная организация не только труда, но и отдыха. Чтобы выпускать хорошие двигатели, мы стараемся предусмотреть все мелочи, а когда дело касается отдыха людей, их настроения, — все пускается на самотек.

Пятеро из бригады Никонова не прячутся за привычное, годами установленное. Они сами принимают решения и не боятся брать на себя ответственность. Поэтому они учатся, поэтому хотят знать как можно больше, чтобы иметь право самим принимать решения и при этом избежать ошибок.

Ребята неплохо зарабатывают. Кстати, оплата труда на сборке сдельная. И заработок пятерых (на Леонова, естественно, денег не выписывается) — это их гордость, свидетельство мастерства и трудолюбия. Надо ли стыдиться собственных достоинств?

Абсурдно упрекать их в цинизме, который, в сущности, есть один из способов ухода от ответственности (я все не мог забыть человека с газетой)!

Когда труд интересен

Карл Маркс писал, что «...природа крупной промышленности обуславливает перемену труда, движение функций, всестороннюю подвижность рабочего...»

Чтобы рабочий мог выполнять эти различные функции, он должен обладать гибкостью мышления, умением быстро перестраиваться, разносторонней одаренностью. Выучиться делать что-то одно (даже хорошо) в течение многих лет, пожалуй, не так уж сложно. «Вон и медведи в цирке у Филатова на велосипедах катаются», — говорит Никонов.

В этой связи мне хочется привести еще такие слова Маркса: «...непрерывное однообразие работы ослабляет напряженное внимание и подъем жизненной энергии, так как лишает рабочего того отдыха и возбуждения, которые создаются самым фактом перемены деятельности».

Я видел, как во время короткой передышки к верстаку, на котором лежал задний щит машины, подошел Сергей Валитов. Щит весит килограммов семьдесят. Секунда, другая — и щит застыл над его головой. А рядом уже ждет Володя Костенко. Такая у них разминка.

Люди, для которых труд только малопрятная необходимость, «подавленные» привычными, надоевшими движениями, не станут так вот, «зря», тратить свою жизненную энергию.

В чем же дело? Ведь сборка — очень тяжелая физическая работа. Казалось бы, здесь не место для сверхнормативных тяжелоатлетических упражнений... Дело в том, что для этих ребят труд интересен, и они сохраняют в себе возбуждение и подъем, которые даются не только «переменной деятельности», но и творческим, заинтересованным отношением к работе.

Нетрудно сделать и такой узкопрактический вывод: в комплексной бригаде сводятся к минимуму простои, достигается большая маневренность, бригадир сразу может бросить значительные силы на «узкое» место.

Вот показатели выполнения технико-экономического плана бригадой Никонова за март 1966 года (по четырем основным показателям):

1. Задание по номенклатуре — 100 процентов.
2. Товарный выпуск в нормативной зарплате — 102,2 процента.
3. План по производительности труда — 122,6 процента.
4. Расходование фонда заработной платы — сэкономлено около 80 рублей.

Очень важно здесь выполнение первого показателя: по номенклатуре. План по номенклатуре учитывает спрос. А спрос — это сбыт и прибыль.

Еще одно преимущество комплексной бригады, о котором мне рассказал старший экономист цеха:

— Допустим, машина выпущена с дефектом. Необходим ремонт. Раньше надо было доискиваться, кто и в чем виноват. А теперь не надо. За все в ответе бригада. Все пятеро заинтересованы в высоком качестве. А рекламации? За последние годы их не было ни одной.

Очевидно, в самое ближайшее время по предложению бригады будет введен пятый экономический показатель — соблюдение норм расходования сырья и материалов в каждой бригаде. Тогда будет внедрен почти полный бригадный хозрасчет.

### Формула радуги

Есть такая восточная пословица: «Семь цветов радуги — это еще не радуга». — Группа рабочих, овладевших смежными специальностями, — это еще не бригада, — говорит Леонид Никонов. — Например, есть на заводе слесарь, мастер исключительный. Я его за эталон считал. Под его началом и организовалась бригада. Вдруг в один прекрасный день приходит он ко мне и просит: возьми к себе.

Что же произошло? Они так стали друг за другом следить (я, мол, за тебя вкальваю, а ты там где-то треплешься), так стали подсчитывать, кто что делает, что на эти подсчеты у них времени уходило больше, чем на работу. А потом, люди подобрались разные и по возрасту и по мастерству. Один пятнадцать лет работает, а другой — полтора года, одному пятьдесят лет, а другому — восемнадцать. Совсем небезразлично, с кем ты работаешь рядом, небезразлично, как относятся к тебе люди и как ты сам относишься к ним...

— Когда хоккеист на бешеной скорости врывается в зону противника и неожиданно оставляет шайбу партнеру, которого он не видит, что это: интуиция, шестое чувство? Мне кажется, это — особое чувство локтя, и рождается оно, если веришь другим, как себе. — Так говорил мне Леонид Никонов и продолжал: — Когда бывает трудно, когда приходится «штурмовать», мы сами смотрим, кому прийти попозже, кого отпустить пораньше. Устал человек — это сразу видно по работе. Надо вовремя дать ему отдохнуть. А наши ребята всегда свое отплатят с лихвой. Помню, в январе Гена заболел, красный весь, глаза блестят, температура высокая. Мы говорим: иди домой. А он не может, просто не может уйти. Он знал, что без него мы в срок не управимся. «Парни, — говорит, — сколько меня хватит, я помогу...» И работал до конца вместе со всеми.

Никонов ни разу не произнес слово «доверие». Но дело именно в доверии. На каждого члена бригады можно положиться, как на самого себя.

...Мне кажется, что сложное формирование семи цветов в радугу можно все-таки — хотя и трудно это — выразить цепочкой строгих формул.

Кто же эти ребята?

Леонид Никонов — 28 лет, работает на «Динамо» с 1955 года. В этом году оканчивает среднюю школу. Здесь, на «Динамо», работал его отец, а сейчас трудятся два старших брата. Леонид — один из лучших заводских спортсменов. У него первый разряд по борьбе самбо (выступает в тяжелом весе, его вес — 93 килограмма), играет за сборную завода по футболу, занимается боксом.

Владимир Костенко — 25 лет. Стаж — 11 лет. Окончил заводскую школу рабочей молодежи, а сейчас учится на первом курсе Всесоюзного заочного политехнического института.

Саяр Валитов — 24 года. Стаж — 7 лет. Учится на втором курсе в том же институте. Играет полузащитником в цеховой футбольной команде.

Геннадий Зайцев — 25 лет. Стаж — 8 лет. Из них 6 — на сборке. Увлекается радиотехникой. В этом году поступает в Московский авиационный институт.

Недавно ушел из бригады 26-летний Вячеслав Зотов — студент четвертого курса Станкоинструментального института. Теперь он работает в ОТК завода технологом. Его место занял 18-летний Толя Антипов. Он тоже будет поступать в институт, потому что это закон бригады. «Учение — мать умения», — говорят на «Динамо».

Алексей Леонов — летчик-космонавт СССР, 32 года, слушатель Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского, увлекается волейболом, велосипедом, охотой.

Факт, а не реклама

Здесь, на участке, висит портрет космонавта, хранится его рабочая спецовка. Если запуск каждой ракеты рассматривать как итог всенародного труда, то в нем есть и доля, вложенная ребятами из первого машинного... Когда космонавт приходит в бригаду Никонова и работает, как работают остальные, смеется и вытирает пот со лба, в эти часы остро ощутима их общность — рабочих и космонавта, общность людей труда.

Эти ребята не чувствуют себя изолированными от страны границами своего участка, стенами своего завода. Дело ведь не в том, что Леонов — знаменитость, герой — снизошел к «простым людям». Нет. Они не смотрят на него снизу вверх. Они молчаливо и искренне полагают, что сами вполне соизмеримы с ним и своей сущностью и значением своего труда.

...Леонид рассказывает мне, как Алексей Леонов стал членом бригады:

— После полета Леонова с Беляевым мы написали им письмо и попросили фотографа из нашего «Кировца» Ивана Музляева передать его космонавтам. Иван как раз должен был идти на пресс-конференцию, посвященную полету. Леонов прочитал письмо и сразу согласился. И 11 апреля приехал к нам на завод вместе с Беляевым. У нас в тот день было совещание ударников коммунистического труда. Понятно, что оно превратилось в чествование космонавтов.

Леонов к нам приезжал еще раз, прямо из академии. «Вот, — говорит, — все хвосты сдал, теперь одно удовольствие нагрузиться физически». А работать он умеет: ведь космонавтам потеть не меньше нашего приходится.

Многоцветная жизнь

Точность, организованность, рациональность — этому подчинено все, что делают рабочие из бригады Никонова. Ребята с их умной насмешливостью обходятся и в быту и в работе «без архитектурных излишеств»: они не тратят лишних слов на споры, они точны и доказательны. И слова, и одежда, и поступки их всегда оправданы: «Форма должна определяться функцией»...

Дело, конечно, не в личной исключительности Зайцева, Никонова, Валитова, Костенко и Антипова. Ведь не по прихоти же только пяти человек да еще кого-нибудь из «руководящих товарищей» была создана бригада. Она была рождена социальным и техническим прогрессом, значительным повышением общественного сознания и интеллектуального уровня современного рабочего, всем развитием нашей жизни, новыми экономическими задачами, сформулированными в решениях сентябрьского Пленума ЦК КПСС.

Жизнь для этих ребят не стала черно-белой лентой «производственного фильма». Она пронизана всеми цветами и оттенками: настоящая жизнь не может быть бесцветной. То, о чем говорится и думается вскользь — рыбалка, бокс, любимая девушка, снежная пыль или тополиный пух и цветок светофора на углу, — все это сливается, соединяется, и каждое такое соединение богаче составляющих. Так создается мозаика полнокровной жизни.

Вот могучий Леонид Никонов, который на пари пронесит на плечах всю свою бригаду.

Он говорит о боксе как боксер и как поэт: «Знаешь, что такое третий раунд и бесконечные серии в ближнем бою, когда нет ни сердца, ни легких и нужна победа, во что бы то ни стало победа?..» Он говорит так, что передо мной сами собой возникают бойцы в черных перчатках, возрождающиеся в белом квадрате ринга.

Гена Зайцев, который с капельками пота на лице «берет на нюх» двигателя после испытания. Его обоняние — самый точный прибор, когда надо определить, горит или не

горит что-то в моторе. Рабочий-ювелир, чье мастерство поражает даже бригадира, Гена читает мне Лорку:

Красный ветер пронесся  
по пылающему пригорку  
и стал зеленым-зеленым...

Я слышу неторопливый голос Володи Костенко, отец которого, преподаватель истории, погиб на войне. Володя живет в центре Москвы, на Кузнецком мосту. Он из породы тех москвичей, которые так любят старомосковские улицы и переулки, что даже не представляют, как можно жить где-то в другом месте.

Улыбается гибкий, черноволосый Саяр Валитов, «слишком красивый и чересчур смысленный», по мнению бригадира.

Молча работает внимательно настороженный Толя Антипов. Ребята говорят, что Толин отец пьет, что его матери (она работает в совхозе дояркой) приходится тяжело, и надо всей бригадой съездить, поговорить с отцом и помочь парню. «Толя доказал, что может работать не хуже нас, — рассказывают старички. — Пока, конечно, не всю смену. Но через месяц-другой он войдет в ритм бригады».

— От вас ушел Зотов. Окончат институты и уйдут другие студенты — Костенко, Валитов... Значит, бригада развалится? — спрашиваю я бригадира.

— Почему же? Вот мы взяли молодого парнишку. Научим его. Что он, из другого теста? Еще кто уйдет — еще возьмем и научим... Я тоже думаю поступить в институт, стать инженером. И тоже когда-нибудь уйду из бригады. А бригада останется, и традиции останутся. А традиции у нас хорошие. Основное правило: никто не должен командовать. Первым почувствовал его на себе я.

Однажды как-то по работе накричал на Гену. На следующий день прихожу на работу — все молчат. Работают — и ни слова. День, два. И чувствуется, что каждый держит что-то про себя. Я собрал бригаду: «В чем дело, парни?»

И они мне сказали: «Мы люди взрослые, самостоятельные, и тебя выбрали бригадиром не для того, чтобы ты кричал на нас».

Вот и все. Больше этого не было.

#### Бокс и научная организация труда

«Именно организация труда... является самым главным, коренным и злободневным вопросом всей общественной жизни».

В. И. ЛЕНИН

Пятеро работают в едином ритме. Это квинтет мастеров. Для четкой, бесперебойной работы необходима полная синхронизация действий. Необходима продуманность и четкость каждой операции, каждого движения.

— Видели на ринге Валерия Попенченко? — спрашивает Леонид. — Мастерство Попенченко действительно вызывает восхищение. Он не станет размахивать руками до земли. Только четкие, экономные движения с минимальной затратой энергии. Иначе сил не хватит. Так же должно быть и в работе — четко, быстро, точно. Случается, правда, что этот ритм так захватывает, что и дома начинаешь говорить скороговоркой. Жена останавливает: «Да куда ты торопишься, говори помедленнее». А я уже привык все делать быстро...

Самая трудная операция на сборке — это комплектация ротора и статора. Она требует поистине «гроссмейстерского» мастерства. Ротор весит более полутонны. И чтобы исправить малейшую неточность, требуется огромная затрата физической энергии. А теперь сборка на участке Никонова идет «без рук».



Что это значит? Работает подъемный кран. Вроде бы просто. Но слесарь должен с ювелирной точностью руководить действиями крановщицы, а она так же точно выполняет малейшие его указания. В этом высочайшее мастерство. Людям, которые видели, как это делалось раньше, все это кажется чудом.

Первыми начали так работать Леонид Никонов и Вячеслав Зотов.

Сегодня члены бригады стараются предусмотреть все «мелочи» в организации работы. Они решили так перепланировать свой участок, чтобы не делать зря ни одного движения... Так была изменена высота каждого верстака в зависимости от роста того, кто на нем работает. А на сборке решили установить рольганги. Тогда станут не нужны мостовые краны, которые сейчас перетаскивают тяжелые детали с одного верстака на другой. Это сэкономит время, облегчит труд сборщиков.

Детально продуманная перепланировка участка даст возможность перевести сборку двигателей на поток. Это означает (по подсчетам заводских экономистов) рост производительности труда на 10 процентов.

А усовершенствование старого и изготовление нового оборудования и различных приспособлений (они конкретно учтены и названы в плане бригады) дадут рост производительности труда еще на 8 процентов.

В самом ближайшем будущем участок сборки изменит и свой внешний вид. Вместе с заводскими художниками члены бригады разработали интерьер участка: в какие цвета покрасить стены, колонны, верстаки, оборудование. Зажгутся люминесцентные лампы. Проезжая часть будет выстлана керамическими плитами, а остальные части — деревянными шашками.

Из научных исследований известно, что такие мероприятия не только повышают общую освещенность рабочего помещения, не только снижают утомляемость, но также улучшают общее самочувствие и, что очень важно, настроение.

Комментируя американского социолога

В брошюре профессора А. А. Зворыкина «Философия и научно-технический прогресс» приведены сформулированные американским социологом М. Сименом пять основных причин, вызывающих неудовлетворенность своим трудом.

Вот эти пять причин с комментариями ребят из бригады Никонова:

1. «Бессилие рабочего повлиять на условия, организацию и технику производства».

— Мы-то не бессильны, — говорит бригадир. — Если считаем нужным что-то изменить, то просто идем к директору и требуем. Сейчас стали больше считаться с рабочим и советоваться с ним. И дело не в том, что рабочие получили какие-то новые права, а в том, что сами стали активнее пользоваться ими на деле.

От себя добавлю: за время существования бригады (с сентября 1963 года) ее члены внесли свыше сорока рационализаторских предложений, существенно повлиявших на условия и технику производства.

2. «Бесмысленность личных действий рабочего, поскольку он не связан с общим процессом труда».

Вот что говорит по этому поводу Владимир Костенко:

— Бригада может работать намного лучше и выдавать значительно больше продукции. Но ведь машину изготавливает весь завод! Сборка — это только один участок. Предположим, что мы хорошие, а наши соседи хуже. Значит, и мы не такие уж молодцы. Потому что не можем улучшить качество своей работы в отрыве от всего заводского коллектива. Потому что у нас не единоличное хозяйство, а заводской участок. Мы никогда не можем почувствовать себя в отрыве от дел всего завода, и состояние их нам не может быть безразлично.

3. «Разрыв между желаниями рабочего и поведением, предписываемым ему порядком, установленным на предприятии».

— Наше желание — работать лучше, — говорит Геннадий Зайцев. — И зарабатывать, естественно, больше. А порядок, установленный на предприятии, создается и меняется при нашем же участии. Поэтому о дисциплине нам говорить не приходится: она приходит к нам изнутри, а не насаждается извне.

4. «Изоляция человека в коллективе — противоположность интересов человека и коллектива».

В комплексной бригаде Леонида Никонова, где необыкновенно сильны взаимосвязь и взаимозависимость, где основным принципом стало: «Один за всех и все за одного», — о такой изоляции не может быть и речи.

— ...Мы и свободное время стараемся проводить вместе, — говорит бригадир. — У меня небольшой участок за городом, восемь соток. Летом ребята часто приезжают ко мне. Правда, уговорить их собрать яблоки намного легче, чем заманить окопать деревья...

— ...Все мы — заядлые любители лыж и туризма — почти каждое воскресенье отправляемся за город. Вместе — в кино, в театр... Но не потому, что этого требует какой-то «бригадный» устав. Просто мы сдружились за много лет, и друг без друга нам скучно. — Это говорит Саяр Валитов.

— ...У нас в бригаде не может быть такого: бригадир решил, а потом преподнес нам готовое решение. Мы все решаем впятером, — добавляет Геннадий Зайцев.

5. «Самоотчуждение, когда работа, выполняемая рабочим, является лишь средством его существования, а не целью и смыслом его жизни».

— Сегодня наша цель — научиться собирать моторы без кувалды, — говорит Леонид Никонов. — Чтобы те, кто придет работать после нас, не мучились со сборкой так, как порой еще приходится нам. Но ведь мы живые люди. Мы меняемся сами, а значит, меняются и наши цели. Это закономерно...

Мы учимся работать лучше, чтобы эти «далекие цели» могли стать осуществимыми. Вот Гена Зайцев поступает в МАИ. Может быть, его целью станет участие в создании межпланетного корабля. Кто знает! А сегодня наша цель — сделать так, чтобы слово «сборщик» не значило «человек с кувалдой»...

А кроме всего прочего, есть еще и рабочая гордость. Мы же высококвалифицированные рабочие...

— Видишь на верстаках целый ряд моторов, чувствуешь, какие они тяжелые, мощные, отлично сделанные... Приятно же! — добавляет Костенко.

\*

В социалистическом обязательстве, принятом бригадой Леонида Никонова после сентябрьского Пленума ЦК КПСС, говорилось: бригада обязуется выполнить план первого квартала 1966 года по выпуску продукции в заданной номенклатуре к 29 марта — дню открытия XXIII съезда КПСС.

Это обязательство было выполнено. Сейчас взято новое. Ни у кого на заводе «Динамо» нет сомнений: ребята из бригады коммуниста Никонова сделают все, что наметили.

Лев Тимофеев

## ТАТЬЯНИНЫ ЯБЛОКИ

В мае шестьдесят второго года я отпросился у редактора и на два месяца уехал в Ендовы, обязавшись снабжать газету материалом из далеких от райцентра колхозов. По приезде в село я остановился жить у Кири Подзорова — учетчика бригады механизаторов и моего постоянного товарища по рыбалке и охоте. А Кирины соседи, двор ко двору, — Шишкаревы.

До той поры я был мало знаком с ними, но наслышался достаточно. Дело в том, что на наших бедных песчаных землях Шишкаревы единственные во всей округе содержали большой плодовый сад. Сам-то старик Яков Андреевич в здешних местах был первым и долгое время единственным селекционером. Лет поболее пятнадцати назад он вывел для нашей полосы выдающийся сорт яблок.

Когда-то на этом сорте и в ендовском колхозе садовое дело начиналось. Киря утверждает, что заглохло оно только из-за истории с пчелами. Будто бы в какой-то год начальство, опасаясь полевых и садовых вредителей, повелело опрыскать деревья жестоким химикатом. Сделали это без ведома Шишкарева и в самую белую пору цветения. Ну и, конечно, всех пчел перетравили. Те немногие, что живы остались, потом уже не в сад, а в свободные луга за взятком полетели. Как раз тем летом шишкаревский сорт обещал прийти с плодами. А тут какие плоды, раз опыления не было, — еле кошелку наберешь. Осенью к Якову Андреевичу и подступились: обманщик, говорят, авантюрист. Едва он отговорился... А на следующий год не то поздний заморозок, не то ранний солнцепек, да и сорт еще в силу не вошел. Саду работники нужны, а начальство к нему интерес совсем потеряло.

Именно так это было или как-нибудь иначе, но только на том месте, где сад располагался, давно уже пашня, — у кого-то из новых председателей (а их тут не дай бог сколько переменялось!) неотложная нужда появилась на эти пять гектаров земли.

Сам Яков Андреевич много лет уже и вплоть до своей болезни работал на ферме скотником. Но у себя на приусадьбе содержал сад в образцовом порядке и работы по выведению, а потом и по улучшению своего сорта не бросал.

Благодаря саду в деньгах Шишкаревы не нуждались, но один Яков Андреевич все успеть не мог — жена у него еще в военные годы умерла, и поэтому обеих дочерей с малых лет он приучил к садовой работе. А когда подошло время, и образование соответствующее дал.

Но образованием они хоть и близки друг другу были, а судьбы у них совсем различные получились.

Татьяна лет десять назад окончила сельхозтехникум, вернулась в колхоз и охотно начала было работать агрономом. Но по причине ее мягкого характера и неразборчивой доброты толку из этой работы получилось мало: то ей велят пахать поглубже — она соглашается, то вовсе не пахать — она опять соглашается. То лугами велят заниматься, то оставить луга и сеять кукурузу, то снова луга подавай — она все слушается да слушается, а своего слова не имеет. В конце концов до того с понятия сбили, что в ее работе и вовсе никакого проку не оказалось. Тогда ей дали выговор и перевели на должность делопроизводителя в правлении. Впрочем, на то было ее радостное согласие.

Иное дело — Александра. Эта приняла от отца и спокойный характер и самостоятельное понимание в садовом деле. Двадцати трех лет вернувшись из института учителем биологии, она не только селекционную работу на приусадьбе продолжила, но еще и на школьный сад ее распространила. В этом как раз была необходимость, потому что старик Шишкарев к тому времени заболел и слег, а сестрам в четыре руки не справиться было: опыты требовали широкой постановки.

Такова предыстория, насколько она была мне известна, прежде чем я стал соседом Шишкаревых...

Это лето, когда я поселился в Ендовах, погода стояла мерзкая. Дожди как начались в середине мая, так и зачастили, не открывая ни одного солнечного дня. Рассветы были ветреные и сырые: даже в июне по утрам долго топились печи.

По такой погоде траве бы подняться, но в то время объявилась борьба с травопольщиками, и все луга в округе распахали. В областной газете ругали молодого поэта, написавшего:

Закройся, солнце, тучами от взоров

И в одиночестве костер дожди,  
Я этим летом полюбил дожди  
За их художнический норюв.

И брежу вольной их судьбой.  
Когда они возводят травы...

В деревне люди ходили суровые, недовольные и собой и погодой, — уже в июне животноводы предугадывали зимнюю бескормицу.

В один из таких дней я решил обязательно написать очерк о людях, кому ни плохая погода, ни модные установки не мешают продвигать вперед свое дело. Благо за такими людьми далеко не ходить — они у меня на соседнем дворе живут.

С утра я побывал в правлении, потом зашел на почту и передал по телефону очередную корреспонденцию. Захватив свежие газеты, я побрел домой, вспоминая по дороге все, что мне было известно о Шишкаревых. Получалось, что знаю я мало.

Возле самого дома я вымыл в луже сапоги и едва поднялся на крыльцо и освободился от тяжелого негнущегося плаща, как тут же на соседнем дворе увидал Шуру. Она стояла вполборота ко мне — босая, в коротком открытом девичьем сарафане и, свободно подняв руки к голове, забирала потуже волосы.

— Доброе утро, — сказал я.

Она быстро опустила руки, засмеялась и ушла в избу, оставив на земле ковш и мыло. Скоро она опять появилась в дверях, уже накинув на плечи полотенце, и в старых ботинках на босу ногу.

— Кому утро, а мы так с работы, — сказала она. Я объяснил, что хотел бы зайти к ним по делу.

Она подумала и согласилась, но чтобы не теперь, а, пожалуй, чуть попозже.

Я пришел к вечеру — уже и Таня с работы вернулась. Она-то и провела меня в Шурину половину. Стул для меня поставили посреди избы. При таком внимании начинать надо было сразу по делу, и я сказал, что хочу-де написать очерк об их достижениях в выведении новых сортов и т. д. Шура заулыбалась и посмотрела на Таню. Я тоже обернулся, но Тани уже не было — ушла и тут же за стеной громко сказала: «Картошку варить буду».

— Так как же, Шурочка? — Я подвинул свой стул к ней поближе.

— Нету у нас никаких достижений, — тихо сказала она.

— Что же так? На шишкаревском сорте колхоз «40 лет Октября» в миллионеры вышел, а вы говорите — нету.

— Для них радость, а для нас этот сорт не годится.

— Почему это?

Она пожала плечами.

— Осенним он оказался, нележким. «40 лет Октября» на шоссе и к городу поближе. А у нас этот сорт гниет, пока на рынок вывезем.

Она потянулась к столу, открыла ящик и достала оттуда крупное яблоко и медицинский скальпель, отрезала от яблока небольшой кусочек и подала мне.

— Вот попробуйте — потомок мичуринского ренета бергамотного. Лежит с прошлой осени.

Яблоко было крепкое, сладкое, чуть с кислинкой.

— Нам такое же нужно, — сказала она, — но только, чтобы на нашей худой почве урожайным было.

Разговаривая со мной, она стала внимательно вырезать из яблока маленькие кусочки и складывать их на столе.

— Но вы-то над такими работаете. — Я был почти уверен, что раз она заговорила об этом, — значит, работает.

— Работаем, — сказала она и, не отрываясь от яблока, кивнула в сторону тетрадей, лежавших на столе. — Папа заболел, теперь вот с учениками работаем. Только все неудачно.

Вдруг она подняла на меня глаза и словно бы осердилась:

— Мы с Таней на приусадьбе корчевать устали, вот что. Хорошие деревца выкидываем, чтобы только место освободить. Я к Лариной, к председательше, ходила, просила еще хоть соток десять земли — все равно пустует, — так куда там, она и слушать не захотела. У нее все кукуруза на уме.

— Ну хорошо, а в школе?

Она опять склонилась над яблоком и стала вырезать из него мелкие дольки.

— В школе, правда, у нас стволов пятнадцать привитых. Но десять из них ни в этом году, ни на будущий результата не объявят. А про другие четыре уже и теперь можно сказать — ничего не вышло. Отец-то наш в теории не силен, вслепую мы с ним работали: на пяти стволах в пяти разных направлениях. Так что в сегодняшнее лето на одно только деревце вся надежда. — Она посмотрела на меня и улыбнулась. — Ну, да это сентябрь покажет. А вы уж теперь не пишите. Ничего нам не надо, пусть бы только никто не мешал.

— А что, мешают?

— Да нет... Ну их к лешему, — сказала она и начала приводить в порядок стопку тетрадей на столе...

И все-таки очерк я написал. Правда, не о достижениях, а скорее о трудностях и нуждах. Написал и, ни слова не говоря Шуре, сам повез его в редакцию. Пусть, думаю, ей неожиданная радость будет.

Редактор прочитал и велел погулять: ему кое с кем посоветоваться надо. Сходил я позавтракать, и, едва возвращаясь, мне говорят: иди — вызывают на второй этаж. А на втором этаже у нас все районное начальство. Кто вызывает-то? Да как же, смеются, приятель твой. Ну, раз приятель, значит, Филимонов. Мы с ним со студенческих лет знакомы.

Поднимаюсь на второй этаж, захожу в кабинет. Филимонов за столом в рабочем кресле. Он человек молодой, телом широк, крепок, только вот чуть лысоват. Очки на нем в толстой черной оправе — он за ними в Москву ездил. Руки на столе лежат, и между двух кулаков вижу — мой очерк. Сел я на стул у самого нижнего края буквы «Т», что столами образована. Подождал. Филимонов правой рукой очки снял, а левой — двумя пальцами — прищепил себе переносицу. Потом близоруко посмотрел на меня, заулыбался, покачал головой.

— Ну ты даешь, старик, — сказал он наконец своим низким, мягким голосом.

Я молчал.

— Как это она у тебя говорит: «Мичурин для нас ничего не сделал»?

— Для наших мест яблок не вывел, — поправил я. Он перестал улыбаться и заговорил серьезно, но добро и проникновенно, вроде по-дружески обиделся на меня:

— Слушай, как это ты, опытный журналист, не можешь кулака от настоящего энтузиаста отличить? Ну что это значит: школьники у нее дома на приусадьбе работают? А она их на базар торговать не посылает? И ты еще ходатайствуешь, чтобы ей земли прибавили!

Я молчал. Он вдруг засмеялся и закрыл глаза ладонью. Смех у него тоже приятный — чуть с хрипотцой.

— А может, у тебя с ней... А? — сказал он, не открывая глаз. Потом быстро опустил ладонь, надел очки и строго посмотрел на меня. — Ты понимаешь, что это преступление — писать о собственниках, занимающихся самостоятельной селекцией, когда в народе стихийное бедствие?!

— Это ты о распаханных лугах? — не выдержал я. Но он вроде бы не обратил внимания. Только говорить стал отрывисто, приказно.

— Вот что, поезжай в свои Ендовы и переделывай очерк на фельетон. Я Лариной только что звонил — оказывается, у нее тоже сигналы имеются. — Тут он немного смягчился. — Ты пойми меня правильно: может, из этих яблок со временем что и получится,

но помнишь, как говорили у нас в институте: «Каждому овощу свой фрукт». Сейчас политически правильно осудить людей, которые от колхоза отвернулись. Да напиши похлестче — перепечатку в областной газете обещаю, хорошо прогремишь.

Я подошел к нему и протянул руку за своим очерком.

— Э, нет, — сказал он, — пусть этот документ у меня останется. Прочту в газете фельетон — тогда верну...

В Ендовы я приехал уже в сумерках и, поднимаясь на крыльцо, услышал Танин голос — она, как видно, только вернулась с работы.

— Шура! Слышь, что ли, Шур!

— Чего тебе? — неожиданно близко ответила Шура. Сквозь сумерки я едва различил ее — она стояла на стремянке, почти закрытая от меня листвой дерева.

— Тебя на завтра председательша зовет. Вроде журналист в районе пожаловался.

— Не пойду я, — тихо сказала Шура.

— Что?

— Не пойду-у!

— Да ты уж пойди, ну их. Авось, объяснишься. Я нарочно громко протопал по ступеням и, не снимая плаща, прошел в избу...

На следующее утро, когда я пришел в правление, Шура уже сидела у Лариной в кабинете. Председательша — невысокая строгая женщина — подписывала бумаги. Шура ждала. Я поздоровался и, не получив ответа ни от одной, ни от другой, уселся на мягкий диван. Чувствовал я себя отвратительно. Не стану же я теперь объяснять Шуре, что я-де не виноват, что я хотел как лучше. Ведь она же просила ничего не писать.

Выручила меня Ларина. Поставив подписи всюду, где и требовалось, она поднялась, обдернула на себе пиджак всегдашнего темно-синего костюма и, выйдя из-за стола, неприязненно сказала:

— Хорошо, что оба здесь. Одна, как говорится, бог знает что творит, другой ее хвалит. Я, Шишкарева, скажу тебе коротко: ты эти свои дела прекращай. И так уж про тебя нехороший разговор идет.

— Какой же это такой разговор?

— Сама знаешь. Развели, понимаете, частную лавочку. Если тебе так уж хочется селекцией заниматься, — пожалуйста. Нам требуется кукуруза, чтоб по сто пятьдесят центнеров зеленой массы. Вот и работай в этом направлении, — оно наверху одобрено и на текущий момент главное. Пришкольный участок у вас имеется. Интенсифицируй.

— Кукуруза на наших песках не пойдет, — сказала Шура и стала смотреть на политическую карту мира, которая висела на стене.

— А ты добивайся.

— Да и вообще-то я садовод, — сказала Шура.

— Ишь ты, садовод, — сказала Ларина. — Ко мне пришла — декольте надеть не постыдилась. — Шура была все в том же сарафане. — Труды товарища Мичурина охаивать мастер — вот ты кто.

— Это кто же Мичурина охаивал? — удивилась Шура.

— А кто школьников у себя на приусадьбе работать заставляет? Ну, вот что, у меня тут нету времени, чтобы с вами индивидуальную работу проводить. Я думаю, ты меня поняла. А не поняла, так поймешь, когда меры примем. Можешь идти. Но запомни, — Ларина постучала пальцем по спинке стула, — приусадьба колхозом дается, колхозом и отбирается.

Я поднялся вместе с Шурой.

— У вас, товарищ корреспондент, что-нибудь есть ко мне? Нет? Тогда до свидания.

Мы вышли. В соседней комнате Таня подшивала бумаги. Она подняла лицо и, переводя взгляд с Шуры на меня, старалась понять, что произошло там, за обшитой клеенкой дверью.

— Я же говорила вам, — сказала Шура, обращаясь ко мне.

— Хочешь чаю, Шурик? — Таня подняла пустой стакан и позвенела в нем ложечкой. Шура, не ответив, махнула рукой и вышла.

— Может, чаю выпьете? — Таня сочувственно посмотрела на меня. Она не могла ни сердиться, ни обижаться. — Выпейте, мы тут в электрическом чайнике кипятим...

После разговора с Лариной никто, конечно, не стал выкорчевывать деревья, но Шура сначала от своего сада учеников отвадила, а потом и на пришкольном участке работы потихоньку затаила. То, что для деревьев требовалось, она, конечно, делала, но делала одна или с Таней, а ребятам объявила, что опыты не удались. После этого интерес к яблоням у них пропал, и все летние работы по ботанике ограничились обязательной прополкой скудной кукурузы на ближайшем от школы колхозном поле. Для повышения интереса работа эта называлась «летней сельскохозяйственной практикой».

Между тем июль уже подходил к концу. Гибридное деревце, на которое у Шуры особая надежда была, по первому разу хоть немного плодов завязало, но все же достаточно, чтобы проверить догадку и получить семена для новых сеянцев. И, может быть, эта история тогда же и окончилась бы счастливо, если бы не случай, которому мне пришлось быть свидетелем.

Не помню уж теперь, зачем я в школьную учительскую зашел, помню только, что там пустовато было — время отпускное, и учителя кто вовсе уехал из села, кто дома по хозяйству занимался. Но Шура была в школе — гербарий лекарственных трав готовила. Вдруг распахивается дверь и шумно заходит директор школы Андрей Дмитриевич — человек молодой и здесь недавний. Вошел он, посмотрел на Шуру, на меня, потом повернулся к двери и скомандовал: «Шагом марш сюда!»

И в учительскую друг за другом вошли человек шесть ребятшек — руки у всех за спиной. Впереди — Кирик сын, Лешка Подзоров.

— Вот, Александра Яковлевна, — весело сказал директор, — полюбуйтесь. А ну-ка, раз, два, три...

Ребята все одновременно вытянули руки. На двенадцати детских ладонях лежало двенадцать незрелых яблок.

— Все равно ведь опыты не получились, — сказал Лешка.

Я посмотрел на Шуру. Она стояла, отвернувшись к окну. Андрей Дмитриевич растерялся.

— Будет вам, Александра Яковлевна, — сказал он. — На будущий год новые вырастут.

Но Шура, закрыв лицо руками, выбежала прочь из учительской. Все молчали. Андрей Дмитриевич вздохнул:

— Эх вы, пионеры...

— Их уже есть можно, — тихо сказал кто-то. — Только кисло очень...

Назавтра утром, выйдя из дому, я увидел Таню. Она медленно крутила колодезный ворот — поднимала ведро с водой. В самый последний момент она не удержала ручку, ведро, показавшись было, снова исчезло; загремела цепь; раскручиваясь в обратную сторону, заскрипел ворот. Таня дождалась, пока ведро упадет в воду, и оперлась руками о сруб. Я подумал сначала, что она заглядывает в колодец, и только потом увидел, что она плачет. Тяжело, беззвучно. Она простояла так с минуту, ладонью обтерла щеки и, вздохнув, снова взялась за ворот...

К полудню я узнал, что на рассвете Шура уехала.

Старик Яков Андреевич Шишкарев умер через полтора года после Шуриного отъезда. Недавно Таня показала мне фотографию, где он лежит в гробу, похудевший после смерти, по-стариковски красивый, в хорошем черном костюме, который ни разу не пришлось надеть при жизни и который давно был куплен дочерьми и берегся специально на этот последний случай...

Старик Шишкарев был великим садоводом. Теперь об этом говорят все. В городе скульптор лепит его бюст по фотографиям.

Но как-то уж так получилось, что многие годы колхозу здешнему было не до яблок и тем более не до талантов старика Шишкарева, который на ферме работал скотником. Колхоз был из трудных, земля отошала и рожала плохо — хватало бы соломы на корм скоту, а урожаи зерна бывали таковы, что о них и не говорили, только горько отмахивались.

На ферме Яков Андреевич спорил из-за сеного рациона, ругался из-за подстилки для коров, сердился, когда начисляли мало трудодней, а дома все свое время он проводил в саду. Он был селекционером, и некоторые его сорта незаметно разошлись по всей области.

Мне, однако, не удалось увидеть его на садовой работе. К тому времени, как я впервые попал к ним в дом, Яков Андреевич был тяжело болен. За год перед тем с ним случился УДар.

Жили они теперь вдвоем с Таней. Изба у них была просторная, пятистенная, но за ненадобностью половина ее была закрыта и не топилась. Там стояли ящики с песком, где созревали собранные Таней гибридные семена. Туда же сложили и яблоки на зимнюю лежку, и от этого во всем доме постоянно присутствовал кислый винный запах.

Я приходил к ним по вечерам послушать радио. От одиночества Таня бывала мне раа,а. Москва передавала цикл бетховенских концертов. Таня ставила самовар и тоже садилась послушать музыку.

— А что Бетховен, он так и остался холостяком? — спросила она однажды...

Иногда приходили письма от Шуры. Она жила возле областного центра и преподавала в пригородной школе. Вот-вот собиралась выйти замуж.

Во время разговора или слушая музыку я разглядывал страницы иллюстрированных журналов, которыми, за неимением обоев, были оклеены стены. На этих картинках было изображено удивительное, безоблачное счастье: цвели крымские сады; красивые московские девушки демонстрировали модели одежды, удобные для работы на свиноферме; сияли электричеством клубы, обсаженные дорическими колоннами; молодые доярки в белоснежных халатах, стоя рядом перед добротным железобетонным коровником, делали производственную гимнастику.

Старик Яков Андреевич часами молча сидел на кровати, опустив на пол обутые в валенки ноги. Для удобства на нем была надета старая бабья юбка. По временам он видел сны наяву. Ему снилось, что вся округа засажена яблонями, и он, Яков Шишкарев, над этим садом большой начальник.

— Таня, — говорил он, — вона пришла яблоня с червячком. Надо листья убрать, Таня... Скоро снег выпадет.

— Ну, какие листья, — обижалась Таня. — Никак, ты уже из дому-то года три не выходишь. Да и на дворе теперь декабрь.

Старик молчал.

Уже перед Новым годом, когда первые морозы неожиданно отпустили природу к оттепели, я встретил Таню на улице без платка, в расстегнутом пальто.

— Приходите к нам посмотреть на папу, — сказала она, — он совсем плохой. — И заплакала. — Умирает наш папа.

Я зашел к ним часа через два. Таня спала сидя, облокотившись на стол и упав головой на руки. Старик лежал на кровати под одеялом. Глаза у него были раскрыты. Он тихо сказал что-то. Я подошел поближе.

— Где Шура? — спросил он.

Я объяснил, что Шура скоро приедет. И верно, когда я встретил Таню, та шла на почту, чтобы дать телеграмму.

— Ну вот, — сказал старик, — задолженность с меня требует природа. — Он помолчал, глядя в потолок. — А как же иначе, не бесплатно все было... Вот я в землю-то лягу и пойду на возрастание деревьев. Сколько земли-то перекопал, сколько лопат стер... Ты меня береги там...



Я пообещал. Больше я не услышал ни слова.

Ночью старик умер. На следующий день, когда я зашел в избу, он лежал на сдвинутых столах, среди белых простыней. В сложенных на груди руках едва заметно горела тонкая свеча. Маленькая сухонькая старушка по прозвищу «бабка Спичка» — из бывших монахинь — читала псалтырь.

Я стоял и смотрел старику в лицо. Оно было спокойно. Словно он и впрямь уходит туда, где его будут беречь.

«...Мы теряем лета наши, как звук... Дней лет наших — семьдесят лет, а при большей крепости — восемьдесят лет; и самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим... Научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое...»

Монашка прервала чтение и уставилась на меня своими злыми и лазками. Тани не было. Я поклонился и вышел.

...А Шура так и не приехала: начались школьные каникулы, и телеграмма не застала ее в городе.

Прошлым маем, приехав на пару дней в Ендовы, я был зачарован цветением шишкаревского сада. — Таня, — сказал я, — ничего красивее не видел, чем этот сегодняшний сад.

— Да что вы! — удивилась она. — А я-то и не замечаю... Привыкла.

— Как можно? Ну посмотрите хоть на ту вон молодую яблоню. «Чиста, как невеста под белой фатой».

Таня посмотрела.

— Невеста-то невеста, — сказала она, — только что-то деревце это заболело у нас. Камедью плачет.

Она озаботилась и быстро взглянула на меня, словно попросила отпустить ее от разговора к работе...

За последнее время Танина жизнь, и раньше не праздная, теперь совершенно заполнилась тяжелой мужской работой. Гибридные деревья требовали заботливой культуры, и Таня копала приствольные круги, таскала воду на полив, обрезала ветви, белила стволы и еще много, много иных работ выполняла.

Соседские старухи, жалея ее, уговаривали оставить все это, не надрывать здоровья — приусадьба и без ухода столько яблок даст, что ей на жизнь хватит. И она соглашалась, говорила, что да, хорошо бы так и сделать, но тут же добавляла, что раз уж отец и Шура начали все это, то ей, видно, так теперь и написано тащить воз. И снова одна с рассвета до начала занятий в конторе и потом до темноты то на приусадьбе, то в школьном саду копала приствольные круги, сгребала листья, подбирала падалицы.

Впрочем, вскоре у нее появились помощники — первым был Лешка Подзоров. Сначала неохотно, по требованию отца, а потом и по собственной привычке он помогал Тане носить воду, вскапывал землю и постепенно даже искусству привить дерево научился. А так как в ребячьем мире Лешка был человеком влиятельным, то за ним потянулось еще человек пять или шесть. Или у них у всех открылась любовь к садовому делу, или же Лешка сумел незаметно для себя обернуть все дело в игру, но только ребята, встречаясь, каждый раз хвастали друг перед другом работой в саду и от этого в следующий день старались сделать побольше.

Так продолжалось до прошлой зимы, когда Андрея Дмитриевича, директора школы, выбрали председателем колхоза. Он оказался человеком самостоятельным и предприимчивым. Он-то и предложил Тане передать приусадьбу школе с тем, чтобы она, Татьяна Шишкарева, взяла под свое начало оба участка — и свой и школьный — и продолжила селекционную работу уже на иной основе, имея в виду через пару лет заложить в колхозе большой плодовый сад.

На том и согласились. Таню освободили от работы в конторе и стали ей платить агрономские деньги. И в саду, если что надо было, все требования колхозом исполнялись.

Еще в ту зиму, когда умер старик Шишкарев, Таня посеяла все поколение семян от первой Шуриной яблони, а теперь и остальные десять стволов этого уклонения завязали хорошие плоды. Словом, в конце августа уже можно было сказать, что сорт получается: урожайность и вкус яблок сомнений и раньше не вызывали, а теперь и хорошая лежкость по первой яблоне проверилась.

Правлением и школьным педсоветом решено было в сентябре, когда снимутся плоды, устроить небольшие торжества по этому случаю. К торжествам из областного города пригласили и Шуру.

Она приехала накануне. Таня, Киря Подзоров и я встречали ее в райцентре у большого междугородного автобуса. Потом мы четверо ехали в Ендовы, и Таня все ласкала, ласкала сестру и рассказывала о садовых делах, а Шура молча глядела на вечеряющую лесную дорогу и спокойно слушала, не задавая вопросов, словно все, о чем рассказывала сестра, было ей далеким и чужим. Сама она сказала, что им с мужем дают квартиру. Таня обрадовалась и в тон радости сказала, что ей самой теперь замуж не выйти. Некуда. Теперь замуж в город выходят. Одна вон даже в Германию замуж вышла — за лейтенанта. Потом они обе вспомнили Якова Андреевича, и Таня рассказала, как он умирал. Но о том, что он хотел увидеть Шуру, она не сказала: побоялась, видно, потревожить сестру.

Киря толковал мне о карасях, которые будто бы два дня назад ловились в Мочальном озере, хотя я в то утро был в Ендовах и знал наверное, что он не ходил на рыбалку, а теперь придумал говорить о карасях, чтобы только не молчать и не мешать сестрам своим вниманием...

Торжественное собрание назначили в школьном классе. Выбрали президиум: сестер Шишкаревых и Андрея Дмитриевича. Председательствовал исполняющий обязанности директора школы, бывший завуч. В своей краткой речи он показал все происходящее в свете недавних решений облисполкома и облоно. Потом спросил, какие будут предложения «по вопросу присвоения имени новому сорту». Поднялась одна рука — Лешки Подзорова.

— Слово имеет учащийся девятого класса Алексей Подзоров.

— Татьянины яблоки, — сказал Лешка.

— Ну и что из этого? — спросил и. о.

— Название сорта: «Татьянины яблоки». Таня из президиума замахала на Лешку рукой.

— Правильно! — крикнул кто-то из ребят, а кто-то из взрослых захлопал в ладоши.

И. о. директора остановил шум резким поднятием головы.

— Ишь ты, подругу нашел, — сказал он. — Она тебе не Татьяна, а Татьяна Яковлевна. Молод еще.

— А может быть, мы авторам предоставим возможность? — сказал Андрей Дмитриевич.

Я взглянул на Шуру. Она смотрела прямо перед собой, поверх голов собравшихся — в заднюю стену класса. Таня гладила ее руку, лежавшую на столе.

— Пожалуйста, Татьяна Яковлевна, — сказал бывший завуч.

Таня поднялась, поправила платок на голове, зачем-то ладонью обтерла рот, улыбнулась, посерьезнела.

— Товарищи, — сказала она, и вдруг голос ее сорвался на высокие ноты, — это все Шурино дело, это ее сорт! Пускай она и назовет!

И села.

— Просим, просим, — сказал председательствующий.

Шура хотела улыбнуться, но улыбка не получилась.

— Согласно помологии, — сказала она не вставая, — целесообразно назвать сорт «Ренетом песчаным».

— Шишкарёва, — добавил Андрей Дмитриевич. — В память о вашем отце: «Ренет песчаный Шишкарёва».

Шура пожала плечами: мол, как угодно, — Таня закивала головой.

— И так, голосуем единственное предложение.

— «Татьянины яблоки», — сказал Лешка.

— Подзоров, не срывай собрание, — строго сказал и. о. директора школы.

Проголосовали предложение Шуры и Андрея' Дмитриевича. Без подсчета было видно, что большинство «за». А на следующее утро Шура уехала, хотя сначала собиралась прожить с неделю.

Мы все пробовали уговорить ее остаться. Таня сильно изменилась за ночь — постарела.

— Как же это, — только и могла она сказать, — как же это, а?

— Квартиру получаю, — резко сказала Шура, — неужели непонятно: квар-ти-ру...

Мне вдруг показалось, что если продолжать ее уговаривать, то она заплачет злыми слезами...

Мы с Кирей и Таня провожали ее к местному автобусу. На полдороге Таня вдруг вспомнила:

— Яблоки-то я тебе не дала с собой — у меня ведь заготовлено. — Она повернулась и быстро пошла к дому.

— Не надо ничего, — вслед сказала Шура, но Таня не остановилась.

Автобус ждал. Шура поднялась на ступеньку и повернулась к нам.

— Скажите ей — не надо ничего. — Она вошла в машину и закрыла за собой дверцу. Автобус тронулся.

Когда он проходил мимо шишкарёвского дома, выбежала Таня. Она протянула к автобусу кошелку, полную яблок.

— Возьми, твой же! Возьми!

Но машина не остановилась. Таня сделала несколько шагов вслед и осталась стоять на дороге.

Раньше нас с Кирей к ней подбежал Лешка — он выскочил из дому. Постоял, посмотрел вслед автобусу. Запустил руку в кошелку, достал яблоко покрупнее. Надкусил. Посмотрел в небо.

— Немного полежит — хорошо будет, — важно сказал он и тут же виновато оглянулся на нас с Кирей.

Глядя на него, Таня улыбнулась сквозь готовые было слезы...

Вернувшись через пару дней в райцентр, я неожиданно встретил в редакции Филимонова — того самого, который у нас был начальником. Теперь он работал корреспондентом областного радио. Почему-то он обнял меня и ткнулся носом в мою щеку. Потом отстранился и оглядел.

— Ну, ты молодец, — пробасил он. — Слушай, старик, тут у вас какой-то новый сорт яблок вывели. Это же гениальный материал. Говори, куда ехать?

— В Ендовы, к Шишкарёвой. Он озадачился.

— Слушай, старик, — тихо сказал он, — это что, га самая Шишкарёва?

— Та самая.

— Ну, ну, попробуем.

Когда он проходил мимо окна, я постучал в стекло. Он остановился. Я встал на стул и открыл форточку.

— Я пошутил, — крикнул я, — та была Александра, а эта — Татьяна! Совсем другая женщина.

Я закрыл форточку и слез со стула. Он, улыбаясь, погрозил мне пальцем...

Недавно я получил садоводческий журнал, где ученый-помолог описывает новый сорт яблок и называет его «Ренет песчаный Шишкарёва». Оно и правильно: «Татьянины яблоки» еще будут.

Ю. Зерчанинов

## ЧЕТЫРЕСТА ШЕСТЬДЕСЯТ

Я летел в Ташкент собрать свидетельства недавних событий, но провел пять дней в городе, и так получилось, что настроение первых пяти июньских дней Ташкента определило все мои поиски и знакомства. Может быть, кто-то другой прожил эти дни в совершенно ином Ташкенте и мои наблюдения ему покажутся слишком уж субъективными. Может быть...

Объявление на стене:

«Меняю однокомнатную квартиру в эпицентре Ташкента на однокомнатную — в эпицентре Киева».

И рядом большими буквами:  
«СНОС».

Сцена в трамвае. Развернув свежую «Правду Востока» (за 1 июня), женщина читает вслух:

— «Сообщает сейсмостанция «Ташкент». Вчера в шесть часов двадцать четыре минуты зарегистрировано землетрясение силой четыре балла».

Трамвай оживленно:

— Один толчок, говорите?

— Да, мелочи. Четыре балла.

— А нет еще сообщения про другие толчки?

— Я ж не слепая.

— К чему бы это? Всего лишь один толчок...

— А может, на другой странице?

— В шесть утра я спала.

— Один толчок. К чему бы это?..

Сейсмологи едят плов. Плов приправлен чесноком, прокипяченным в масле. Плов — как вызов. Плов назло всем подземным стихиям.

Я зван на плов тоже. Я принят на жительство в сад, в котором стоит сеймостанция. Получил раскладушку, спальный мешок. Под соседним деревом живет иркутянин Олег Павлов, чуть дальше справа — два сейсмолога из Фрунзе, слева, между яблонями, — целое поселение таджикских сейсмологов. Коллеги из братских республик помогли ташкентцам составить карту последствий землетрясения. По случаю завершения этой работы коллеги из братских республик званы на плов. Работа была нелегкая, надо было обследовать сотни аварийных домов. Валерию Грину из Фрунзе пришлось отстирывать брюки в бензине.

Сейсмологи просвещают меня за пловом. Не надо сравнивать ташкентское землетрясение с ашхабадским: то было великое землетрясение, как и ялтинское 1927 года, как и курильское 1952 года. Если бы на этот раз эпицентр не оказался под самым городом...

Очень профессиональный идет разговор. И вдруг...

Васик Мирзаев раздираем противоречиями. Его карту сейсмического микрорайонирования Ташкента, составленную в начале апреля, землетрясение не опровергло. Утром 26 апреля молодой сейсмолог бегал по городу и убеждался, что там, где у него восемь баллов значилось, там восемь и было. Но лучше бы эти восемь баллов остались только на карте...

Васик предлагает тост: «Чтобы больше Ташкент не трясло!»

Несерьезный тост. Не сейсмический. Можно понять Васика, но тост нужен другой:

— За девятибалльный Ташкент!

Тост, оказывается, с предысторией. Самый популярный сейчас в городе человек — тридцатитрехлетний заведующий сейсмостанцией «Ташкент» Валентин Уломов. («Как, «Пахтакор» завтра выиграет?» «Позвони Уломову, он все знает.») Уломов — ученик Евдокии Михайловны Бутовской, которая добилась в 1946 году, чтобы Ташкент из семибалльной зоны был переведен в восьмибалльную (города в сейсмически опасных зонах имеют свой балл). Тогда нашлись люди, которые обвинили сейсмолога, что она занимается перестраховкой, не экономит государственных средств (стоимость строительства, естественно, возрастает с повышением сейсмического балла). Бутовскую «спасло» ашхабадское землетрясение — разговоры о перестраховке сразу прекратились.

Репортаж

Первый толчок

Сейчас Евдокия Михайловна подтягивает в Ташкент сейсмостанции из зоны Сохского водохранилища, чтобы помочь Уломову «взять в кольцо» эпицентр землетрясения. Сейчас сейсмологи настаивают уже на девятибалльном Ташкенте.

К столу подходит чайханщик. Почему толчков совсем мало?

Ташкент острит отчаянно («Ты где живешь?» «Нигде». «А ты где?» «Напротив»), но, но правде, Ташкент и нервничает. Уже дважды в канун сильных толчков уменьшалось количество слабых толчков. Эта закономерность, подмеченная Уломовым и другими сейсмологами, известна всему городу.

— Я за чай отвечаю, — говорит наш чайханщик. — У меня чая много. Хочешь, черный тебе принесу, хочешь — зеленый. А у вас должно быть много толчков.

В полночь на сейсмостанции дежурная едва успевает снимать телефонную трубку. Телефон параллельный, и я тоже снимаю трубку:

— Почему совсем нет толчков? Чем это кончится?

— Можно раздеться па ночь? Я уже целый месяц сплю в брюках.

— А где вы спите?

— В палатке.

— Спите, как вам удобнее.

— Спасибо, спокойной ночи.

— Знаете, мне не спится...

— Наша собака лает. Вам не кажется...

— А вы не забыли ее покормить?

— Намек понял. Не трясите, пожалуйста, нас. Спокойной вам ночи!

Рассказ Кати Киткович, заведующей сектором редких изданий Государственной библиотеки УзССР имени Алишера Навои:

— Я такая экспансивная, все удивляются, как спокойно я перенесла выговор. Таджиева до сих пор не сняла выговор. Ну и пусть. Ведь инкунабула! Приезжаю утром двадцать шестого в центр, смотрю — ого! В библиотеку бегу, сразу в отдел. Правый угол обвален, на столе кирпичи. Стала открывать дверь в хранилище, а замдиректора Свидина: «Не смей туда ходить!» Но я все равно пробралась. Вижу распластанную на полу «Искру», и глина на ней. Ну все, думаю, пропала газета. Но я очистила ее, «Восточную энциклопедию» подняла... Опять прибежала Свидина: «Тут погибнуть можно. Кому нужен твой показательный героизм?» А я бы себе не простила, если бы книги мои погибли. «Это приказ дирекции!» — крикнула Свидина. А я: «Не подчиняюсь!» Тогда она: «Пиши расписку». Ну и что, написала: «Я, Киткович Е. П., вопреки приказанию дирекции не захожу в аварийное помещение буду работать в секторе редких изданий по подготовке его фондов к эвакуации. 26 апреля 1966 года». Но тут за мной пришла уже целая делегация: «Себя не жалеешь, нас пожалей». Я реву, буфетчица тоже ревет, они тащат меня, а я за столы цепляюсь. Ну, подумала, на

следующий день буду хитрее. Сказала вечером, что с утра у врача буду. А сама пришла рапьше всех, через садик, через окно хранения, и влезла в отдел. Захлопнула дверь па английский замок и стала уже спокойно работать. Запаковывала в занавески, в газеты и, связывала шпагатом восточные рукописи, тома туркестанского альбома свою инкунабулу — немецкую библию 1483 года издания... Тридцать пачек упаковала, в шкафы спрятала, которые в наиболее безопасных местах стояли. Свидина узнала: «Ну, ты пожалеешь!» И в тот же вечер Таджикива, наш директор, при всех объявила мне строгий выговор. А я спокойно выговор пережила. Я в этой библиотеке еще на подноске работала, еще совсем девчонкой. Потом техникум окончила, институт... Двенадцатого мая было получено наконец разрешение выносить книги. В других отделах некоторые книги попортились, а мои целыми вынесли... Землетрясение, землетрясение... У меня мама — мы эшелонам в Ташкент ехали — при бомбежке под Рязанью погибла. Что мне землетрясение?..

Откровенное признание центрального защитника и капитана «Пахтакора» Максуда Шарипова:

— Играть бы сейчас на своем поле, никуда из Ташкента не уезжать. Когда мы в другом городе, а здесь трясет, ребята нервничают. Девятого мая прилетели в Москву, слушаем радио — опять трясет. Некоторые собрались даже домой лететь. Какой, говорят, футбол?.. А у себя на поле мы можем играть и когда трясет. Бежишь, в движении толчка не чувствуешь. В тот день, когда восемь баллов было, мы играли с минчанами. Адамов рассказывал, как они ночью с пятого этажа гостиницы в одних трусах бегали... Так вот, играем. Вдруг слышу: гул такой по стадиону прошел. Люди, сидевшие под табло, поднялись. Догадался: опять толкнуло. Но почувствовать ничего не почувствовал, потому что бежал, был в движении. Ну, мы эту игру выиграли... Теперь сыграем с «Нефтяником», и опять уезжать. А как уезжать, когда здесь все еще трясет?

Репортеры УЗТАГа не высыпаются: днем и ночью в Ташкент приходят поезда строителей. Поездов больше, чем репортеров. Отвлекаясь от поездов, коллеги пытаются вспомнить и рассказать мне самые героические факты ташкентской жизни. («А школьники, школьники! Работали в те дни почтальонами...», «Сыпалась штукатурка, а телефонистки, совсем девочки, прикрыли головы листами фанеры...») Но, вспоминая, тихо предупреждают:

— Понимаешь, старик, я об этом сам написать собираюсь. Вот придут все поезда...

А один рассказал мне уже после предупреждения:

— Жена у меня, знаешь, прежде чем в зеркало не посмотрелась и волосы не поправила, не выбежала на улицу. Это когда восемь баллов было.

Говорят, живет в городе какой-то дед, который будто бы помнит еще ужасы знаменитого ташкентского землетрясения 1868 года. Но ведь дед находился тогда в младенческом состоянии... Да зачем дед? Сохранились рассказы очевидцев былых ташкентских землетрясений.

23 марта 1868 года: «Вдруг послышался шум, подобный сильному ветру. Затем начали шататься стены и окошки. Стекла посыпались. Мы все вместе выбежали во двор. Земля под нами колыхалась так сильно, что мы едва могли устоять. После четырех-пяти качек начались легкие колебания, а затем все успокоилось. Всполошенные птицы, животные и люди подняли страшный гвалт. Месяц светил как-то тускло, и в воздухе носилось как будто что-то густое».

5 сентября 1897 года: «Оно продолжалось секунд пятнадцать — | двадцать, началось трепетанием почвы и, постепенно растя, дошло до того, что часы с маятником остановились, а колокола стали звонить. Дома сильно трещали. Валилась штукатурка, появились трещины, повисли потолки, опрокидывались предметы, посуда звенела и падала, собаки выли, куры кудахтали, все бежали на улицу, под открытое небо. Испуг был общий и сильный...

Портерные и магазины с посудой и парфюмерией понесли убытки, так как в них предметы падали и разбивались. В одной семье ребенок умер от испуга через четверть часа после землетрясения».

А все-таки нынешнее ташкентское землетрясение посильнее всех прежних!

Какой-то подвыпивший остряк закричал на улице: «Сейчас будет десятибалльный толчок». Заметка в «Правде Востока» так и называется: «За 10 баллов — 15 суток».

Не устраивай панику!

Вечер. Хожу по центру города, по самым разрушенным улицам.

Окон нет. Балкон рухнул. Но осталась парадная дверь, и на ней давними витиеватыми буквами: «Стучать громко».

— Заходите в палатку, — зовет девушка. — Меня зовут Светлана. А вас?

В палатке сидят у телевизора женщины, дети. Пожилая женщина наливает мне чай:

— Пейте, сейчас даже вечером жарко. Сегодня хорошая, с приключениями картина. Будем вместе смотреть.

На маленьком экране действительно начинаются приключения, а когда страсти несколько утихают, женщина меня спрашивает:

— Не знаете, что за город Навои? Предлагают в новом доме квартиру.

— Нет, я не хочу уезжать из Ташкента, — говорит Светлана. — А вы бы уехали?

Потеряв кров, а часто и вещи, перебравшись в палатки, люди быстрее сближаются, ничего не таят друг от друга. Сохранится ли дух этого уличного братства в новых домах Ташкента?

— Так вы живете на сейсмостанции? — говорит мать Светланы. — Вам так просто узнать, когда будет новый толчок.

— Предупредите нас, — смеется Светлана, — а то, серьезно, надоело ждать.

На улице Инженерной, в доме 16, светится единственное окно. Стучусь.

— Входите, — приглашает хозяйка, — если не боитесь. А я родилась в этих стенах. Как можно, чтобы они меня предали? Так вы из Москвы, значит? Пойдемте во двор, покажу наши магнолии.

Медсестра Надежда Кузнецова ведет меня во двор и показывает сначала белую, а потом розовую магнолию. Две знаменитые, единственные на весь Ташкент магнолии. Каждый настоящий ташкентец знает, что белая магнолия на Инженерной цветет в конце февраля, а розовая — в начале марта.

— Цветы мы продаем. Коллективно, всем домом. А деньги на благоустройство двора пускаем. В этом году выручили сто тридцать пять рублей. Хотели их поделить после 26 апреля, но прочитали в «Правде Востока», что в городе открыт счет № 170064 на который можно сдать для Ташкента деньги. Мы подумали: люди, которые покупали наши магнолии, наверное, тоже сейчас ютятся в палатках. Я пошла на следующее утро в банк и положила эти сто тридцать пять рублей на счет с шестизначным номером.

Рассказ заведующей отделом птиц Ташкентского зоопарка Гявхар Наджимовой:

— Раньше, до первого толчка, мои попугаи были такие веселые, разговаривали, а сейчас сидят скучные. Очень беспокоят меня попугаи. А павлины стали кричать по ночам, знаете. И чайки-хохотуньи. Тоже нервные птицы.

Но хуже всех у нас ведет себя слон. Спит по-прежнему только в помещении. Мы дверь закрываем, а он, как ночь, начинает работать хоботом и до тех пор работает, пока ему дверь не откроют. Как мы за него боимся, знаете!

На улице Карла Маркса студенты Института русского языка и литературы заканчивают расчистку аварийного квартала. На щите вывешен грозный «Комсомольский прожектор»:

Трещит земля, как пустой орех.  
По сердцу работа нашлась для  
всех.  
Второго лишь курса нет.

Вечер четвертого июня. Смотрю во Дворце искусств кинопрограмму «Короли смеха». Смешит Чаплин, затем Фернандель. И даже наш Филиппов попал в короли Но дольше всех на экране царствует все же Чаплин. Ах, как смешно, это же Чаплин! Зал сотрясается в хохоте, когда в самом начале программы, в «Тихой улице», Чарли-полицейский умирят страшную хулигана. В «Цирке», в конце программы, Чаплин еще смешнее. Ах, как он идет по канату!. Но «Цирк» заканчивается по-чаплински: скорее грустно, чем смешно. И кинопрограмма на этом заканчивается. Зрители, расходясь, обсуждают:

- Ну как?
- Не очень смешной конец, правда?
- Да, вначале было смешнее.
- Наши соседи тоже пришли вчера такие задумчивые.
- Какие соседи?
- По палатке.
- Позвони на сейсмостанцию. Может, там расскажут что-нибудь веселенькое.
- Уж куда веселее, два каких-то плевых толчка за день.
- Откуда знаешь?
- Звонил уже.

Просыпаюсь в полночь. Словно кто-то меня будил, но никого поблизости нет. Слышу какой-то странный звук: то ли ветер шумит в деревьях, то ли гудят провода. А потом этот звук покрывает истошный собачий визг и лай. Я догадываюсь: толкнуло. Уже не спит весь наш сейсмический садик, полураздетые люди бегут к приборам. О чем-то на ходу переговариваются. Но все разговоры тонут в истошном собачьем лае.

Сколько в Ташкенте собак: тысячи, сотни тысяч?

Так я проспал фактически семибалльный толчок, который был зарегистрирован сейсмостанцией «Ташкент» 5 июня в 3 часа 12 минут по местному времени. Четыреста шестьдесят первый толчок, если вести отсчет от 26 апреля, от той ночи, когда Иргаш Хаитов, дежурный по сейсмостанции, передавал в Москву: «Я Ташкент сейсмос. Я Ташкент сейсмос. Москва, Москва, слушайте данные...»

Рано утром еду осматривать город, но на улицах почти никого нет. В момент толчка, в начале четвертого, весь город выбежал на улицы и теперь отсыпался. И за эту ночь и за прошлые. Надо было и впрямь выспаться: через неделю, может, опять придется считать толчки...

У врачей в эту ночь работы было немного: город же спит в палатках.

А днем, жарким воскресным днем, Ташкент, освобожденный на время от тревожного ожидания, на неделю хотя бы, доказывал, что он остался прежним Ташкентом. Какие гладиолусы продавались на улицах! Как дразняще смеялись девушки! И не надо было в тот день никаких утешителей, и Чаплин мог не только смеяться...

На сейсмостанцию только один звонок:

- Я хочу пойти в дом, принять ванну.
- Принимайте.

В то воскресенье я улетал в Москву. Лев Коган, сейсмолог из Душанбе, звал в гости.

- Здесь разве баллы? Гарантирую, даже пять наших баллов вы не проспите.



А Юсуф-Али, тоже из Душанбе, опять меня уговаривал взять под язык его жевательный табак, именуемый «нос». В то воскресенье мне тоже было так весело, что я взял под язык этот «нос».

Разговор на улице в то воскресенье:

— Поедем на озеро!

— Ну и что?

— Искупаемся, а вечером погуляем по эпицентру.

— Там сегодня не протолкнешься — все соберутся.

Среди книг

В. Маевский

Когда шатаются небоскребы

Она встает перед нами, страна крайностей и противоречий, грандиозных масштабов и высоких темпов.

Каково же истинное лицо этой страны? Убийство президента в Далласе, кровавая война во Вьетнаме, ярый безнаказанный расизм — не это ли определяет его?

В среде какой-то части американской молодежи возрождается фашизм. Возможно, именно они, двадцатилетние, послевоенное поколение, несут угрозу миру и человечеству. И не удивительно: здесь коммунистические убеждения — преступление. Когда полицией Нью-Йорка был совершен налет на штаб-квартиру известного гангстера, он возмущался перед телевизионной камерой: «Ведь я антикоммунист. Что еще нужно полиции?»

Тревогой за судьбу мира на земле пронизан репортаж советского журналиста-международника, обозревателя «Правды» В. Маевского. В своей книге («Когда шатаются небоскребы», изд-во «Политическая литература», М., 1965) он обращается к молодежи: «Я посвящаю эти строки двадцатилетним, которые погибли в боях с фашизмом. Я посвящаю их тем, кому сегодня двадцать и чья судьба находится в их собственных руках».

Т. БОБРЫНИНА

Олег Куваев

Чудаки живут на Востоке

«Бывают у человека в девятнадцать лет всякие идеи, которые сажают его на кучу тюков и под грохот мотора несут в чертовски манящую неизвестность». Одна из таких идей и привела Олега Куваева на Восток к его будущей работе, будущим товарищам и героям.

«Вначале нравилось играть в «модернизированного кочевника»: мы посланы как разведчики в загадочную страну минералов..., по рисункам, по отшлифованным галькам, по окаменевшей ряби древних волн мы лепим хронологию былых времен... Потом пришла привычка. Привычка к нашей работе, без которой никто из нас не смог бы сейчас жить», — обо всем этом рассказывает в своей книге Олег Куваев («Чудаки живут на Востоке», изд-во «Молодая гвардия», М., 1965).

Олег Куваев — геолог. Две повести и несколько рассказов — о его путях по Чукотке — составили эту книгу. Читаешь ее, и как-то теплее, можно сказать, влюбленнее становится на душе, и проникаешься симпатией к его героям, к нему самому. А вроде бы ничего особенного в книге нет: ни «бьющей в глаза» романтичности, ни «берущих за сердце» ситуаций — все очень просто, по-домашнему буднично. Но пробивается сквозь каждую строчку любовь Олега Куваева к этой земле — Чукотке, к ее людям, к своей работе и наполняет вас любовью. И не можешь да и не хочешь расставаться с этим чувством еще долго после того, как закрыта последняя страница книги.

А. КУРИЛОВ

Юлия Друнина

Страна Юность

Книга избранной лирики Юлии Друниной «Страна Юность» (ИХЛ, 1966) включает в себя стихи, написанные за двадцать с лишним лет. Срок для поэта немалый! Девичий голос поэта, впервые прозвучавший в окопах Великой Отечественной войны, стал несколько глуше, но мы его узнаем: он не изменил себе.

Юлия Друнина — лирик. Лирик конкретный в своем ощущении, в своем изображении реальности. Война запечатлена поэтессой достоверно:

Я хочу забыть свою пехоту,  
Я забыть пехоту не могу.  
Беларусь. Горящие болота.  
Мертвые шинели на снегу.

«Мертвые шинели на снегу», — нельзя придумать, это можно только увидеть. Таких деталей немало в книге.

Я не буду цитировать стихи зацитированные. Я хочу сказать о том, что опыт войны, переживания суровых лет наполнили глубоким содержанием послевоенную лирику Друниной. Снега — это не просто пейзаж, это воспоминание недавнего горя:

Все замело дремучими  
снегами.  
Снега, снега — куда ни  
бросишь взгляд...  
Давно ль скрипели вы под  
сапогами  
Чужих солдат?

В поэзии Друниной и мужество и нежность неразлучны. Это делает ее стихи живыми, уводит от схемы и волнует:

Я не привыкла, чтоб меня  
жалели,  
Я тем гордилась, что  
среди огня  
Мужчины в окровавленных  
Шинелях  
На помощь звали девушку —  
меня.

Но в этот вечер, мирный.  
зимний, белый,  
Припоминать былое не хочу.  
И женщиной — растерянной,  
несмелой —  
Я припадаю к твоему плечу.

Я думаю, что многие женщины подписались бы под этими словами, настолько они проникновенны.

В стихотворении «Еще держусь, хоть мне не двадцать лет...» поэтесса ведет бой с «врагом», имя которому — возраст. И тут в каждом слове — достоверность и сила.

Должна ты выиграть и этот бой —  
Недаром фронтовички мы  
с тобой!

Так, «Страна Юность» еще держится и не сдается возрасту!

В. БОКОВ

Нина Эскович.

Лебяжий рукав

Эпиграфом к этой первой книге поэта (Нина Эскович. «Лебяжий рукав». Стихи. «Советский писатель». М., 1965) взяты строки Тютчева: «Ты к людям, ключ, спешишь в долину — попробуй, каково у них!» И все, о чем говорит далее поэт, отвечает, к а к у людей, каковы они, чем живут, к чему стремятся.

Конечно, действительность огромна, сложна, многокрасочна, и небольшая книжка лирических стихов не в силах охватить это бескрайнее многообразие. Однако даже одна страница — сжатая, полная смысла и чувства — может укрепить способность разбираться в жизни, не затеряться в ее просторах. Стихи Нины Эскович этой способностью обладают. Более всего остерегается она «спутать добро и зло», и ее твердая решимость ясно видна, о чем бы ни вела она речь.

И хотя в стихах ее чаще всего слышны мягкие, нежные нотки — еще бы, ведь речь идет о материнстве, о любви, о женских, девичьих, мальчишеских судьбах! — голос ее может быть суровым, жестким. Таким он и становится, когда Нина Эскович ведет речь об испытаниях народа, о героике блокадного Ленинграда. Она прямодушна, непримирима и в своей оценке сердец мелкотравчатых, суетливых, эгоистических.

Из собственного опыта «нотка правдивая добыта» для того, чтобы «не только песню спеть»; «память свою переплавил в медь печальных и радостных строчек»; «железная мать» — железная дорога, на которой долго работала инженер Нина Эскович, «прибавила звону металла и твердости к речи моей». — этими признаниями словно прошита, пронизана вся книга. Отсюда и цельность ее. Встреча с ней запоминается, и вспоминаешь о ней добром.

И. ГРИНБЕРГ

Арнольд Гессен

Все волновало нежный ум

Название книги Арнольда Гессена «Все волновало нежный ум» (изд-во «Наука», М., 1965) — строка из стихотворения «Разговор книгопродавца с поэтом». Правда, Пушкин имел в виду «нежный ум» — юношеский, а Гессен показывает поэта зрелым, чей ум был дерзок, смел и могуч.

Книгу составляют сорок пять этюдов, каждый из которых посвящен одному из эпизодов пушкинской жизни и творчества. Неизменными спутниками яркой жизни Пушкина были друзья и книги. Почти ежедневно он заходил в книжные лавки, к Смирдину или Оленину, встречал там друзей и издателей, спорил о новом романе... Мы застаем Пушкина в

салоне «Княгини Ночи» Е. И. Голицыной, мы переживаем вместе с ним «чудное мгновенье», мы проникаем в замысел «Пиковой дамы», мы наблюдаем, как он трудится над «Евгением Онегиным», «Борисом Годуновым», вместе с ним мы плачем над письмами Е. К. Воронцовой... А каким пытливым, талантливым читателем был Александр Сергеевич! Мы видим, как он задумался над сочинением Гёте, над поэмами Байрона, стихами Андрея Шенье...

У молодого читателя есть иллюзия, что он знает Пушкина. «Ну как же, в школе проходили, памятник видел, слушал оперы...» Но этого, ох, как недостаточно!

Несмотря на то, что А. Гессен приводит как будто общеизвестные материалы, у читателей возникает образ Пушкина, каким его видит, именно видит, автор, умудренный жизнью 87-летний человек. И это наш Пушкин.

Светлана МАГИДСОН

А. Дунаевский

По следам Гая

Если имя переживает своего владельца, оно обретает особую силу воздействия на умы и сердца поколений.

Глубокий смысл и значение этих слов я особенно оценил, прочитав книгу А. Дунаевского «По следам Гая» (изд-во «Айастан», Ереван, 1966). Потребовались годы работы, чтобы восстановить истину, осветить жизнь и деятельность одного из легендарных полководцев Красной Армии, Гая Дмитриевича Гая, соратника М. Н. Тухачевского, В. В. Куйбышева и М. В. Фрунзе. Уральские и питерские рабочие — боевое ядро Железной дивизии, которой в 1918 — 1919 годах командовал Гай, — громили бело-казацкие и колчаковские полчища в боях за освобождение Самары, Симбирска, Оренбурга и других волжских городов. В 1920-м он провел свой III конный корпус, преодолевая ожесточенное сопротивление шляхты, от стен Полоцка до предместий Варшавы. Потом были долгие годы, отданные строительству Красной Армии.

Невольно напрашивается вопрос: предполагал ли автор, начиная свой труд в 1956 году, с какими сложностями и с каким объемом работы он столкнется, прежде чем ему удастся поставить дату завершения рукописи — 1965 год? Предпринятый им поиск заслуживает самой высокой оценки и признания. Надо было преодолеть псевдонаучные барьеры и наслоения, возведенные в угоду «духу времени» некоторыми недобросовестными «историками».

Автор не только преодолел эти трудности, но, исследуя всевозможные документы, разысканные им в государственных архивах страны и сохранившиеся в руках частных лиц, встречаясь с людьми, знавшими Гая — а для этого пришлось ездить по всей стране, — смог доказать неправомочность и необоснованность ранее предпринимавшихся попыток принизить роль и значение Гая в гражданской войне.

Автору удалось доказать, что в отдельных «научных» работах имеет место прямая фальсификация исторической правды о полководческой деятельности Гая, а в ряде случаев установить недопустимую легковесность и поспешность в выводах и суждениях о событиях тех лет, о людях, игравших в них активную роль.

Больше того. В той победе, которую одержал наш народ и в Великой Отечественной войне, есть немалая доля трудов прославленного комкора Г. Д. Гая и его соратников.

В. ИЛЬИН

«МОЕМУ дальнейшему ПОТОМСТВУ...»

## К 90-летию со дня рождения М. М. Литвинова

Поколение, родившееся в последние годы старого мира, хорошо знало Максима Максимовича Литвинова. Строители первых пятилеток, шахтеры Донбасса, ленинградские металлисты, колхозники, военные, писатели и ученые, развернув утром газету и найдя там выступление Народного комиссара иностранных дел Литвинова на сессии Совета Лиги Наций, на конференции по разоружению, на любом международном форуме, жадно читали эти выступления — остроумные, блестящие по форме, разящие врагов мира, противников Советского государства. И люди с доброй улыбкой говорили друг другу: «Максим Максимович опять отбрил наших врагов».

Его редко называли по фамилии. Достаточно было сказать «Максим Максимович», и сразу было ясно, о ком идет речь. Как достаточно было сказать «Надежда Константиновна», «Михаил Иванович», «Сергей Миронович».

М. М. Литвинов принадлежал к старой ленинской гвардии, был одним из первых строителей большевистской партии с 1898 года. Его жизнь легендарна, его деятельность в течение двух дореволюционных десятилетий была полна опасностей. Во имя победы пролетарской революции он совершал подвиги, но никогда не говорил об этом. О них знали лишь Ленин и небольшая группа старых большевиков. В ныне выходящей многотомной «Истории Коммунистической партии Советского Союза» эта его деятельность отмечена тепло и благодарно. Литвинов входил в то ядро ленинской гвардии, которое составили «...знаменитые агенты «Искры», убежденные марксисты, имевшие за своими плечами опыт нелегальной работы, крепкие духом профессионалы-революционеры». Имя Литвинова — в той плеяде ленинцев, которая вынесла на своих плечах «основную тяжесть борьбы против меньшевиков в России. Опираясь на эти закаленные кадры, Ленин уверенно вел партию по пути преодоления кризиса» в самые тяжкие годы борьбы.

Сразу же после Октябрьской революции по предложению В. И. Ленина М. М. Литвинов был выдвинут на руководящую дипломатическую работу, которой он и отдал почти тридцать лет своей жизни.

В публикуемых письмах (все они, кроме письма в ТАСС от 17 июля 1936 года, печатаются впервые) отражены некоторые периоды жизни М. М. Литвинова, отдельные штрихи его характера.

Письма, которые мы здесь печатаем, — часть эпистолярного наследия М. М. Литвинова, собранного журналистом З. С. Шейнисом. Он использовал их в главах книги о нем, над завершением которой ныне работает.

Первое из приведенных здесь писем было отправлено 26-летним Литвиновым из киевской тюрьмы. Последнее письмо — Александре Михайловне Коллонтай — написано 75-летним Литвиновым за несколько месяцев до его кончины.

В 1899 году двадцатитрехлетний М. М. Литвинов переезжает из города Клинцы (тогда Черниговской губернии) в Киев. Его избирают членом Киевского комитета РСДРП. 17 апреля 1901 года Литвинова арестовывают вместе с другими членами Киевского комитета. Полтора года он находится за решеткой в так называемом Лукьяновском замке. Из тюрьмы Литвинов пишет шифрованные письма на волю, и через верных людей они пересылаются в швейцарский город Цюрих его другу — искровке Доре Бергман. Письма эти найдены в архивах царской охранки, которая перехватила их и частично расшифровала. Они написаны в дни, когда М. М. Литвинов, Н. Э. Бауман и другие искровцы уже готовили побег из «Лукьяновки». Вот одно из них. Оно написано в середине июля 1902 года.

— Здравствуй, мой дорогой и милый друг...

Однобокость моих писем зависела главным образом от излишней осторожности. Письма наши ходят хотя и по надежным рукам, однако совершают такой длинный путь, что невольно каждый раз боишься за их участь...

В настоящее время у нас в тюрьме семьдесят четыре человека. Публика самая разношерстная, начиная с искровцев и кончая одним бывшим уголовным, обвиняемым теперь в агитации среди крестьян. Последний субъект — личность довольно подозрительная. За последнее время новых обитателей тюрьмы поставляет Киевское рабочее знамя, говорят, что среди них есть провокатор... Ты спрашиваешь почему все искровцы попали в киевскую тюрьму? Но ведь это не совсем верно, так как часть их сидит в Одессе и кажется даже в Питере. Но в общем ты права, утверждая, что все они здесь. Объясняется это лишь тем, что нашему генералу Новицкому 2 даны очень широкие полномочия и, очевидно, поручено специально это дело...

Как же я провожу свое время?.. Я с истинным наслаждением просиживаю иногда у окна во время вечерней зари по целому часу и наблюдаю эту бесконечную смену освещения и красок. И только тогда все эти тучи и облака и вся окрестность приобретут общий серый колорит и как бы погружаются в сон, они перестают занимать меня... Итак, как видишь, теперь я занят не особенно полезными делами. Но на это есть кое-какие оправдания. Во-первых, одно время не было писем не только от тебя, но и ни от кого из наших. Потом я стал ожидать чуть ли не каждый день приезда матери и свидания с нею. Различные препятствия задержали ее на целый месяц. Она приехала только девятого. Свидание дали в тот же день, продолжалось час без решетки...

После каждого твоего письма надежда увидеться с тобой вновь укрепляется во мне. Особенно порадовало меня твое решение прожить в благословенных палестинах еще несколько месяцев. Кто знает, быть может, обстоятельства не так уж долго будут прикреплять меня к одному и тому же месту. А ведь я твердо решил сейчас же при первой перемене места жительства двинуться туда, где ты теперь...

18 августа 1902 года десять искровцев — М. М. Литвинов, Н. Э. Бауман и их товарищи — бегут из киевской тюрьмы. Побег подготовлен организацией «Искры» и завершился успешно<sup>3</sup>. Пройдя невероятные испытания, искровцы вырываются после двухнедельной «отсидки» на конспиративных квартирах из Киева, блокированного жандармами, и переходят границу. 10 сентября 1902 года М. М. Литвинов отправляет своей матери, Х. Г. Баллах, в гор. Белосток коротенькое письмо.

— Из Лодзи Вам сообщили, вероятно, каким образом я распростился с Лукьяновским замком и с Россией (не навсегда). Известны Вам, значит, и некоторые подробности. Измучился я физически и нравственно за эти дни, как никогда. Но близок отдых. Десять дней чувствовал над головой дамоклов меч военного суда за побег, а теперь вне опасности. Поймите, что вследствие усталости писать не могу. Напишу из Берлина или Швейцарии.

Любящий Вас Макс.

Пока пишите Берн, до востребования... Привет всем.

С осени 1902-го до начала 1904 года М. М. Литвинов находится в Швейцарии, где становится агентом «Искры». Он переправляет «Искру» в Россию, а затем по поручению ЦК РСДРП некоторое время заведует типографией и экспедицией «Искры» в Женеве. М. М. Литвинова избирают членом администрации «Заграничной лиги русской революционной социал-демократии», которая поддерживала связи с русскими организациями, заботилась о революционерах, бежавших из России. Касса большевистской партии была часто пуста, учитывалась каждая копейка, каждый сантим, пфенниг, гульден или марка. В те годы М. М. Литвинов сам ведет бухгалтерию «Искры» и «Лиги», записывает каждый израсходованный грош.

Центральный Комитет РСДРП отправлял «Искру» не только в Россию. К этому времени российские социал-демократы установили тесные связи с социалистами в других странах, направляя им свои издания.

1 Киевское «Рабочее знамя» — социал-демократическая группа в России. Возникла в 1896 году. Партийные группы «Рабочего знамени» не входили в РСДРП. После разгрома этой организации в 1901 году остатки ее примкнули к «Искре».

2 Новицкий — начальник Киевского жандармского управления.

3 См. об этом воспоминания М. М. Литвинова «В борьбе за «Искру» — «Юность» № 10 за 1955 год.

Связь с друзьями в разных странах также лежала на обязанности М. М. Литвинова. Это видно, в частности, из переписки М. М. Литвинова с болгарским писателем и общественным деятелем Георгием Бакаловым (1873 — 1939).

Вот одно из таких писем. Оно послано из Женевы 5 июня 1903 года.

— Уважаемый товарищ! Все Ваши письма я своевременно передавал Блюменфельдукоторый, насколько мне известно, отвечал Вам. Очевидно, письма его не доходят.

Брошюры «Чего хотят с.-д.», «Задачи русской соц.-дем.», «Рассказы из истории Французской революции», «Песни революции» сегодня высылаю Вам.

Теперь вот такая просьба. В конце 1902 года Ст. Георгиев 2 предложил нам передать ему генеральное представительство по продаже «Искры», «Зари» и др. наших изданий на Балканском полуострове, на что он и получил наше согласие.

Мы ему высылали «Искру» по 10 экз., доставили несколько экземпляров «Зари» и т. д. Но когда мы обращались к нему с запросами относительно необходимого ему количества «Искры», а также по поводу уплаты денег, то Георгиев нам почему-то совершенно не отвечает. Посылали мы ему простые и заказные письма, но ответа нельзя добиться.

Не будете ли Вы любезны спросить Георгиева о причинах такого его отношения к нашим письмам. Это не по-коммерчески и не по-товарищески. Мы были бы Вам очень благодарны, если б Вы указали нам какой-нибудь аккуратный книжный магазин, который взял бы на себя представительство по продаже наших изданий в Болгарии, Сербии, Румынии и Черногории.

В ожидании ответа.

С товарищеским приветом

Заведующий экспедицией Литвинов.

Вскоре после назначения М. М. Литвинова заведующим типографией и экспедицией «Искры» в Женеве у него произошло столкновение с бывшим заведующим типографией Блюменфельдом. В 1902 году Блюменфельд бежал вместе с Литвиновым из «Лукияновки», причем Литвинов в полном смысле этого слова спас Блюменфельда от гибели. После II съезда РСДРП Блюменфельд стал меньшевиком, и пути двух бывших искровцев разошлись навсегда. Литвинов был назначен заведующим типографией и экспедицией «Искры» в сентябре 1903 года, когда меньшевики вели ожесточенную атаку против ленинской политики. Литвинов и был послан ЦК в типографию и экспедицию «Искры», чтобы осуществить там большевистское влияние. Блюменфельд встретил Литвинова в штывки, не разрешил взять ему текущий № 48, «Искры», запер Литвинова и Бонч-Бруевича в комнате, пытаясь задержать выпуск очередного номера «Искры». История эта разбиралась третейским судом ЦК РСДРП. Бонч-Бруевич и другие товарищи, присутствовавшие при инциденте, написали письмо в ЦК, в котором выразили свое возмущение поступком Блюменфельда. Письмо в ЦК пришлось писать и М. М. Литвинову. Мы публикуем выдержки из этого письма, в котором показано отношение М. М. Литвинова к поручениям партии, выражен его взгляд на партийную дисциплину.

Изложив историю конфликта, М. М. Литвинов следующими словами завершает свое письмо в ЦК РСДРП:

— ...Принимая во внимание, во-первых, что Блюменф[ельд], если, быть может, и не был официально извещен о назначении меня заведующим типографией, то во всяком случае знал, что и — член администрации, которой в силу состоявшегося недавно постановления

редакции принадлежит общее заведование всеми заграничными партийными учреждениями, в том числе и типографией, и контроль над ними.

1 См. следующее письмо.

2 Болгарский революционер,

Во-вторых, что в означенный день я явился в типографию для исполнения возложенного на меня Центральным Комитетом поручения — принять от Блюменфельда типографию.

В-третьих, — что «Искра» с момента выхода ее из печатного станка поступает в мое распоряжение, т. е. в экспедицию, и что постоянно при выходе каждого номера я лично забираю сперва небольшое количество для редакторов и др., получая уже затем остальное частями по мере выхода из печати, и что, следовательно, Блюменф[ельд] не имел никакого права протестовать и на этот раз против частичного получения мною № 48. и, в-четвертых, наконец, — что столкновение между мною и Блюменфельдом произошло на почве не личных, а организационных отношений. Я нахожу, что Блюменфельд грубым и дерзким тоном разговора со мной, угрозами вывести меня из типографии силой при помощи консьержа и совершением надо мной самого дикого насилия — лишения свободы на час — не только нанес мне сильное личное оскорбление, но и нарушил партийную дисциплину, обнаружив такое презрение к постановлениям высших инстанций партии и позволив себе возмутительно грубое обращение с товарищами по организации, а потому, протестуя против возможности подобных порядков в нашей Партии, я обращаюсь к Центральному Комитету с просьбой — разобрать это дело в возможно непродолжительном времени и высказать в той форме, в какой он найдет нужным, свое отношение к поступку Блюменфельда...

Агент Центрального Комитета Литвинов.

Еще в конце 1902 года на совещании агентов «Искры» в Женеве по единодушному решению М. М. Литвинов был избран секретарем всех транспортных групп организации «Искры», ему было, таким образом, поручено все транспортное дело партии, имевшее в ту пору громадное значение. Об этом свидетельствует тот факт, что план транспортных организаций «Искры» был разработан В. И. Лениным. В ведении этой организации находилась вся связь с Россией, не только транспортировка литературы, переброска партийных работников, но и отправка оружия в Россию для боев с царским самодержавием. После Третьего съезда РСДРП, воспользовавшись отсутствием М. М. Литвинова, О. А. Пятницкого и других большевиков, меньшевики подписали с членом ЦК Л. Б. Красиным договор о транспортировании литературы. Меньшевики обманули Л. Б. Красина, который не был полностью в курсе дела.

История эта была доведена до сведения В. И. Ленина в однобоком свете. Потом В. И. Ленин разобрался во всем этом деле, и договор с меньшевиками был расторгнут.

В связи с этой историей 19 — 20 июня 1905 года М. М. Литвинов пишет В. И. Ленину письмо:

— Дорогой Владимир Ильич!

Спасибо за доверенность. Злитесь Вы на меня без всякой причины. С... Никитичем 1 был у меня вполне определенный разговор. Он не хотел даже видеться с Сюртуком -. Но я его сам просил узнать, остается ли этот хамелеон в партии или нет. Урегулирование же отношений транспортной Берлинской группы и ЦК и назначение туда людей Ник[итич] предоставил мне. Мог ли я предположить, что Ник[итич] заключит договор с частной группой без меня, в то время, как он мог вызвать меня телеграммой... Хорошо также Вадим 3. Проект договора составлен им, а мне и слова не написал в Женеву. Нет, как хотите, за всеми глупостями не поспеешь. Мне необходимо было спешить в Женеву для составления маршрутов товарищам, но в Берлин-то мне зачем было спешить? ...Через полчаса уезжаю за границу. С дороги пришлю письмо для Никитича, тогда узнаете, в каком положении дело... Еду в Тильзит. Если немцы и там согласятся иметь дело с нами... тогда в руках Сюртука не



остается ничего. С ружьями вряд ли что-нибудь выйдет I. Немцы не советуют получать через швейцарскую таможенную. Об этом в следующем письме.

- 1 Партийная кличка Л. Б. Красина.
- 2 Партийная кличка меньшевика В. Л. Коппа.
- 3 В, М. Постоловский, большевик.

Крепко жму руку. Ваш Феликс 2

Либкнехт мне сегодня говорил о каких-то новых попытках примирения со стороны Каутского и Люксембург. В чем дело?

22 июня (н. с.) 1905 года М. М. Литвинов приезжает в Тильзит. Ночью в захудалом отеле «Кайзерхоф» на фирменном бланке гостиницы он пишет большое письмо Никитичу — Л. Б. Красину, в котором подвергает убийственной оценке договор с меньшевиками и требует его немедленного пересмотра. Вот выдержки из этого письма.

— Дорогой товарищ! О договоре Вашем с Сюртуком я узнал лишь в Берлине и был крайне-крайне поражен. Оставляю в стороне вопрос о том, насколько было целесообразно подписывать его, не посоветовавшись со мною. Вадим составил проект договора, имея возможность, но не счел нужным сообщить мне в Женеву о новых планах. Я мог поспеть в Берлин до Вашего отъезда, если бы Вы воспользовались давно установленным телеграфным сообщением между Берлином и Женевой. Пятницу? Вы вызывали, но Сюртук позаботился даже о том чтобы он раньше Вашего отъезда в Берлин не приезжал. Я глубоко убежден, что договор не увидел бы света, если бы Вы захотели узнать мое мнение. Я нахожу договор невыгодным для нас, т. е. для ЦК и для Партии во всех отношениях... Сюртук утверждает, что ЦК не должен иметь никаких других транспортных организаций, что следовательно даже связи, которые пока только известны мне или Пятнице, или которые я буду приобретать, должны сообщаться транспортной группе. Этим ЦК совершенно закабалится посторонней непартийной группой, снабжение партии заграничной литературой ставится в зависимость от доброй воли людей, которые в смысле устойчивости взглядов... и использования даруемого им доверия зарекомендовали себя с самой худшей стороны...

Получение литературы с той стороны 4 для меньшинства на севере Сюртук должен был бы поручить меньшевикам же, а этим в их руки передаются наши транспортные связи, известные до сих пор только мне. Я, естественно, отказался бы ударить палец о палец для получения и передачи меньшевистской литературы...

Если Вы найдете мои действия неправильными, не соответствующими интересам Партии или наносящими ущерб престижу ЦК, то можете, конечно, отменить их и восстановить силу договора в том объеме, в каком это желательно Сюртуку. Верный партийной дисциплине, я подчинюсь Вашим решениям, но нам в таком случае было бы необходимо лично объясниться...

В 1906 году М. М. Литвинов выполняет чрезвычайное поручение III съезда РСДРП — занимается транспортировкой оружия для Закавказской и других большевистских организаций. Штаб-квартира М. М. Литвинова в это время находится в Париже, он разъезжает по всей Европе, размещает заказы, готовит новые транспортные пути, добывает деньги для закупки оружия.

В марте 1906 года М. М. Литвинов пишет в Петербург, в ЦК. Письмо это было перехвачено охранкой. Обнаружено в архивах Департамента полиции.

1 До III съезда РСДРП в Англии было закуплено оружие для боевых групп в России. Когда М. М. Литвинов прибыл в качестве делегата на III съезд в Лондон, ему было поручено принять это оружие и, используя старые искровские пути, отправить его в Россию.

2 Феликс — одна из партийных кличек М. М. Литвинова. Другие его партийные клички: Папаша. Гаррисон, Кузнецов, Латышев, Нитц, Граф, Лувинье, Ка, зимир, Максимович.

3 Известный большевик О. А. Пятницкий.

4 То есть из России.

— Дорогие друзья! Постараюсь ответить на интересующие Вас вопросы:

1) Немцы ' уделили нам 10.000 марок и передали их одному товарищу (Kohn), которого Дейч назначил уполномоченным. Деньги на этих днях будут вручены Аб-ву 2. Чтобы не переводить денег туда и обратно, предлагаю оставить эти деньги здесь, а вы сможете соответствующую сумму удержать из кавказских денег. Орловский вчера уехал в Брюссель, а оттуда направится в Лондон и Париж. По слухам, сообщенным даже в «Форвертсе», в Международном бюро для нас имеется 700.000 марок '.

2) Горький отсюда на днях уехал в Швейцарию несколько отдохнуть. Ждем с нетерпением Г.5, чтобы немедленно двинуться в заокеанские страны. Оттуда получены сведения, советуют поспешить приездом...

\*

Особое место в эпистолярном наследии М. М. Литвинова занимают его письма Владимиру Ильичу Ленину. Интенсивную переписку с Лениным Литвинов вел, в частности, в лондонский период своей деятельности (1908 — 1918), когда, по предложению Владимира Ильича, он избирается секретарем большевистской группы, а вскоре назначается представителем РСДРП в Международном социалистическом бюро (МСБ). Владимир Ильич внимательно следит за деятельностью М. М. Литвинова, пишет ему и получает от Литвинова обширнейшую информацию о положении дел в МСБ и вообще в международном рабочем движении. Часто эти письма адресовались Владимиру Ильичу и Надежде Константиновне. Здесь следует сказать о форме обращения Литвинова. Ленину он писал «Дорогой Владимир Ильич». Обращение к «Ильичам» неизменно начиналось словами «Дорогие друзья». В. И. Ленин и Н. К. Крупская называли Литвинова «Дорогой друг». После Октября 1917 года форма обращения к Ленину меняется; свои письма Литвинов обычно начинает словами: «Глубокоуважаемый Владимир Ильич». Так Литвинов обращался только к Ленину. Никакая сила не могла заставить его отойти от этого своего принципа, и он остался ему верен даже в ситуациях весьма сложных, как это было, например, после начала Великой Отечественной войны, когда Литвинова возвратили к дипломатической деятельности. В декабре 1941 года он прибывает в Вашингтон в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла Советского государства. Через несколько дней советник посольства представляет М. М. Литвинову на подпись служебное письмо в Москву в самую высокую инстанцию. Письмо это начиналось словами: «Глубокоуважаемый...» Прочитав проект письма, Литвинов слово «Глубокоуважаемый» перечеркнул и написал «Уважаемый».

Наиболее интенсивной переписка М. М. Литвинова с Владимиром Ильичем Лениным была в 1913 — 1915 годах. Это объясняется тем, что перед началом первой мировой войны партия большевиков вела огромную работу в международном социалистическом движении с целью мобилизации сил для предотвращения мировой бойни. М. М. Литвинов, являвшийся представителем РСДРП в Международном социалистическом бюро, проводил там точку зрения В. И. Ленина, большевиков. В те годы меньшевики и недруги русского рабочего движения за рубежом распространяли всякие небылицы о положении в РСДРП. По поручению Владимира Ильича Литвинов распространил среди делегатов МСБ документы Поронинского совещания, которое проходило в Польше в сентябре 1913 года под председательством В. И. Ленина и определило задачи партии по некоторым важнейшим вопросам ее политики.

1 Речь идет о немецких социал демократах.

2 Один из сотрудников Литвинова по отправке оружия для большевистских организаций.

3 В. В. Боровский.

4 Речь идет о Международном социалистическом бюро, в котором РСДРП имела своего представителя — сначала В. И. Ленина, а в 1914 году по предложению В. И. Ленина туда был назначен представителем М. М. Литвинов.

6 Видимо, речь идет о П. Г. Смидовиче.

В январе 1915 года в Лондоне собралась конференция социалистов стран Антанты, на которую большевики не были приглашены. По поручению В. И. Ленина М. М. Литвинов явился на эту конференцию. 14 февраля делегат РСДРП Максимович (под этой фамилией присутствовал М. М. Литвинов на конференции) огласил декларацию, в которой заклеил предателей рабочего класса. Владимир Ильич высоко оценил эту деятельность М. М. Литвинова. В газете «Социал-демократ» (№ 40) была опубликована статья В. И. Ленина, в которой Владимир Ильич писал: «Печатаемая нами декларация тов. Максимовича, представителя Центрального Комитета РСДРП, дает полное выражение взглядов партии на эту конференцию».

\*

После Октябрьской революции М. М. Литвинов по телеграмме Совнаркома назначается советским полпредом в Англии, где его вскоре бросают в тюрьму Брикстон. Советское правительство обменивает М. М. Литвинова на английского контрразведчика Брюса Локкарта. Почти тридцать лет продолжалась дипломатическая деятельность Литвинова. Как правило, письма М. М. Литвинова, относящиеся к этому периоду, весьма лаконичны. Он переписывается с В. И. Лениным, дипломатами, избирателями-ленинградцами, которые послали его депутатом в Верхсизный Совет, друзьями по революционной борьбе. К сожалению, письма, относящиеся к этому периоду деятельности М. М. Литвинова, собраны еще далеко не полностью.

В конце октября 1933 года М. М. Литвинов по поручению Советского правительства направляется в Соединенные Штаты Америки, где ведет переговоры с президентом Ф. Д. Рузвельтом об установлении дипломатических отношений между СССР и США. Миссия М. М. Литвинова завершается успехом. Прорита последняя брешь во внешнеполитической изоляции Советского государства. Самая крупная и мощная капиталистическая страна признала СССР. Но на горизонте возникла новая опасность — возрождающаяся милитаристская Германия. Ее надо было изолировать.

20 декабря 1933 года, вскоре после возвращения из США, М. М. Литвинов пишет А. М. Коллонтай<sup>1</sup>.

— Дорогая Александра Михайловна, поглощен делами по горло. Наша дипломатическая работа только начинается. Она никогда не была столь ответственна, как теперь, а тут еще Буллит, которому приходится уделять внимание, ибо он считает себя не только послом, но и моим личным другом<sup>2</sup>.

1 А. М. Коллонтай (1872 — 1952) — известный советский дипломат, крупная деятельница международного женского движения.

2 В. Буллит — первый американский посол, аккредитованный в Москве после установления дипломатических отношений с США; вел себя крайне назойливо и нелояльно, чем вызвал в себе неприязненное отношение М. М. Литвинова

\*

1936 год. Советская страна ведет борьбу за мир, против происков фашистской Германии. М. М. Литвинов в эти годы значительную часть времени находится за границей, выступает в Лиге Наций, встречается с дипломатами, отдавая все силы созданию системы коллективной безопасности.

17 июля 1936 года М. М. Литвинову исполнилось шестьдесят лет. Он находится в этот день вдали от Родины, на берегу Женевского озера, в Эвиане, где проходила международная конференция. Совнарком Союза ССР и ЦК ВКП(б) шлют ему приветствие: «В день Вашего шестидесятилетия Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) приветствуют Вас, старейшего деятеля большевистской партии, руководителя советской дипломатии, неустанного борца против войны и за дело мира в интересах всех трудящихся. Желаем Вам здоровья и дальнейших успехов в работе...»

Множество телеграмм поступает в Эвиан на имя М. М. Литвинова. Не желая загружать телеграф отдельными ответами на многочисленные приветствия, М. М. Литвинов через ТАСС просит разрешения послать ответ всем, кто поздравил его в день шестидесятилетия:

— Дорогие друзья и товарищи! Я глубоко тронут выраженными вами чувствами и добрыми пожеланиями. Многие из вас знают, как я не люблю юбилеи и чествования. Юбилейные заметки в печати мне даже иногда кажутся проектом некрологов, но живой юбиляр, конечно, лучше воспримет их, нежели покойник, и может дать ответ на них. Конечно, не особенно приятно в день 60-летия, измеряя жизненный путь, лишний раз убедиться, что остающийся путь значительно короче пройденного. Но если верно изречение Оскара Уайльда, что человек имеет столько лет, сколько он их чувствует, то ваши поздравления по поводу моего шестидесятилетия весьма преждевременны. К тому же энтузиазм работы, которым мы все охвачены при строительстве социализма на нашей родине, молодит всех нас и гонит всякие мысли о конце жизни, ибо наша личная жизнь целиком сливается с жизнью нашего великого коллектива страны трудящихся, а эта жизнь бесконечна.

В особенности это сознает человек, который 35 лет своей жизни, т. е. почти всю сознательную жизнь, прожил большевиком и не может мыслить себя вне марксистско-большевистского мирозерцания. Чем дальше мы продвигаемся в осуществлении наших идеалов, тем содержательнее и полноценнее становятся проживаемые нами годы, которые должны измеряться не количеством, а качеством. По этим соображениям прошу скинуть мне половину годов и шестидесятилетним не считать.

Еще раз благодарю вас за память обо мне в сегодняшний день и желаю вам всем встретить свой 60-летний юбилей и дальнейшие юбилеи с таким же чувством бодрости, молодости и веры в наше светлое будущее, какое испытываю я сегодня.

Жму вам всем руки.

Литвинов.

\*

В 30-х годах международная обстановка была накалена до предела. Гитлеровская Германия захватывает одну европейскую страну за другой. Тревога, которую испытывал М. М. Литвинов, пронизывает его частные письма. 11 июня 1938 года он писал своей жене А. В. Литвиновой в Свердловск, где она тогда вела курс английского языка:

— Моя дорогая! Наши письма снова скрестились. Я помню, что ты говорила, будто не любишь поздравлений с днем рождения, но сейчас после твоего письма, мне кажется, что ты не совсем равнодушна к этим условностям. Как бы то ни было, мы с Мишей 1 послали тебе телеграмму в день твоего рождения.

Об отпуске и думать не приходится. В прошлом году только я один и ездил в отпуск, в этом покамест никто и не заикается об отпусках. И уж во всяком случае я больше не поеду за границу. Все курорты, представляющие для меня интерес, практически уже или в

скорости будут в руках Германии. Если и поеду нуда, то не раньше октября, после того, как вернусь из Женевы.

У нас тут великолепная погода. Так странно слышать о «бурях, ветре и дожде». Как бы то ни было, я наслаждаюсь дачей. Разумеется, в Крыму в июле тебе покажется слишком жарко.

Незачем писать тебе больше, так как надеюсь вскоре видеть тебя.

Твой Максим.

В конце марта — начале апреля 1939 года М. М. Литвинов ведет переговоры с Японией. Японские дипломаты пытаются выторговать наиболее благоприятственный режим для ведения активного шпионажа против СССР в дальневосточных водах.

3 апреля 1939 года М. М. Литвинов пишет жене:

— Милая, получил твое письмо сегодня и спешу послать тебе несколько строи. Меня тревожит твой бронхит, ведь у тебя он был уже этой зимой, и я знаю, как это прилипчиво...

Только теперь, когда мы нанонец подписали рыболовное соглашение, я почувствовал, как я устал — до изнеможения. Японцы меня измучили. Несколько раз мне приходилось брать себя в руки... Рад, что кончилось...

У нас здесь гостила 4 — 5 дней британская делегация. Глава — типичный представитель государственных кругов нахального образца, его жена англизированная американка. Очень энергичная и жадная до развлечений. Каждый вечер ходила в театр... «Лебединое озеро» с Улановой привело их в настоящий восторг...

Хочешь «Панч» 2? Пришли или привези назад все номера, так как они принадлежат нашей библиотеке.

\*

В мае 1939 года М. М. Литвинов был освобожден от обязанностей Народного комиссара иностранных дел СССР. Этот вынужденный отход от активной политической деятельности длится до начала Великой Отечественной войны.

С июня 1941 года по ноябрь 1941 года Литвинов находится в Наркоминделе — в Москве и Куйбышеве. В ноябре 1941 года Советское правительство назначает М. М. Литвинова Чрезвычайным и Полномочным Послом Советского Союза в США и заместителем Народного комиссара иностранных дел. До отлета в Америку М. М. Литвинов занимается, в частности, литературной деятельностью, пишет статьи и очерки для зарубежной прессы, в которых показывает великую роль советского народа и Красной Армии в борьбе против фашизма.

Вот его письмо жене, А. В. Литвиновой, из Москвы в Куйбышев от 15 августа 1941 года.

— Моя дорогая!

Пишу тебе седьмой раз, а от тебя имею лишь одно письмо...

Получил на днях телеграмму от редактора «Рейнольде ньюс», просившего прислать месседжз. Посылал, но имел затруднения с переводом. У меня ни стенографистки, ни машинистки английской нет, от руки писать не мог, а потому пришлось послать для перевода в Информбюро, но перевод меня не удовлетворил, пришлось внести много поправок, а переписывать у меня некому, нет даже пишущей машинки.

1 Михаил Литвинов, сын М. М. Литвинова.

2 Английский иллюстрированный журнал.

3 Месседж — политике литературное письмо.

Пишу это все, чтобы ты догадалась, как я вспоминал тебя.

Но я и без того вспоминаю и думаю о тебе постоянно. Чувствую иногда угрызания совести, что слишком рано отправил тебя и подвергаю тебя неудобствам и неприятностям, но сроки трудно было точно предвидеть, а вообще это было правильно и неизбежно.

У нас здесь ничего нового нет... На воздушные тревоги не обращаем никакого внимания...

Пиши почаще. Крепко целую. Павла > тоже.

Твой Максим.

12 ноября 1941 года М. М. Литвинов вылетает в Соединенные Штаты Америки. 24 дня и 24 ночи летел 65-летний М. М. Литвинов от Куйбышева до США. Вылетел он из Куйбышева на «Дугласе», вооруженном пулеметом на случай встречи с фашистской авиацией. Путь пролегал через Астрахань, Баку, Тегеран, Багдад, Карачи, Калькутту, Бангкок, Сингапур, Филиппины, Гавайские острова. От Багдада до Сан-Франциско был совершен перелет на «летающей лодке». М. М. Литвинов вылетел с Гавайских островов за сутки до нападения японцев на Пирл-Харбор.

18 декабря 1941 года М. М. Литвинов пишет из Вашингтона в Москву сыну и дочери — Михаилу Максимовичу и Татьяне Максимовне Литвиновым:

— Мои дорогие Мишук и Танюша. мы писали вам подробно из Баку, Тегерана и Багдада... Надеюсь, наш «мальчик» доставил вам все эти письма, или пилот нашего «Дугласа». Всего мы задержались на три дня в Баку, три — в Тегеране и два — в Багдаде. Дальше все шло по расписанию, без задержек, но все же мы прибыли сюда лишь 7 декабря (а вылетели мы из Куйбышева 12 ноября). Летели мы от Багдада до Сингапура на английском гидроплане, а дальше на американском. Английский был удобнее, спинку сидения можно было нажатием кнопки откидывать назад, и у сидений были столики, на которых можно было закусывать и держать книги, да и бюрократизма было меньше со стороны обслуживающего персонала, зато на американском «клиппере» были кровати, в которых можно было ночью спать, а иногда и днем (как в спальнях вагонах)...

До Сингапура «клиппер» каждые 3 — 4 часа снижался у какого-нибудь побережья, реки или озера, и это несколько разбивало монотонность полета, а некоторые из этих остановок были чрезвычайно интересны. Почти на всех остановках нас встречали и приветствовали местные власти (таково, очевидно, было распоряжение вице-короля Индии и Идена 2). От Сингапура до Сан-Франциско мы летели над Тихим океаном с раннего утра до вечера, а раз даже 20 часов без остановки. Снижались мы обыкновенно в 5 — 6 часов вечера, а на аэропорт отправлялись в 2 — 4 часа утра. В Маниле мы провели сутки, по 1 ночи на островах Гуам, Уэйк и Мидуэй и 20 часов в Гонолулу...

Между Рангуном и Сингапуром мы снижались на полчаса в Бангкоке (столица Сиам), где представитель Сиамского правительства приветствовал меня на русском языке (он учился когда-то в русской военной школе). Были там английский и американский посланники и норвежский консул, но любопытнее всего была встреча с двумя буддийскими епископами в желтых платьях, обратившихся ко мне по-русски с пламенной патриотической речью, закончившейся возгласами в честь СССР и Красной Армии. Они оказались выходцами из Латвии, служившими когда-то в буддийском храме в Ленинграде. Впечатлений набралось столько, что не могли «переварить» их. Ведь мы впервые видали пальмовые рощи, кокосовые пальмы, каучуковые и тростниковые плантации и т. п...

Все же мы очень уставали от полетов, особенно над Тихим океаном, где мы ничего не видели под собой, кроме облаков и океана. Правда, в американском «клиппере» мы ежедневно играли в бридж, но все же не высыпались, ибо рано вставали. Тошноты все время не было, но на большой высоте (17 000 футов) мое сердце напоминало о себе.

В Карачи Петрова 3 сильно заболела, и мы чуть было не оставили ее там, но она оправилась. Народу перевидали множество, преимущественно из англо-индийского чиновничества, военных и моряков. Новости узнавали через местные газеты и по радио. В Маниле и Гонолулу нам говорили, что они там хорошо слышат Москву (не Хабаровск ли?). Больше всего нам понравилось Гонолулу, где адъютант губернатора нас возил по всему

острову и показывал достопримечательности. По местному обычаю, встречавшее нас начальство надевало на нас венки из цветов (это называется «leis»), с которыми нас фотографировали. Неожиданные задержки в Тегеране и Багдаде, из-за которых я должен был отказаться от более короткого пути на Африку и повернуть на восток, раздражали меня и даже сильно огорчали, зато нам повезло в Сингапуре. Мы туда прибыли в пятницу и должны были там пересест в американский «клиппер», который по расписанию отлетает раз в неделю по средам. К нашему счастью, последний до нашего приезда «клиппер» прибыл туда из Сан-Франциско с опозданием и вылетел вместо среды в воскресенье, забрав нас. Если б мы оставались там до среды, то сейчас подвергались бы там бомбежке японцев или должны были бы повернуть обратно на Ирак. Через полтора дня после нашего отъезда из Гонолулу состоялась воздушная и морская атака японцев на этот город.

1 Павел — внук М. М. Литвинова.

2 Антони Идеи, министр иностранных дел Великобритании в годы второй мировой войны.

3 Анастасия Владимировна Петрова, помощница М. М. Литвинова. Находилась вместе с ним в США в 1941 — 1913 годах. Ныне сотрудница МИД СССР.

В Сан-Франциско мы провели несколько часов и вылетели на специальном самолете в Вашингтон. Это был самый удобный из всех наших самолетов, и я отлично выспался, а то чувствовал себя в последний вечер совершенно обессиленным, и приходилось сосать кислород. В общем, поездка была интересная и поучительная. Все время обсуждали вопрос, как было бы с Павликом. Не знаю, как он чувствовал бы себя, но маме было бы страшно трудно. Не думаю, чтобы Павлик легко перенес это путешествие, особенно переходы из куйбышевского мороза к тропической жаре и обратно к осеннему холоду Вашингтона. Наше положение было невыносимым, когда мы в своих шубах очутились в тропиках (ведь Сингапур находится почти на экваторе). Приходилось уже начиная с Тегерана обзаводиться все более и более легкой одеждой, вплоть до трусиков. Все же жара порой была совершенно невыносима. Двигаясь на восток, мы должны были все время переводить часы вперед. В одном месте на Тихом океане мы потеряли целые сутки. Среда продолжалась двое суток.

Но вот мы наконец у цели. Застал здесь сотни писем и телеграмм с приветствиями и, что гораздо хуже, с приглашениями выступить на разных собраниях. Такие выступления здесь являются одной из посольских обязанностей. Здесь часто устраиваются в разных городах собрания дружественной Russian War Relief Fund i, на которых собираются большие деньги. Я принял твердое решение, чтобы никого не обижать, всем отказывать, по крайней мере на первых порах. На одно собрание мама поехала вместо меня и имела большой успех. Там было собрано 25 000 долларов!! Я выступал лишь раз, перед представителями прессы... Мое заявление появилось целиком в крупнейших газетах. Это было и полезно. Работы у меня много. Приходится делать много визитов и принимать множество народу. Гулять и отдыхать не приходится. К вечеру страшно устаю и не успеваю выспаться. У посла в Вашингтоне в два раза больше работы, чем в любой другой столице, да и момент теперь такой ответственный. Иногда думается, что я взял на себя задачу не по силам или не по возрасту. Авось как-нибудь вытяну.

Квартира у нас хорошая... Город большой и чрезвычайно благоустроенный. Улицы длиной в 12 — 15 километров. Они большей частью занумерованы, а перпендикулярные к ним носят названия букв от A до Z, так что очень легко ориентироваться.

Пробовал было раз сходить на концерт по приглашению Эгона Петри, но после 1-го номера меня вызвали к президенту (я у него был уже четыре раза!). Слушаю иногда музыку по (радио вперемешку с рекламными объявлениями. Несмотря на войну, пресса еще продолжает интересоваться каждым нашим шагом. Мама стала как-то прихрамывать из-за волдыря, и по телефону начали звонить: «How is Her Excellency's blister?» Вчера какая-то газета сообщила, какие я покупал подтяжки в магазине. Вследствие навязанной нам

прививки оспы у мамы появилась здесь какая-то сыпь, а газеты раздули это в серьезную болезнь (сыпь уже исчезла). Странная страна и странные люди.

Часто вспоминаю о вас и о Павлуше. Хотелось бы вас видеть. Не знаю, когда это письмо дойдет до вас. Дайте телеграмму о получении и сами пишите через НКВД.

Крепко целую. Папа.

24.12. Отправка письма отложена, и я могу еще дописывать письмо...

К здешним нравам. Стоит мне появиться на улице, как ко мне подходят незнакомые люди и со словами «You are Mr L? I recognised you from your photo» 3, суют мне свою руку, хлопают меня по плечу и с широкой улыбкой отходят. Какая-то газета сообщила, что за время приема журналистов я пил orange-Juice 1. Через несколько дней какой-то фермер из Флориды прислал корзинку отличных апельсинов с вырезкой из той газеты.

Знаешь ли что-нибудь о Штейне 5? Где он? Передай ему привет от нас троих.

8.1 — 1942 года. Отъезд курьера снова был отложен до сегодняшнего дня. К сожалению, нет времени дополнить письмо, да и так тебе хватит чтения на долго... Еще раз целую. Крепкий, но нежный поцелуй Павлуше. Очень хотелось бы иметь его здесь, но увы это невозможно уже.

Папа.

Танюша! По прочтении перешли Мише.

17 июля 1942 года он пишет сыну Михаилу из Вашингтона в Москву:

— Мой дорогой Мишук, я был очень тронут твоей сегодняшней телеграммой. Мы спорили с мамой, вспомнишь ли, и она оказалась права. На днях мы получили большую почту от Тани 7 и от Флоры 8, но досадно было не получить ничего от тебя. Ведь за все время от тебя ни строчки, хотя от Тани получали почту 4 — 5 раз. Я понимаю, что досуга у тебя мало, но все же... Ничего не знаем о твоей жизни и о предстоящем, кроме того, что отлично занимаешься, чему я, конечно, несказанно рад.

1 Американская организация помощи России в войне.

2 Прошел ли волдырь у ее превосходительства?

3 Вы мистер Литвинов? Я узнал вас по фотографии.

4 Апельсиновый сок.

5 Борис Ефимович Штейн, советский дипломат, доктор исторических наук. В годы войны являлся советником Наркоминдела.

6 17 июля — день рождения М. М. Литвинова.

7 Татьяна Максимовна Литвинова, дочь М. М. Литвинова.

8 Флора Павловна Литвинова, невестка М. М. Литвинова.

Тебе я писал несколько раз. Ничего нового. Вести с фронта угнетающие, хотя события мною предвиделись и предсказывались.

Мама увлекается писанием и рисованием. Есть У нее и урок музыки с известным сенатором, который усердно приходит к ней каждое утро (начинающий ученик). На дачу мы так и не выехали, хотя и были подходящие... В наказание изнываем здесь от жары и влажности. Белье прилипает к мокрому телу, на котором сухого места не остается. Провели в спальню air condition 1, но это понижает температуру лишь на 3 — 4 градуса. Термометр показывает в среднем в комнате 27 — 30°C, а на улице 33 — 39°. По несколько раз в день в ванну лезешь, а то нагишом ходишь по комнате. Неприятнее всего влажность...

Крепко целую. Твой папа.

Очень скучаю по Павлуше.

P. S. Только что прослушал по радио первое исполнение в США 7-й симфонии Шостановича под дирижерством Тосканини. Приглашали в Нью-Йорк в радиоцентр, но не хотелось ездить. Обыкновенно трудно бывает с первого раза охватить и оценить симфонию, но в данном случае необычайное величие произведения ощущалось сразу. Впечатление осталось чудесное. Избранная аудитория (это не был публичный концерт) аплодировала без



конца. Собираюсь съездить на первое публичное исполнение этой симфонии Кус, вицким 14 августа. Удалось ли тебе слушать симфонию?

Вскоре после победы под Сталинградом М. М. Литвинова отзывают из Соединенных Штатов Америки. В США на аэродроме М. М. Литвинова провожает вся советская колония, весь дипломатический корпус, представители американской общественности и правительства. На всем пути следования крупнейшего советского дипломата встречают и провожают официальные представители многих стран. М. М. Литвинов летит через Майами (Флорида), Порто-Рико, Британскую Гвиану, Бразилию, остров Вознесения на Тихом океане, Аккру (Золотой Берег), Нигерию, Судан, Каир, Иерусалим, Тегеран. В Натале (Бразилия) самолет, на котором следует М. М. Литвинов, делает вынужденную посадку на американской военной базе. Перед американским гарнизоном М. М. Литвинов выступает с пламенной патриотической речью, в которой доказывает неизбежность и закономерность победы Советского Союза, его вооруженных сил над фашистской Германией и ее сателлитами.

Двенадцать суток летит 67-летний М. М. Литвинов, завершив перелет вокруг земного шара, начатый в ноябре 1941 года. 21 апреля 1943 года он прилетает в Москву. На аэродроме его встречает дочь Татьяна.

Из Москвы сыну Михаилу, лейтенанту Советской Армии, М. М. Литвинов пишет 23 апреля:

— Мой дорогой Мишук, по вызову начальства прибыл сюда... Ехал сюда в предположении, что обратно в США не поеду... Твой товарищ сказал Тане, что ты будешь здесь 4-го июня... Если понадобится, то буду хлопотать перед твоим начальством о разрешении тебе слетать сюда на несколько дней.

Крепко целую. Твой папа.

После возвращения в Москву М. М. Литвинов остается на посту заместителя Народного комиссара иностранных дел. Он все время размышляет над послевоенным устройством мира, разрабатывает планы, как сохранить гигантский престиж, добытый Советским Союзом в результате победоносной войны над фашизмом, с возрастающим беспокойством следит за происками международной реакции, которая сколачивает новый тайный фронт против СССР.

1 Кондиционированный воздух.

\*

Среди переданных мне семьей М. М. Литвинова писем и документов есть экземпляр газеты «Известия» за 9 мая 1945 года. Экземпляр этот исключительно интересен.

В газете напечатан подписанный накануне акт о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. А сверху, над заголовком газеты, Максим Максимович написал четким, ясным почерком:

— Мише, Павлу и моему дальнейшему потомству на память о сегодняшнем историческом дне разгрома материальных сил фашизма.

Какая точность политической формулировки! В мае 1945 года был завершен разгром материальных сил фашизма. Но тлетворный дух фашизма, его гнусная идеология не искоренены. Те империалистические силы, которые после первой мировой войны породили коричневую чуму и поощряли ее подготовку против страны социализма, против человечества и самых светлых его идеалов, теперь, поддурманивая и перелицовывая фашизм, снова подкармливают и подхлестывают его. С его помощью они стремятся развязать новую мировую войну. Семена фашизма дают ядовитые всходы в США. Фашизм поднимает голову в Западной Германии. Он протягивает свои кровавые руки к свободной Кубе. Он сбрасывает бомбы на города и деревни Вьетнама.

Такого развития событий и опасался в те майские дни 1945 года М. М. Литвинов, старый боец ленинской гвардии. Он неустанно призывал человечество к бдительности, к борьбе с наследниками фашистской идеологии, с империализмом.

\*

Последние годы жизни М. М. Литвинов был вне дипломатической деятельности. Он часто переписывается с А. М. Коллонтай. Вот его письмо от 16 июня 1948 года:

— Дорогая Александра Михайловна! Мое письмо Вы, надеюсь, получили. Сейчас пишу деловое.

Мне предложило издательство написать рецензию на шведско-русский словарь. Должен был, к стыду своему, признаться в своем невежестве. Но вот осенила меня мысль: не возьметесь ли Вы за сие дело. Речь идет об оценке словаря (не для печати, а для самого издательства: стоит ли печатать). Составлен словарь моей бывшей сотрудницей Милановой 1. Думается мне, что издательство было бы обрадовано, если Вы затем согласитесь редактировать словарь.

В сороковых годах А. М. Коллонтай работала над своими литературными записками, пересылала их на отзыв М. М. Литвинову. 23 июня 1949 года он пишет ей:

— Дорогая Александра Михайловна, спасибо за письмо. Выражаю сочувствие по случаю бесцеремонной погоды, которая мало приятна и нам, горожанам.

Вернул Ларисе Ивановне 2 все Ваши тетради. Воздерживаясь, согласно Вашей просьбе, от похвал, должен, однако, сказать, что читаю Ваши записки с неослабевающим интересом. Запоздало сочувствовал Вам в Ваших заботах о селедке, треске и тюленях, которым Вы должны были уделить внимание наряду с лирическими отступлениями и поэтическими описаниями красот природы. Вы, конечно, влюблены в Норвегию. Я всегда жалел, а теперь еще больше жалею, что она осталась в стороне от моих многочисленных экскурсий по Европе. Собирался туда каждое лето, но так и не собрался. Что ж, человеку всегда суждено умереть, чего-то не совершив и не доделав.

А сколько позабытых эпизодов и лиц Ваши записки воскресили в моей памяти! Большущее Вам спасибо. Нечего и говорить, что буду бесконечно благодарен за дальнейшую литературу этого рода. Крепко жму руку и желаю здоровья и хорошей июльской погоды.

Ваш Литвинов.

В конце июля 1948 года М. М. Литвинов уезжает в грязелечебницу в Кемери (Латвия). 2 августа он пишет А. М. Коллонтай:

, — Дорогая Александра Михайловна!

Пишу Вам в пространство, не знал, где Вы сейчас находитесь — в Москве или в Чкаловской. Хочу надеяться, что, несмотря на гнилое лето. Вы чувствуете себя окрепшей и извлекли все ценное из своего пребывания на лоне природы.

Как в Москве, так и здесь приходится бороться за грязь, в которой мне отказывали было. В общем, битва за грязь выиграна, но толку мало, даже никакого. Никакого улучшения пока не чувствую. Утешают меня тем, что эффект может сказаться спустя некоторое время уже в Москве. Что ж, вооружимся оптимизмом и утешимся. Ничего более не остается.

Отвлекаясь от безрезультатного лечения, должен сказать, что во всех других отношениях здесь было хорошо. Внимание и уход не оставляют желать лучшего. Чувствую себя все время свободным генералом. Воздух отличный, есть общество, кино и другие развлечения. Много ли человеку нужно. Уезжаю с чистой совестью, совершив в пределах грязного все грязное, а там пусть медики отвечают.

До скорого. Крепко жму руку.

Привет Эмме Генриховне ! Ваш Литвинов.

М. М. Литвинов высоко ценил не только дипломатическую деятельность А. М. Коллонтай, но всегда помнил о ее значительном вкладе в международное демократическое женское движение.

8 марта 1950 года, в Международный женский день, он пишет ей:

— В этот день хочется в первую очередь поздравить Вас, дорогая Александра Михайловна. В самом деле, нельзя думать о какой-либо другой современнице, которая сделала бы столько же, сколько Вы, для женщин, и не только нашего Союза, но и всего мира. К сожалению, не могу поздравить лично или по телефону, а поэтому приходится на почте, с запозданием.

1 Диза Эдуардовна Миланова, член КПСС с 1917 года, сопровождала М. М. Литвинова в поездке в Данию в 1919 году.

2 Лариса Ивановна Степанова, машинистка Наркоминдела, работала с А. М. Коллонтай в Стокгольме и Москве.

3 Эмма Генриховна Лоренсон — близкий друг и секретарь А. М. Коллонтай.

Получил Ваши письма, но второе меня обеспокоило. Хочу надеяться, что Ваше недомогание действительно вызвано реакцией на перемену места, что оно уже прошло и что Барвиха уже взяла свое.

Вы правы: свобода от мелких домашних волнений и неприятностей играет большую роль. Я это чувствовал в прошлом году в Кемери и даже в больнице.

Вашу рукопись я уже вернул Ларисе Ивановне. Читал ее, как и все Ваши заметки, с захватывающим интересом. Воскресло столько моментов из прошлого, совершенно уснользнувших из моей ослабевшей памяти...

Ваш М. Литвинов.

А. М. Коллонтай часто упрекала М. М. Литвинова в том, что он не пишет мемуаров. М. М. Литвинов никогда не вел записей, дневников и т. д. До революции он этого не мог делать, ибо почти всегда находился на нелегальном положении, вынужден был скрываться не только от царской охранки, но и от полиции всей Европы. После революции, когда М. М. Литвинов находился у руководства советской внешней политикой, старая привычка революционера-конспиратора не позволяла ему вести записи, да и времени не, было. 18 января 1951 года он пишет А. М. Коллонтай:

— Дорогая Александра Михайловна!

...Писать я, увы! разучился (физически), ибо за все время после революции я ничего от руки не писал и привык диктовать стенографистке, так что следовать Вашему совету уже по этой причине не могу, не говори о более серьезных причинах...

Ваш Литвинов.

До конца своих дней М. М. Литвинов не переставал думать об интересах Родины и партии, многое мучило его, не давало покоя. Он размышляет о судьбе будущего поколения — советской молодежи. В начале лета 1951 года А. М. Коллонтай прислала М. М. Литвинову книгу Н. К. Крупской о В. И. Ленине. За шесть месяцев до своей кончины, 2 июля 1951 года, М. М. Литвинов сообщает Александре Михайловне, что прочитал книгу Н. К. Крупской.

— Дорогая Александра Михайловна, с большой благодарностью возвращаю воспоминания Крупской. Читал или скорее перечитал запоем. Как много картин из собственного прошлого вставало в памяти. Как много сочувствия вызывают переживания, сильные переживания Ильича, и до чего же он был humane 1.

Трудно, однако, отделаться от чувства досады, что Кр[упская] ограничилась такими отрывочными, случайными и неполными воспоминаниями. Учитывая ее близость к Ильичу и ее функции его бессменного секретаря, можно было ожидать более полного и разностороннего описания эпохи. Кому бы написать историю партии, если не Крупской?

Что ж, спасибо и за эту книжку, являющуюся ценнейшим вкладом в историю партии и родины. Жаль, что она недоступна нашей молодежи<sup>1</sup>, так мало знающей Ильича, как человека, и что нет продолжения.

Надеюсь, Вы вполне оправились от болезни и наслаждаетесь на лоне природы...

Ваш Литвинов.

Это — одно из последних писем М. М. Литвинова Александре Михайловне Коллонтай.

Ясность мысли, верность революционным идеалам, беспредельная преданность делу, которому он отдал всю жизнь, сопутствовали М. М. Литвинову до конца, до последнего дыхания.

### 3. ШЕЙНИС

1 Humane — человечен.

2 В те годы книги П. К. Крупской о В. И. Ленине не было в библиотеках.

Эстрада

А. Алексеев

Я — конферансье

Алексея Григорьевича Алексеева знают у нас как режиссера и драматурга, но многие ли сейчас помнят, что долгие годы он был на советской эстраде одним из первых и лучших конферансье? Искусство конферанса — необыкновенно сложное и тонкое и, добавим, одно из самых «дефицитных». Тому много причин.

Публикуя отрывок из автобиографической книги А. Алексеева «Серьезное и смешное» (она выходит в этом году в издательстве «Искусство»), редакция «Юности» надеется привлечь к проблеме конферанса внимание нашей молодежи, так любящей веселое и жизнерадостное искусство эстрады.

Я приступаю к самой, казалось бы, знакомой и близкой мне теме, но, как ни странно, и самой трудной — о своей основной, легкой и мучительной, любимой и ненавидимой профессии — о конферансе.

Что же это такое — конферанс и кто такой конферансье? Человек ли это, непрерывно острящий?

Нет. Мне кажется, что нет. Что может быть навязчивей, надоедливей собеседника, который все время пытается острить? Как в природе крупица золота окружена грудой породы, так острота, мне кажется, должна изредка сверкать среди серьезного. А когда даже самый остроумный человек извергает свои остроты ежесекундно, поневоле крупица подлинного остроумия тонет в горах словесного шлака; вы, конечно, наблюдали это па вечеринках, на заседаниях и просто при встрече на улице...

Но если конферансье не «беспрерывный остряк», какова же его функция в концертной программе? Объявлять номера? Тогда он «ведущий». Мне кажется, конферансье — это хозяин вечера. Любезный, умный, веселый и... остроумный.

Толстой в «Войне и мире» говорит, что хозяйка, когда «вечер... был пущен», «подходила к замолкнувшему или слишком много говорившему кружку и одним словом или перемещением опять заводила равномерную, приличную разговорную машину».

Но у толстовской хозяйки была одна гостиная, а у меня две: в зрительном зале — вы, зрители, а на сцене и за кулисами — актеры. И те и другие — мои гости. Я, конферансье,

должен познакомить вас, позаботиться о том, чтобы вы друг другу понравились во время концерта.

Вот вечер-концерт «пущен». На сцене один за другим Козловский, Барсова, Хенкин, Смирнов-Сокольский, Ярон, Гельцер, Гоголева, Качалов (да, таковы сплошь и рядом были концерты в Колонном зале или в Консерватории). За этих артистов я, конечно, спокоен. Но вот сейчас надо выступать молодой певице в первый раз в жизни в ответственном концерте, рядом с «богами»... Она доверительно сообщает мне, что «почему-то голос не звучит», и «ноги одеревенели», и «что-то поташнивает; может, лучше не петь?».

Разве это не тема для заговорщицкого разговора со зрителем? И я наскоро успокаиваю дебютантку: сегодня очень восприимчивая и ласковая публика. И иду готовить эту публику. Хотя бы так: «Для следующего номера программы мне необходимо ваше участие. Нет, не бойтесь, я не заставлю вас ни петь, ни танцевать. Но сейчас мы с вами будем присутствовать при рождении нового таланта. Первое выступление! И первые нервы! И вот от вас требуется товарищеская поддержка! Я же ручаюсь вам, что через несколько лет вы будете хвастать перед знакомыми: «Я аплодировал ей на дебюте! Я один из первых почувствовал в ней дарование!»

И молодую певицу встречают аплодисментами!

Но этого мало. Когда она уже на сцене, я должен сказать что-нибудь лишнее эту встречу официальности, вызвать улыбку у зрителей и у дебютантки. Хотя бы так: «Сейчас наша новая знакомая, Лидочка Иванова... (теперь ей) можно вас так называть?., (а теперь в зал), и вы, если вам понравится, кричите: «Браво, Лидочка!» Так вот, сейчас Лидочка споеет... (и опять ей:) Отчего вы так волнуетесь? Что в первый раз с ними встретились? Так они же тоже с вами в первый раз встретились, а не волнуются! Так вот, сейчас...» — Я называю арию, и Лидочка Иванова чувствует, что ей не нужно завоевывать зрителей, «разогревать» их, а надо только не уронить, не снизить настроения, созданного конферансье, и ей гораздо легче начать. И упавшее сердце возвращается на свое место, лихорадочное дыхание и пульс выравниваются, и голос звучит, и ноги становятся эластичными!

Но и тогда, когда на сцене не новичок, а кто-либо из перечисленных «столпов», и он исполняет уже третий номер, и обеспечен четвертый вызов на аплодисменты, а вы за кулисами организуете дальнейшее течение концерта, — и тогда внимание, слух, вся душа ваша там, на сцене: как принимают?

Уже много лет мой друг Тамара Семеновна Церетели со смехом вспоминает концерт в Ленинграде. Ее чудесно принимали, она спела четыре песни и, вполне уверенная в том, что ее и дальше будут вызывать, хотела уйти за кулисы... Но мое профессиональное ухо уловило спад аплодисментов, я выскочил на сцену и удержал ее, шепнув: «Не уходи, а то аплодисменты потухнут». Она повернулась, пошла к роялю, и аплодисменты вспыхнули с новой силой! Вырос успех актрисы, вырос успех концерта.

Итак, выяснили мы, что такое конферанс и кто такой конферансье. Вы скажете: «Что там выяснять? Подойдите к любой афише и узнаете кто; пойдите в концерт и узнаете что». Нет! На афише в наше время по большей части написано: «Конферанс и интермедии — такой-то или такие-то», а если написано «конферансье», то это не прежний жанр конферанса. И нелепо, когда на собраниях эстрадных артистов или в прессе раздаются голоса-вопросы: нужен ли этот старый (или новый) жанр? Новый существует, его охотно принимает зритель, у него есть талантливые исполнители, так что ж, запретить его, что ли? Конечно, нет! Но... мне кажется, нужно немножко... обуздать его, надо, чтобы нынешние конферансье немножко больше думали о концерте и чуть-чуть меньше о себе! О том, каким был «тот старый» жанр, и хочется поговорить. Я попробую назвать несколько фамилий и разобраться в их своеобразии.

Да, именно своеобразии. И если можно сегодня о чем-либо пожалеть, так это не о том, что на сцене вместо одного — два или три конферансье, а именно об исчезновении своеобразия. Нынче писатели-юмористы пишут так называемые интермедии и репризы, концертные организации размножают их и раздают конферансье; даже в тех случаях, когда

эти сценки или диалоги пишутся специально для того или иного актера, их все равно «заимствуют», «дублируют», «тоже исполняют»; сценки и диалоги эти не имеют своей индивидуальности, потому что и исполнители зачастую не имеют своей индивидуальности. Все сценки подходят всем исполнителям. Между тем прежде нельзя было представить себе, чтобы конференсье мог говорить со сцены то, что выдумал для себя другой. Не по мерке было. Стили были разные.

Балиев был конференсье-москвич. Не московский конференсье, а именно конференсье-москвич. На сцену выходил розоволицый, широкоулыбчатый, упитанный, радостный жизнелюб, хозяин-хлебосол: москвич! (Пишу с чужих слов: никогда не видал его на сцене.)

Алексеев (этого я хорошо знаю) — конференсье-петербуржец. На сцену выходил худощавый, безулыбчатый или ехидно улыбающийся, тщательно одетый, очень любезный, гостеприимный, но сдержанный хозяин-собеседник: петербуржец.

Менделевич — это немножко несуразный человек. И одет он был хорошо, и внешность приятная, и говорил традиционным московским говором, а манера держаться чуть неуклюжая: какие-то деревянные руки и ноги. Выйдет на сцену, скажет что-нибудь совершенно неожиданное, абсолютно парадоксальное и потому очень смешное, повернется и уйдет, разбросав руки... В устах другого его шутки не звучали бы, и тем более нелепо было бы представить себе Менделевича, говорящего чужие остроты!..

А Гибшман? Представьте себе явно некрасивого человека, но симпатичного в своей некрасивости. Круглое бритое лицо, огромная лысина, окаймленная торчащими вверх почти рыжими волосами, большой рот, который еще увеличивался, когда он улыбался: губы у него всасывались внутрь, а углы рта высоко поднимались, и получалось то, что называется «рот до ушей». Его умное, шафранового цвета лицо при этом все собиралось в крупные складки-морщины и как-то сразу глупело; он как будто никак не мог плавно изложить свою мысль: начинал фразу и бросал ее, долго жевал одно и то же предложение и вдруг, как бы поняв, что до логического конца все равно не дойти, неожиданно заканчивал: «Ну вот...», или «Вот именно», или «А впрочем...» Отмахивался от зрителей рукой и уходил. Это было очень смешно и весело, и когда после Гибшмана выходил на сцену актер, о котором он только что говорил, зрители опять смеялись: настолько путанные объяснения Гибшмана не соответствовали облику артиста.

Наши молодые конференсье, ищущие интересный образ для эстрадных выступлений, задавали мне вопрос: можно ли теперь использовать такую маску «вечного путаника»? Конечно, можно. При остроумном тексте: человек, якобы не умеющий, но все же издевающийся над большими и малыми язвами, якобы глупый, а на самом деле ехидный — о, это дает простор для шаржей и злых насмешек! Конечно, в наши дни нельзя просто «быть смешным», посмеиваться ни над чем, нет, надо в любой маске, как писал Гоголь, смеяться сильно, и над тем, что достойно осмеяния всеобщего.

Я глубоко убежден, что общение со зрителем — это основное для конференсье качество — возможно в любом образе. Казалось бы, при парном конференсе невозможно включить зрителя в «треугольник» актер — конференсье — зритель: ведь всем ясно, что конференсье играют, разыгрывают заранее выученные сценки. А вот Лев Борисович Миров всегда находит, создает ту ниточку, которая связывает этот треугольник. Миров говорит либо непосредственно с залом, либо через партнера. Хотя он беседует с Новицким, и чуткий Новицкий в тон отвечает, спорит, доказывает, оба увлечены разговором, но... вы все время чувствуете, что это не для вас говорят, с вами разговаривают они! Вас, зрителей, как бы призывает Миров быть судьями: кто прав — он или Новицкий. И он делится с вами торжеством, когда оказывается правым, или смотрит на вас добродушно-смущенным взором, когда правда у Новицкого. Это его связь со зрителем.

А какая у него связь с артистами данного концерта или спектакля? Вот Миров и Новицкий разыграли свою интермедию, зрители аплодируют; казалось бы, можно раскланяться, уйти, потом выйти уже в качестве «ведущего» и просто назвать следующий

номер программы; но Мирон при малейшей возможности старается не «объявить», а «подать» номер, связать артиста с его публикой — иногда импровизационно, а иногда подготовленной шуткой.

Почему же это удается Мирону и Новицкому и не удается многим другим «парным» конферансье?

Во-первых, потому, что оба они актеры, а не случайные люди на сцене, во-вторых, потому, что они талантливы (собственно говоря, это во-первых!), и, в-третьих, потому, что они хотят и добиваются этого.

Вот уж кто как будто не конферансье, а уже сорок лет конферирует! И как конферирует! Не только умно, не только весело, но и танцевально-вокально-музыкально! Это Леонид Осипович Утесов. Все концерты его оркестра пронизаны особым, южным, темпераментным, именно утесовским юмором.

Вот он сказал что-то очень смешное, и не успела публика «отсмеяться», как он с какой-то ухмылкой, то ли хитро!;, то ли наивной, отворачивается якобы смущенно («Что это я сказал!»), вот он уже дирижер, он весь в музыке, и музыка в нем...

Жаль, что публике не видно, как в эту секунду преображается лицо Утесова, как он из балагура превращается во властного, даже сурового вдохновителя своего коллектива.

Но отзвучал оркестровый номер, и Утесов опять конферансье, и он идет к вам, на авансцену, ибо если место дирижера среди музыкантов, то место конферансье среди публики!

Блестящий, своеобразный конферансье пропал в Аркадии Райкине. Помню, в первый его приезд в Москву он в «Эрмитаже» вел программу и впервые показывал свои пародии: прочитал начало стихотворения про Мишку, потом оборвал себя и стал изображать, как бы этот рассказ читали разные люди. Это были тонкие, остроумные, сдержанные карикатуры. Слушал я их с удовольствием, но... не мог освободиться от чувства досады: жаль было, что он не рассказал нам до конца в своей мягкой, нежной манере про жизнь этого обаятельного Мишки... На сцене был не просто человек, умеющий имитировать, читать на голоса, преображаться, смешить, не талантливый человек, а талантливый, образованный, профессиональный актер. А ведь как часто мы видим на эстраде людей случайных, что-то умеющих делать, но с низеньким-низеньким артистическим потолком и узеньким диапазоном!

Райкин никогда не показывает имитаций, он не просто «играет похоже», как многие другие, у него всегда пародия, освещенная мыслью, злой шарж, и только иногда, для «перебивки», что ли, рисует он мягкие, «сострадальные» портреты.

Я уверен, в своих портретных шаржах Райкин мог бы обойтись без аксессуаров; носы, бороды, усы — все это у него для того, чтобы избежать пояснительного текста (сейчас, мол, будет профессор или хулиган) и сразу говорить от их имени.

И, конечно, есть у Аркадия Исааковича последователи и «заочные ученики», но есть и просто подражатели, более или менее способные шукари, у которых носы — самоцель: с носом смешнее! — и вот носы сменяют носы разных форм, калибров, цветов, носы с усами и без усов, носы с насморками, с угрями. Но носы сами по себе, без того -райкинского, что рисует не характерность носа, а душу «носообладателя»!

И вот что еще определяет успех и ценность Райкина — огромное сценическое обаяние. А что такое обаяние? Приветливость? Да, но не только. Красота? Нет, можно быть обаятельным уродом. Я могу определить обаяние как чувство симпатии, которое человек вызывает помимо своих стараний. Этим чувством вы проникаетесь с появлением Райкина на сцене, и оно не покидает до конца спектакля.

В опере артист может быть длинным, коротеньким, толстым, худым, симпатичным или отталкивающим, — все это не имеет большого значения, ибо любовь публики к певцу определяется главным образом его голосом. В драме и внешность и обаяние уже имеют

большое значение. А на эстраде отсутствие сценического обаяния играет решающую роль: без него путь самого талантливого артиста эстрады к сердцам зрителей труден и тернист...

Но, несмотря на все сценические данные Райкина, труден его путь в искусстве. Каждое утро репетиции, и каждый вечер в течение всего спектакля он на сцене, но, к сожалению, не как конферансье!.. Конечно, к сожалению, для тех эгоистов, которым дорог этот вид искусства. Хотя... ведь у Райкина нет конферансье, он сам ведет программу. Так, может быть, он все-таки конферансье? И да и нет! Он не хочет (а не «не может») быть остроумным, смешным между номерами! Очевидно, потому, что надо же и передохнуть зрителям, но... ведь и нельзя снижать настроение и нельзя ни на минуту создавать будничную атмосферу: спектакль должен быть праздником все время. Значит, и Райкин должен быть радостным все 120 — 150 минут спектакля! И вот туг-то и сказывается неподражаемая особенность Райкина как конферансье: он не смешит, не острит — он излучает радость, ласковую веселость! Вот он закончил пьеску или монолог. Аплодисменты. Поклоны? Нет, он стоит и улыбается. Но что в этой улыбке? Скромность и озорство! Смущение: «Вот что я натворил!» Озорство: «Хотите, натворю еще!» И публика хочет, очень хочет! Ибо в эти минуты злой насмешник Ранкин удивительно добр!

\*

Прежде публика могла любить конферансье и, может быть, из-за него ходить в театр, ждать его появления, но все-таки он был не номером в концерте, а фоном этого концерта и, как ни странно, не должен был иметь личного успеха. «Как? — (просите вы. — Конферансье не должен был иметь успеха? Это парадокс». Если бы меня спросили: кто из конферансье популярнее, кто имеет вообще больший успех у публики, — я, может быть, ответил бы. Но иметь видимый, осязаемый успех в каждом данном концерте, а тем более при каждом выходе на сцену между номерами — такой успех был противопоказан конферансье.

Мне, конечно, очень хотелось, чтобы публика, уходя со спектакля или с концерта, говорила про меня хорошо, по внешние выражения успеха, аплодисменты во время концерта мешали мне, а еще больше мои аплодисменты мешали другим участникам концерта. Нет большей помехи для артиста, нет большего неудобства, чем выходить па чужие аплодисменты! И если за удачный ответ, за веселую реплику мне аплодировали, — честное слово, я останавливал публику движением руки. Потому что эти аплодисменты вышибали меня из ампула, я становился рассказчиком, исполнителем, а это, мне кажется, конферансье может себе позволить один-два раза в вечер. Но если зритель в антракте или уже у вешалки вдруг осознает, что настроение-то, общий тон концерта, приятность его создавал конферансье, и помянет его добрым словом, — конферансье сделал свое дело!

Иные конферансье жалуются: дескать, хорошо было вам говорить тонкие остроты, публика была другая, теперь требуется острить поглубже и подходчивее. Смело можно сказать им: ложь! Когда конферансье в самом захудалом клубе говорит на тему, интересную для слушателя, и говорит хорошим литературным языком, весело и остроумно, никакая «тонкость» не сделает его «недоходчивым»! Было бы только интересно!

Было время (совсем недавно), когда всех конферансье, огулом, упрекали в некультурности; их называли профессиональными пошляками, неприязательными остряками, про их неостроумное остроумие сочинялись остроумные анекдоты, и, увы, часто эти упреки были справедливыми...

В чем же дело? Неужели не было остроумных и культурных конферансье? Нет, были, конечно, были, но когда на фабриках и заводах, а потом на фронте количество концертов необычайно возросло, а квалифицированных конферансье не хватало, выступать в этом ампула стали (и в массовом масштабе) неудачники из драмы, домашние остряки и главным образом... эстрадные администраторы!

«А почему бы и нет? — рассуждали они. — Не боги горшки обжигают! Мы ежедневно слышим и Менделевича, и Амурского, и Гаркави. Ничего трудного:



разговаривают, острят, и никто не знает, сами острят или повторяют чужие остроты. Так почему мы не можем повторять их репризы, которые мы потихоньку записали дословно?»

И могли! Напяливали на себя чужой юмор, не по их мерке сшитый. И замарали, испошили, огрубил этот тонкий жанр. Настолько, что на вопрос «Кто вы?» ответить «Я конференсье» было стыдно.

К счастью, период этот прошел. Появились на эстраде молодые конференсье, может быть, чересчур во многих жанрах «умеющие» и поэтому ни в одном не подлинные «умельцы», но это культурные люди, хорошие и остроумные актеры. И часто авторы! Я говорю об их недостатках, но с огромным удовольствием снимаю с них хотя бы тень подозрения в непрофессиональное!!! и в пошлости. Они заслуженно нравятся зрителям — одним больше, другим меньше, и мне кажется, что они всем нравились бы больше, если бы выступали чуть поменьше.

Как-то администраторша ВГКО сказала при мне: «Как мне спокойно, когда концерт ведет Гаркави! Я знаю, что пауз не будет, недоразумений не будет, обид не будет. Гаркави будет вести концерт, а не выступать! Конечно, он будет стараться иметь свой успех, но не за чужой счет!» Потому, добавлю я, что он был остроумным человеком и обладал тем, что немцы называют «шлагфертихкайт» — готовностью отразить удар, находчивостью. А отразить удар — вовсе не значит грубо ответить; можно и необидно высмеять, а можно отразить удар и... молча. Году в 1911-м или 12-м в Россию приехал па гастроли самый популярный тогда кинокомик Макс Линдер. В Одессе он выступал в оперном театре. До его появления показывали картину о том, как он едет в поезде, как приезжает па вокзал, как выходит из экипажа, входит в театр, и... в этот момент Макс, живой Макс Липдер спускался по веревке с колоспиков на сцену. Прием был оглушительный.

Вечером, после спектакля, мы принимали его в литературно-театральном клубе. Мне, тогда только-только начинающему конференсье, поручили приветствовать его (потому что я знал язык). После приветствия он обещал показать несколько сценок, но попросил меня не уходить, а прослушать и перевести стихотворение, которое он для начала прочитает. В первой фразе я не понял ни слова... Второй абзац — опять ничего... После третьего я понял, что понять нельзя: он читал так, как мы в детстве читали «Стрекозу и Муравья» — переставляя слоги: стрековья и муразей! Ия улизнул за кулисы. Закончив, он повернулся в мою сторону с ехидной улыбкой, но... меня не было: я стоял у противоположной кулисы и тоже ехидно улыбался! Макс Линдер подошел ко мне, взял об руку и, смеясь, повел к середине сцены. В дальнейшем вечер «протекал в откровенной и дружеской обстановке». Удар был отражен молча.

\*

С первого моего выступления в театре «Би-ба-бо», когда волнение охватило меня, оно не отпускает меня и по сегодня... Как более полувека назад, так и теперь, в дни, когда мне приходится выступать в «случайных» концертах (а то и за несколько дней до этого), жизнь моя испорчена: я все время будто на сцене, и все у меня получается плохо...

Зато в ту секунду, когда я вышел на сцену, я у себя дома! Куда девалась моя застенчивость! Все свои люди! Все мои гости, доброжелательно смотрящие на меня и уверенные, что я не обману их надежд и покажу им хороший концерт. Да, это те, кого я боялся весь день и даже только что, когда с трепетом смотрел на них в дырочку занавеса! Помните, у Куприна: «И шевелится черная бездна зрителей — то обожаемое, презируемое, милостивое и щедрое, тысячеглавое животное, которому имя — публика...»

И вот я один на один с этим «тысячеглавым»... Я всматриваюсь в «бездну»... Нет! Нет! Моя публика, наша сегодняшняя публика — это не купринское «презируемое, милостивое», нет, я не презираю, и меня не милуют, — мы равные, мы уважаем друг друга, и мы друзья...

Конечно, не все: вот в первом ряду развалился и смотрит на меня сонными глазами — этого не возьмешь... Вот в пятом — читает газету!! Тоже не мой... Слева — сложила руки на груди, прищурила глаза и смотрит на меня выжидательно, даже слегка пренебрежительно: это, мол, что еще за птица? И эта не моя...

Ага! Вот мои!.. Девушка и юноша, ее рука в его руке, оба чуть нагнулись вперед, застыли с полуоткрытыми губами, готовыми расплыться в улыбку, только скажи им что-нибудь интересное! А чуть левее старый, чуть старомодный дядя показывает на меня своей совсем молоденькой соседке (конечно, дочь) и быстро шепчет, смеясь, а она вздернула брови и смотрит на меня с улыбкой и любопытством. О, этот, может быть, помнит меня еще по Петербургу и рассказывает дочери... Вот эти псе мои! Для них я буду говорить, с ними я буду разговаривать!

Но как же начать? С чего? Надо же дать им понять, что я не только актерский посланец к ним, но и их представитель у актеров, что я знаю их жизнь и интересы, что сейчас за кулисами актеры будут спрашивать меня: какая сегодня публика? Хорошая?..

Так как же это сделать?

Нет, сделать этого нельзя; надо действительно знать их жизнь и их интересы, и не только вообще, а сегодняшние, вот в этот вечер. А для этого надо хорошо знать, чем живет страна, народ, что он любит и кого ненавидит, то есть знать большую политику. Но не менее важно знать и малую, локальную, что ли, политику: чем дышит сейчас твоя аудитория.

Афишные, открытые концерты — только малая величина по сравнению с огромным количеством закрытых концертов в клубах, на заводах, в воинских частях. Концерты эти устраиваются после торжественного или просто делового заседания. Я всегда старался приехать до начала концерта и послушать, о чем говорят на заседании. Это и есть то, что я назвал малой, локальной политикой. И когда я, открывая концерт, говорил, шутил не только на общие темы, но и на тему вечера, касался только что прошедшего заседания, упоминал удачных и неудачных ораторов, — это сразу делало меня «своим человеком», добрым знакомым, знающим их фабричные, заводские радости и горести. А если я свой человек, то дальше уже легко: ведь у своего человека зритель может посмеяться любому намеку на юмор, улыбнуться навстречу любой его улыбке...

Позвольте мне вспомнить и привести несколько эпизодов из моей практики.

На заре стахановского движения я приехал в один из клубов за час до концерта. Сажу в зале и слушаю, о чем говорят. Среди прочих выступает молодая работница-ударница, не очень грамотная, но очень толковая, деловитая, симпатичная. Рассказывает о том, чего добилась она и ее товарищи и чего они хотят добиться. Говорит горячо, умно и все время объясняет, чего «они хотят» и чего «мы хотим». Повторяет эти слова так часто, что даже ее подруги в зале тихонько посмеиваются.

Окончилось заседание, начинается концерт, выходит конферансье (я). Говорит, шутит и как будто даже знает дела заводские. И про выступавшую молодую ударницу говорит серьезно, с симпатией и заканчивает так: «...Я надеюсь, нет, я уверен, что концерт у нас с вами пройдет хорошо, важно только захотеть, а ведь и вы этого хотите, и мы, артисты, хотим, нет, простите: мы очень хотим, и вы хотите, и все хотят!!»

Несколько минут я не могу успокоить аудиторию: все смеются, а та ударница хохочет, заливаясь. Я стою на сцене и аплодирую ей. Тогда весь зал поворачивается к ней и раздражается аплодисментами, и вдруг она подбегает к эстраде и протягивает мне руку, и... ия — свой человек! Ко мне обращаются запросто с вопросами, меня прерывают, а когда я называю фамилии танцоров, кто-то кричит: «А они хотят танцевать?» — и зал смеется, и я смеюсь, чего вообще не позволяю себе на сцене.

...Зовут меня на концерт в МГУ. Концерт закрытый, для студентов, можно не так уж волноваться: с молодежью легче; пожилые и у хорошего артиста выкопают что-нибудь плохое, а молодежь и у плохого что-нибудь хорошее найдет! И я любил выступать перед молодежью.

Приезжаю. Оказывается, мои студенты — юристы. Чудесно, я же сам бывший юрист. Выхожу на эстраду, здороваюсь и начинаю именно этими словами — о молодежной аудитории, которая мне по душе. «Особенно хороша, — говорю, — конечно, студенческая аудитория: это и молодежь и вместе с тем образованные люди, а я и сам когда-то окончил университет... Ну, объяснять вам, — заканчиваю я, — какой я окончил факультет, думаю, не надо, и так ясно: если человек получил высшее образование и занимается не своим делом, ясно, что он юрист!»

Хохот, аплодисменты. Все. Я — свой человек! Никакой анекдот, никакая смешная сценка, ничто так не связало бы меня (и па весь вечер) с моими гостями, как эта всем близкая по тем временам шутка.

...Концерт для солдат. Весь день я думал, искал в памяти, что я такого интересного знаю из военного быта? Ничего. И на месте ничего интересного не выведаль. Иду на сцену... И вдруг в последнюю секунду вспоминаю: я же сам был солдатом, расскажу и об этом! И рассказал им, как я, человек штатский, актер, попал в солдаты, в полк, изобразил в лицах свой разговор со взводным и как спросил его: «Кто директор полка?..» Тут грянул такой оглушительный молодой смех и так долго перекачивался из ряда в ряд, из угла в угол, что я никак не мог начать концерт. А когда я после антракта вышел на сцену, кто-то громко сказал: «О! Директор полка пришел!» — и опять был рецидив смеха, аплодисменты, конечно, не мне, а смешному, с точки зрения военных людей, положению, в которое я попал.

После концерта актеры говорили: «Сегодня как-то особенно тепло принимали всех». Чувствовалось, как молодая товарищеская радость плыла из зала на сцену.

...Во времена нэпа распоясавшиеся новобогачи не скрывали своего презрительного отношения к новому, избегали слова «товарищ», обращаясь друг к другу, говорили «гражданин» или «господин». Однажды в эстрадном театре «Кривой Джимми» я выхожу на просцениум. Перед первым рядом стоит толстый человек и громко препирается с кем-то, будто занявшим его место. Жду несколько секунд, потом обращаюсь к нему: «Позвольте все-таки начать, товарищ...»

И слышу наглый ответ: «Гусь свинье не товарищ!»

Я приподнял распростертые руки до уровня плеч, замахал ими, как крыльями, и сказал: «В таком случае улетаю...»

И движениями «умирающего лебедя» ушел со сцены... В зале поднялся такой шум, что нэпману пришлось удалиться. Тогда я начал спектакль.

...И еще один эпизод. Но передаю слово моему старому другу Леониду Сергеевичу Ленчу. Он в 1960 году описал в «Вечерней Москве», в фельетоне «Тени прошлого», случай, происшедший на концерте. Фельетон был написан в форме дневника нэпмана:

«...Ноябрь, 28. Были в эстрадном театре. Я, Захар Петрович, Боба и Мика. И плюс дамы. Вышел конференсье Алексеев и стал нахально прохаживаться насчет нэпманов. Нам это не понравилось, и Боб очень остроумно крикнул ему из зала: «Скотина!» Мы стали аплодировать. Тогда Алексеев поднял руку и громко сказал: «Дайте свет в зал! Я хочу видеть то, что слышал!» Весь зал зааплодировал, и Боба на всякий случай сделал вид, что уронил билет, и шарил по полу до тех пор, пока не начался новый номер».

Прочитав эти примеры диалогов и шуток, рождающихся на сцене, вы, мой требовательный читатель, может быть, разведете руками и скажете:

— А что же тут интересного? Что остроумного?

А я и не выдаю это за эталон сообразительности и рассказал только потому, что сейчас много говорят и спорят о возможности и нужности экспромта в конференсе и молодежь часто спрашивает: расскажите, какие у вас бывали случаи? Я знаю и понимаю, что экспромт в пересказе — вещь скучная; шутка, острота, брошенная в зал, нравится именно своей неожиданностью, а повторенная не на сцене, она уже вчерашнее разогретое блюдо: ни свежести, ни аромата, ни вкуса. Когда артисты, слыша смех в зале, спрашивали меня: «Что вы сказали?» — я никогда не повторял шуток, а всегда говорил: «Не помню... Что-то ответил...»

Есть еще один вопрос, волнующий наших молодых эстрадных артистов: может ли конференсье вмешиваться во время исполнения номера? Сейчас это не принято. «Что вы! — говорят молодые конференсье. — Этого нельзя делать! Артист обидится! Как же я во время его номера буду говорить? А он будет ждать? На это никто не согласится!»

Но мы в свое время говорили, вмешивались, и никто не обижался, потому что наш разговор не мешал, а помогал, еще раз создавал дружеский треугольник: артист — зритель — конференсье.

С чудеснейшей певицей Марией Петровной Максаковой мы часто встречались в Колонном зале. Однажды она была в новом, очень элегантном платье, чувствовала себя в нем особенно красивой и поэтому хорошо пела. После двух-трех арий я не отпустил ее со сцены и вместо того, чтобы назвать очередную песню, стал вполборота к ней и начал пристально и задумчиво вглядываться в нее.

Она смущенно улыбнулась. Тогда я обратился к публике:

— Как судьба бывает несправедлива: одним дает все, другим ничего! Марье Петровне она дала все, что судьба может дать женщине: красивый голос, красивое лицо и красивое... платье!

И, не дожидаясь, когда окончится смех в зале, прокричал: «Ария Далилы из оперы Сен-Санса «Самсон и Далила»! И Марья Петровна с особым подъемом исполнила эту арию: она пела для людей, с которыми только что вместе смеялась...

...Тамара Семеновна Церетели как-то говорит мне:

— Сейчас буду петь новую песню, в первый раз. Послушай.

Это была «Ласковая песня» М. Фрадкина на слова Е. Долматовского. Припев у нее:

Пусть пройдет много лет,  
Ты мне так же будешь нравиться...

Аплодисменты после песни окончились. Я подошел, поцеловал Тамару в лоб и проникновенно сказал ей, показывая на зрителей:

Пусть пройдет много лет.  
Ты им так же будешь нравиться...

В зале кричали: «Правильно! Да! Да!» — и долго аплодировали.

Помешал я или помог?

Вот это искусство импровизации, эта современная «комедия дель арте» действительно почти утеряна. Мне говорят: нам не разрешают. Нет, дело не так просто. Тут порочный круг: вы не умеете, потому что вам не разрешают, а не разрешают вам потому, что вы не умеете! Не доверяют вам художественные руководители, опасаются, как бы вы не поставили себя в неловкое положение: ведь для того, чтобы позволить себе экспромтом шутить на сцене, не у всех конференсье достаточно «чувства конференса».

\*

Что легко в искусстве? Я за свою долгую жизнь на сцене испытал трудности актерства, режиссуры, драматургии, педагогики, конференса — всего, кажется, хлебнул — и смело утверждаю, что самое трудное — конференс. Когда Московский Художественный театр устраивал закрытые концерты для своих работников, я не раз там выступал. Однажды во время такого концерта Константин Сергеевич Станиславский сказал мне:

— Если бы мне пришлось остаться с глазу на глаз с публикой, без заранее выученного текста, вот как вы это делаете, я бы умер от разрыва сердца...

Да, трудная у нас профессия.

Как-то один очень ответственный по искусству товарищ спросил меня, почему у нас есть много великолепных артистов драмы, оперы, цирка, балета и так мало хороших конференсье.

— Потому что, — ответил я ему, — для того, чтобы быть тем, что вы называете хорошим, то есть своеобразным, не штампованным конференсье, надо раньше всего быть хорошим профессиональным актером; кроме того, надо быть режиссером (никто так не поставит тебе программу, как ты сам), надо быть немного писателем (опять-таки: никто так не...), надо быть образованным человеком и надо быть остроумным... Если хоть одного из этих компонентов нет, нельзя быть конференсье, если все эти компоненты есть, нет смысла быть конференсье,...

Это, конечно, шутка, парадокс, но...

Шутить! и век шутить! Как вас на это станет? —

бросает Чацкому Софья, обозленная его насмешками над отживающим...

Век шутить я еще не успел, но на полвека меня стало. И если я могу что-нибудь вспоминать без чувства досады, то именно то, что никогда не заискивал у дурного вкуса, всегда уважал своего зрителя и старался добиться его уважения, не только развлекал его, но старался в масштабе того маленького искусства, которому посвятил многие годы своей театральной жизни, помочь этому зрителю любить достойное любви, высмеивать, ненавидеть, презирать все, мешающее честно жить и радостно творить...

Наука и техника

Рэм Петров,  
доктор медицинских наук

Биологические ХИМЕРЫ

«Девиз фанатика: «Не сбивайте меня новыми фактами, я уже все решил» — это полная противоположность научному подходу».

Артур КЛАРК

исследование никогда не одиноко

Кому из ученых не знакома сложная гамма чувств, которая возникает, когда узнаешь, что исследование, задуманное тобой, уже выполнено другим? Тут и горечь: тебя опередили. Тут и радость: ты мыслишь правильно, это направление действительно дает важные результаты. Тут и польза: теперь уже не нужно проводить это исследование, можно двигаться дальше.

Но часто ли бывает, чтобы над одной и той же проблемой работали разные ученые в разных лабораториях, институтах, городах или странах? Не только часто. Так происходит всегда. Исследование никогда не одиноко прежде всего потому, что никакое исследование не начинается из ничего. Каждый поиск и его вершина — открытие — это функция развития науки, уровня знаний, накопленных наукой к определенному моменту. Нельзя было создать электрический двигатель и даже лампочку накаливания без знания законов возникновения и поведения электричества.

Мировая наука подобна человеческому интеллекту, накапливающему знания в течение жизни. Мировая наука в течение всей своей истории-жизни получает образование посредством научных исследований, открытий, наблюдений, обобщений. Образование

человека — это впитывание его интеллектом знаний, накопленных наукой за всю предыдущую историю. Впитав эти знания, человеческий разум может развивать их дальше.

Наука прошлого столетия не могла создать атомного реактора, так как была недостаточно образованна: она еще не знала строения атомов и возможностей их превращений. Такая задача была преждевременна для науки, подобно тому, как в свое время преждевременны были попытки алхимиков превратить свинец в золото. Так же и человеческий разум, не познавший закономерностей современной ему науки, не может ее развивать и совершенствовать. Биологически неграмотный человек не совершит открытия в биологии, он просто не будет знать, что делать. Но зато каждый по-настоящему грамотный исследователь знает важнейшие направления поисков, видит цели, работает над самыми актуальными проблемами.

Нет ни одной по-настоящему серьезной научной проблемы, которую разрабатывал бы только один человек.

Исследование никогда не одиноко. Оно всегда имеет прошлое — те идеи и факты, из которых оно родилось, тех людей, которые подготовили эти идеи и факты. Оно всегда имеет настоящее — тех, кто работает в одном направлении, двигаясь схожими или принципиально разными путями. Оно всегда имеет будущее — открытие нового явления и автора его.

Рано или поздно открытие придет. Автор обязательно будет. Если не тот, так иной. Один исследователь может лишь опередить другого. Иногда на несколько лет, иногда на несколько десятилетий. И зависит это не только от проницательности ума ученого, его умения работать, его таланта. Открытие — всегда дитя по крайней мере трех сил: современного уровня человеческих знаний, качеств ученого и условий, в которых он работает.

И нельзя удержать открытие в тайне бесконечно долго. Да что там бесконечно! Зачастую его нельзя удержать в тайне даже в течение года. Если о нем не будет сказано во всеулышание, оно будет совершено заново в другой лаборатории, в другом институте или в другой стране. История знает немало примеров, когда те или иные закономерности открывались вновь — иногда по прошествии нескольких десятилетий, иногда через несколько лет. А иногда — и отнюдь не редко — открытие совершается одновременно разными исследователями в разных частях света.

В 1865 году чешский ученый-монах Грегор Мендель доложил Обществу естествоиспытателей об открытии законов наследования биологических признаков. Это было столь ново, грандиозно и неожиданно, что «недостаточно образованная» наука того времени не оценила величия наблюдения Грегора Менделя. Оно не нашло отзвука и было забыто. О нем никто не упоминал в печати много лет.

Прошло три с половиной десятилетия...

Менделевские законы были открыты вновь одновременно тремя учеными, которые работали независимо друг от друга и не знали исследований Менделя. В самом начале 1900 года голландец Гуго де-Фриз опубликовал результаты своих опытов, итогом которых было открытие законов наследования признаков. О трудах Менделя Гуго де-Фриз узнал лишь после того, как полностью завершил свои эксперименты. В апреле 1900 года аналогичные результаты получил немецкий ботаник Карл Корренс, который тоже считал себя первооткрывателем основных генетических закономерностей. В июне 1900 года австрийский биолог Эрих Чермак совершил то же самое открытие; о работах Менделя и он ничего не знал.

Перечисление независимых исследований можно продолжать бесконечно. Не будем делать этого. Давайте поподробнее разберем одно из иммунологических открытий, которое было совершено одновременно и независимо друг от друга чехом Миланом Гашеком и англичанином Питером Медавара. Но прежде чем сделать это, придется хотя бы чуть-чуть познакомиться с самой иммунологией.

В Париже на одном из зданий висит мемориальная доска. На этой доске даты открытий Луи Пастера: «1857 — брожение, 1860 — самопроизвольное зарождение, 1865 — болезни вина и пива, 1868 — болезни шелковичных червей, 1881 — зараза и вакцина, 1885 — предохранение от бешенства».

1881 год — год рождения научной иммунологии. За год до этого в лаборатории начали изучать куриную холеру. Выделенный в лаборатории микроб был постоянно смертелен, если им заражали подопытных птиц. Смерть наступала через день-два. В каникулярный период работу временно прервали и пробирки с культурами микроорганизмов оставили в термостате при свободном доступе воздуха. Когда через три недели этими старыми культурами заразили кур, то они заболели, но... выжили. Неудачу решили исправить, и через несколько дней птиц заразили снова. Теперь уже свежей культурой. Но птицы даже не заболели.

Нужно было обладать гениальностью Пастера, чтобы на основании этого, казалось бы, неудачного эксперимента возникла обобщающая идея: если посредством неблагоприятных условий содержания понизить способность микробов вызывать болезнь и смерть, то они превращаются в препарат, создающий иммунитет против данной болезни. Великий Пастер научил человечество создавать иммунитет, то есть невосприимчивость к заразным болезням. Процедура создания иммунитета (например, прививка) была названа иммунизацией.

Через несколько лет великий Мечников создал первую теорию иммунитета. Он доказал, что «солдатами» иммунитета, специально несущими службу защиты организма от микробов, являются вездесущие клетки тела животных и человека с общим названием фагоциты (в переводе с греческого «фагос» означает «пожирающий»). Пауль Эрлих дополнил теорию иммунитета учением об антителах — веществах, которые появляются в крови животных и человека в случае проникновения микробов. Антитела обладают удивительным свойством соединяться с тем микробом, в ответ на который они вырабатывались, причем именно с тем, против которого они возникли, и ни с каким другим.

Так родилась иммунология. Родилась как наука о невосприимчивости к инфекционным болезням. С тех пор иммунологами проведена бездна наблюдений, сделано много открытий. Дерево науки дало десятки прекрасных плодоносных побегов, не имеющих отношения к инфекциям.

В 1898 году Жюль Борде ввел кролику не микробные клетки, а красные кровяные шарики — эритроциты, выделенные из крови животного другого вида — барана. Через несколько дней кровяная сыворотка кролика приобрела способность склеивать и растворять эритроциты барана. Именно барана! Эритроциты других животных и человека чувствовали себя в иммунной кроличьей сыворотке великолепно. Там были антитела, направленные строго против бараньих клеток. В это же самое время Николай Чистович иммунизировал животных не клетками чужеродной крови, а ее бесклеточной частью — сывороткой. И обнаружил в организме своих животных образование антител против вводимой сыворотки.

Вот так еще в конце прошлого столетия было показано, что реакции иммунитета включают не только микробами, но и целым рядом других веществ биологического происхождения. Все эти вещества, способные стимулировать выработку антител, были названы антигенами.

Любые живые клетки содержат в своем составе десятки антигенов. Сейчас в клетках человека найдено более 70 различных антигенов. Ученые объединяют их в 14 систем, главные из которых АВО, Резус, Даффи, Лютеран, Келл-Келлано, Льюис.

Оказалось, что, за исключением братьев или сестер-близнецов, нет людей, идентичных в антигенном отношении. И это не удивительно или по крайней мере не должно удивлять. Ведь не удивляет нас отсутствие интеллектуально или физически тождественных людей? Не удивляет и то, что каждый человек имеет свой неповторимый рисунок папиллярных узоров кожи на пальцах. Точно так же не существует и иммунологического

тождества. Все люди обязательно отличаются друг от друга по антигенам какой-нибудь системы, чаще по нескольким сразу. А это значит, что ткани любого человека по антигенам отличаются от тканей любого другого, чужеродны им.

Еще в начале столетия француз Алексис Каррель проделал многочисленные эксперименты. Животным пересаживалась кожа, почки или целые конечности. Если пересаживаемая ткань принадлежала оперируемому животному и лишь переносилась с одного места на другое, операция проходила успешно. Если ученый пытался пересадить ткань или орган от другого индивидуума того же вида, например, от одной собаки другой, эта ткань или орган всегда отторгались.

Неоднократно ученые проделывали аналогичные опыты на добровольцах. У человека удаляли кусочек кожи и на его место пришивали такой же лоскут кожи другого человека. Пришивали стерильно и прочно. Прочность, однако, не помогала. Кожный лоскут был чужеродным, вследствие чего начиналось развитие иммунологической реакции нового хозяина пересаженной кожи против ее антигенов. В организме начинали вырабатываться антитела, клетки иммунологической армии окружали пересаженную ткань — трансплантат, как бы отграничивая хозяина — реципиента от чуждой ему донорской ткани.

Так перед хирургией, которая уже достигла высокого мастерства, возник барьер несовместимости тканей. Иммунологическая армия не изменяет своему принципу, не дает чужому органу возможности прижиться, так же как не позволяет этого в отношении чужой кожи. Все чуждое — чуждо.

#### Милан гашек и питер медавар

Летом 1952 года молодой заведующий одной из лабораторий Института экспериментальной биологии Чехословацкой Академии наук в Праге Милан Гашек поехал на ферму. Именно этот факт был началом открытия. Во всяком случае, так утверждает сам Гашек.

— Как началось исследование? — спросил я его в одну из наших встреч.

— Мы поехали на ферму, — ответил Милан.

— На какую ферму?

— На птичью, — ответил он с очень приятным чешским акцентом.

Дело было так. В лаборатории задумали интереснейшее исследование: как влияют друг на друга два зародыша, если их объединить общим кровообращением. Удобнее всего экспериментировать с зародышами птиц, потому что они развиваются в яйце, вне материнского организма. Для эксперимента нужны были яйца кур разных пород, потому-то Гашек и отправился для начала на птичью ферму. В скорлупе яйца выпиливали окошечки и через них сшивали зародыши. Наконец цыплята породы белый леггорн (им были присвоены номера 516 и 517) вылупились. Они были так называемыми парабионтами — в эмбриональном периоде своей жизни их объединяло общее кровообращение.

Милан Гашек берет шприцем кровь у одного и у другого. Следующая процедура — внутривенное введение цыпленку 516 крови номера 517 и, наоборот, цыпленку 517 — крови от 516. Известно, что обычные — не парабионтные — цыплята в ответ на введение крови других цыплят вырабатывают антитела, поражающие эритроциты вводимой крови. Милан Гашек взаимно иммунизирует своих питомцев один раз, второй, третий, шестой. Антитела не вырабатываются! Через четыре недели Гашек повторяет иммунизацию. Результат тот же.

Впоследствии оказалось, что цыплятам, находившимся в эмбриональном парабиозе, можно пересаживать кожу от партнеров по парабиозу. И она приживается, тогда как лоскут кожи от любого другого цыпленка отторгается в свой обычный для кур срок.

А в то же самое время английский исследователь профессор Питер Медавар вместе со своими молодыми сотрудниками занимался пересадкой кожи у телят. Особенно они интересовались тем, как приживается кожа у телят-близнецов, если ее пересаживать им друг от друга. Если близнецы идентичны, то есть развились из одной яйцеклетки (однойяйцовые



близнецы), то они представляют собой точные генетические копии друг друга, и, следовательно, кожа, должна приживаться. Если же они генетически не идентичны, то есть развились из разных яйцеклеток (разнойяцевые), то кожа друг от друга приживаться не должна. И вдруг случилось невероятное: у некоторых явно неидентичных близнецов трансплантированные кожные лоскуты приживались как свои, навсегда!

Удивительная терпимость телят-близнецов к коже друг друга была следствием некоего естественного процесса, осмыслить который Медавара помогли работы других ученых.

Еще в 1945 году в далекой Калифорнии американский исследователь Рэй Оуэн обнаружил, что при одновременном внутриутробном развитии сразу двух телят их кровоснабжение приходит в тесный контакт, и они обмениваются кровью. Оуэн доказал, что у родившихся телят-близнецов в крови циркулируют эритроциты друг друга.

Питер Медавар совместно со своими сотрудниками провел замечательные эксперименты, целью которых было воспроизведение редкого природного явления, описанного Оуэном.

Были взяты мыши двух генетически чистых пород: серые мыши СВА и белые А. Самке СВА на 15 — 16-й день беременности под наркозом разрезали кожу по средней линии живота. Матку с плодами переместили в операционное поле. Сквозь ее растянутую стенку были видны зародыши-мышата. Тонкой иглой прокололи стенку матки и каждому эмбриону ввели по 10 миллиардов клеток, приготовленных из селезенки и почек мыши А. Эти клетки были жизнеспособны и теоретически должны были прижиться в эмбрионе, так как иммунитет у эмбрионов еще не созрел (давно известно, что эмбрионы не отторгают чужеродный трансплантат). Затем матку вернули в прежнее положение, а кожу зашили.

В положенный срок мышья принесла пять мышат. Выглядели они совершенно нормально. Через восемь недель, когда они стали взрослыми, каждому из них пересадили лоскуты кожи от мышей линии А. Одиннадцать дней спустя обследовали состояние пересаженной кожи. Этот срок был выбран не случайно: предварительными опытами было установлено, что обычно кожа А, пересаженная мышам СВА, отторгается именно через одиннадцать дней. У подопытных животных пересаженная кожа «чувствовала» себя прекрасно. Ее чуждое происхождение выдавал только цвет: на сером фоне шерсти мышей СВА ярко выделялся белый лоскут.

Так в 1953 году Милан Гашек в Чехословакии, Питер Медавар в Англии, а вслед за ними и все иммунологи мира были ошеломлены тем, что такие обработанные в эмбриональное время животные не реагируют на данный антиген и во взрослом состоянии. Иммунитет выключается на всю жизнь. Это явление, аналогичное активно приобретенному иммунитету, но с обратным знаком, Питер Медавар назвал «активно приобретенной толерантностью», то есть терпимостью.

емкость научного термина

В месте с небоскребом науки из года в год растет громада терминов: названия новых наук и научных отраслей, определения неизвестных ранее явлений и понятий, обозначения вновь открытых фактов и объектов природы — элементов, веществ, организмов, планет, миров.

Как это происходит и какие термины выживают? Явление, наблюдаемое в разных лабораториях, а тем более в разных странах, называют вначале по-разному. Какое-то время, иногда очень долго, эти разные слова или сочетания слов, обозначающие одно и то же явление, живут вместе. Но потом побеждает какой-то один термин. И ученые всего мира начинают пользоваться им, чтобы знать, о чем идет речь, чтобы понимать друг друга.

Какие же термины отбираются наукой и выживают во времени? Главный критерий — точность, научная точность. Иллюстрация этого — названия наук и научных отраслей. Биология (от греческого «биос» — «жизнь» и «логос» — «учение») — наука о жизни.

Микробиология — наука о микроскопических формах жизни. Иммунология — наука об иммунитете. В последнем случае, правда, остается вопрос: что значит и как родилось слово «иммунитет»? Об этом — ниже.

Но как понять существование таких терминов, как, например, «рак»? Это слово, обозначающее болезнь — злокачественную опухоль, имеет всеобщее хождение. Но почему рак? В чем сходство? Ни в чем... А термин живет. Что-то в нем есть, что приковывает человеческое сознание, какая-то необыкновенная и, пожалуй, необъяснимая емкость.

Или вот еще. Бешенство. Мы говорим «вирус бешенства», «прививки против бешенства». Но ведь термин совершенно не соответствует действительности. Никакой бес ни в кого не вселяется. Основным симптомом болезни — боязнь воды, судороги при проглатывании воды. Смерть наступает не от буйства, а от параличей. И есть очень точный термин — «гидрофобия», что в переводе с греческого означает «водобоязнь». Но большее хождение имеет слово «бешенство». Именно этот необычайно емкий термин живет. Откройте даже учебник инфекционных болезней, и вы увидите главу «Бешенство», и лишь мелким шрифтом приписано «гидрофобия». Правда, эти термины старые, они имеют свою большую историю. Они когда-то возникли наряду с другими. Наука отобрала для жизни именно их. Нам остается только пользоваться ими. А как быть с новыми? Какие качества ученый должен вложить в термин, обозначающий сделанное им открытие? Как заставить это слово жить? Да и важно ли это?

Да, важно!

Хороший термин как бы фокусирует самое главное. Он приковывает внимание людей, пропагандирует научное содержание, которое обозначает. Назовите сделанную вами машину «конструкцией, выполняющей ряд сложных операций под влиянием соответствующих команд», и она будет иметь успех только у тех, кто ее увидит. Назовите эту машину (и так было на самом деле!) «роботом», и она привлечет внимание всего мира.

Мне кажется, хороший термин должен удовлетворять по крайней мере трем условиям. Он должен правильно отображать научный смысл обозначаемого явления. Он должен быть удобен в обращении. И, наконец, он должен быть емким, привлекающим внимание, разное в зависимости от характера обозначаемого им явления.

Мы уже знаем, что такое иммунитет. Но что значит сам термин? Откуда он пришел, такой емкий, что в него вписываются все новые и новые открываемые в иммунологии закономерности? Этот термин произошел от латинского слова «иммунитас». Точный перевод его означает «освобождение от податей».

— От каких податей? — спросит читатель. — Где тут точный научный смысл, расшифровывающий невосприимчивость к генетически чуждым клеткам и продуктам их жизнедеятельности?

Термин «иммунитет» пришел в биологию отнюдь не из биологических сфер. В средние века в большинстве стран Европы иммунитет оформлялся королевской грамотой. Эту грамоту король вручал феодалу, передавая вместе с ней ряд прав. Владелец земель и людей освобождался от каких-либо податей в пользу другого феодала, приобретая власть над крестьянами и право в пределах определенных территорий взимать налоги и подати, вершить суд и расправу. Чем больше был объем иммунитетных прав, тем более могущественным был феодал.

Интересующий нас термин не исчез из сфер политических взаимоотношений вместе с исчезновением феодализма. Он остался и широко используется с иными смысловыми нагрузками. «Иммунитет государства» — это неподсудность одного государства судам другого. «Иммунитет дипломатический» — это совокупность прав и неприкосновенность дипломатических представителей на территории страны, где они аккредитованы. «Иммунитет депутата» означает в ряде стран неприкосновенность личности члена законодательного органа. И во всех случаях, заметьте, речь идет об освобождении от тех или иных повинностей, от тех или иных податей.

Ученые, впервые применившие термин «иммунитет» для обозначения невосприимчивости к микробам — возбудителям болезней, не ошиблись. Учение об иммунитете перешагнуло рамки проблем невосприимчивости к инфекциям, а термин остался.

Когда микробы проникают внутрь организма, они требуют «подати», они требуют расплаты болезнью. И для их уничтожения организм мобилизует армию иммунитета. Когда в кровеносную систему организма введена чужая кровь или на рану нашит лоскут чужой кожи, эти чужеродные ткани требуют «подати» в виде обеспечения для них во всех мельчайших подробностях тех условий жизни, в которых они жили раньше. И снова мобилизуются силы иммунитета, чтобы уничтожить требующих подати, чтобы сохранить биологическую индивидуальность организма.

#### биологические химеры

Профессору Рюу Оуэну не везло с терминами. В 1945 году он первым в мире описал животных, чья кроветворная ткань состояла из клеток разных, иммунологически несовместимых типов. Вы помните, что такие телята, несущие в себе чужеродные клетки, изредка создаются природой. Происходит это только в тех случаях, когда в организме коровы-матери два не идентичных друг другу теленка развиваются одновременно, при условии установления между ними общего кровообращения.

Оуэн обнаружил такие организмы, описал их, установил причины их возникновения. Он их открыл, но не назвал их, не дал им имени. И должно было пройти шесть лет, чтобы такими телятами заинтересовался Питер Медавар.

Как бы акцентируя самую главную, смысловую сторону этого, казалось бы, невероятного явления, Медавар с соавторами дает ему название «химеризм», а самих животных называет «химерами». Ибо химеры древнегреческой мифологии — это существа, составленные из частей различных животных, это чудовища с головой и шеей льва, козьим туловищем и хвостом дракона. Этот термин приобрел самое широкое признание и хождение в науке. И только верный себе Оуэн, первооткрыватель явления, не употреблял этого слова.

Сущность клеточного химеризма — терпимость организма к чужеродным клеткам и тканям. Это явление, обратное иммунитету, Питер Медавар назвал иммунологической толерантностью, иначе говоря, иммунологической терпимостью. Открытие толерантности развернуло перспективу преодоления иммунологической несовместимости тканей, перспективу реальной возможности пересаживать ткани и органы. За это открытие Питер Медавар получил Нобелевскую премию.

Мне рассказал один из ведущих советских иммунологов, Лев Александрович Зильбер, о своей встрече с Оуэном на одном из международных совещаний.

— Почему я не вижу вашего имени среди лауреатов? — спросил Зильбер профессора Оуэна. — Ведь фактически вы еще в 1945 году, на восемь лет раньше Медавара, описали условия естественного возникновения и особенности явления терпимости, то есть толерантности к генетически чужеродным клеткам.

— Да, — ответил, улыбаясь, собеседник, — это так. Но я не догадался назвать явление иммунологической толерантностью.

#### беспощадность объективности

«Наука — дело абсолютно объективное, и сама по себе она бесстрашна. Но творят науку люди, испытывающие всякого рода страсти...» — сказал как-то академик Н. Семенов. Одна из добрых и благородных страстей — желание принести практическую пользу. В области медицинских наук — желание дать нечто, спасающее жизнь и здоровье людей. Но эта страсть сама по себе ничего не может дать практике. Природу, бесстрастно скрывающую свои тайны, не трогают желания и страстность исследователя, если эти желания не

подкреплены упорным исследованием. Она не уступает атаке, вооруженной только темпераментом. Она требует систематического, умного труда.

Невозможно, как бы вы этого ни хотели, искусственно создать тот или иной белок по крайней мере до тех пор, пока не будет изучена и расшифрована во всех деталях его структура. Да и после этого необходимо научиться соединять его структурные части именно в той последовательности и таким образом, как это сделано природой. А для этого оказывается необходимым исследовать многое, что, казалось бы, не имеет никакого отношения к белку. Любое явление природы требует расшифровки своих тайн, прежде чем разрешает человеку пользоваться собой. Мы взбираемся на одну высоту только затем, чтобы увидеть следующую. Но пользоваться можно лишь той, которая взята, как бы желанны ни были плоды, растущие на следующей. Сначала необходимо найти пути, которые приведут на нее.

Сколько раз распространялись великолепные сенсации! Вот одна из них. У моряка по имени Хулио Луна из Эквадора во время военных учений взрывом гранаты была оторвана рука ниже локтя. Хирург Гуаякильского госпиталя в Эквадоре пересадила пострадавшему руку, взятую от трупа. В газетах появилось сообщение: пересаженная рука прижила! Моряк даже шевелил пальцами. А через три недели — гораздо более скромное сообщение из Бостонского госпиталя США, куда был переправлен Хулио Луна. Началось осложнение, и, чтобы спасти жизнь моряка, пересаженную руку пришлось ампутировать.

А вот официальная международная статистика на конец 1965 года о судьбе почек, пересаженных от одного человека другому. Из 336 операций по пересадке почек от посторонних людей — доноров 322 окончились трагически в течение первого года и лишь один оперированный прожил дольше двух лет. Такая же судьба постигла 177 больных, которым для пересадки дали почки отец или мать. Немногим лучше обстояло дело, когда донорами были родные братья или сестры. Двухлетний срок прожили семь человек из 123, два пациента жили дольше четырех лет и лишь один дожил до шестого года. Процент длительного приживания чужих почек ничтожен. И это несмотря на то, что пациенты все время получали препараты, угнетающие иммунитет!

В нашей стране тоже ведутся работы по пересадке почек. Известный советский хирург Борис Васильевич Петровский начиная с 15 апреля 1965 года осуществил в Институте клинической и экспериментальной хирургии Министерства здравоохранения СССР несколько операций. Они были сделаны тогда, когда никакое другое лечение уже не помогало. В ближайшие дни молодые люди должны были погибнуть от почечной недостаточности. Им пересадили почки от матерей или других родственников. Риск был оправдан. Разве это не благородно — вырвать человека из рук смерти и потом бороться за его жизнь недели, месяцы, годы! Первый оперированный больной прожил семь месяцев. Второй — пять. Третий живет уже год. Четвертый погиб в первое полугодие. Судьбу остальных больных, оперированных позже, покажет будущее.

Для преодоления барьера несовместимости тканей нам еще не хватает знаний. После Карреля, который во всеуслышание сказал, что пересадки между двумя индивидуумами невозможны, что трансплантаты неминуемо отторгаются, прошло более 50 лет. С тех пор были открыты группы крови, и появилась надежда подбирать для каждого пострадавшего человека идентичного по тканевым антигенам донора. Но эти надежды рухнули. Комбинаций антигенов оказалось неожиданно много, их хватило, чтобы сделать каждого человека отличным от любого другого. Ткань донора, даже отца, матери или родного брата, если он не идентичный близнец, воспринимается как чужая.

Но исследования не остановились. Иммунологи научились подавлять иммунитет с помощью облучения и ряда химических веществ. Увы! Все эти средства не могут подавить иммунитет полностью. Вернее, могут, но только при назначениях их в смертельных дозировках.

И из этой трудности был как будто бы найден выход. Этот выход — создание толерантности к тканям донора, создание химер. Для этого достаточно новорожденному

вести кроветворные, например, костномозговые, клетки донора, и он превращается в химеру, которой можно пересаживать любую донорскую ткань. Он будет «терпеть» ее бесконечно долго.

Создавать химер можно и во взрослом состоянии. Надо облучить организм в смертельной дозе или абсолютно подавить иммунитет одним из химических веществ и после этого пересадить ему кроветворную ткань будущего донора. Например, тот же костный мозг. Пересаженные клетки спасут организм от смерти и одновременно превратят его в химеру, в которой его собственные клетки будут сосуществовать с донорскими и которой теперь уже можно пересаживать любой орган или ткань от данного донора.

Казалось бы, все способы есть, мы взобрались на последнюю вершину. Но только мы на нее взобрались, как беспощадная объективность открыла нам вид на следующую, столь же крутую. И надо искать пути на нее.

#### трансплантат против хозяина

Это новое препятствие проявляется в нескольких формах и имеет соответственно несколько названий. Но суть одна. Чтобы создать химеру, мы должны ввести эмбриону, новорожденному или облученному животному живые, способные к размножению кроветворные клетки генетически чужеродного донора. Можно взять клетки костного мозга, селезенки или лимфатических узлов. Они приживаются, заселяют кроветворные органы реципиента, и возникает химера — организм, который толерантен к ним и терпит их всю жизнь.

Да вот беда: они его не терпят!

Вы помните, какие силы в организме осуществляют иммунологические реакции? Вы помните, кто «солдаты» иммунологического войска? Это фагоциты — пожиратели всего чужеродного, все они обитают в кроветворных тканях. И когда кроветворную ткань, изъятую из животного А, пересаживают в организм Б, то пересаживают и эти клетки, составляющие иммунологическую армию животного А. Для этой иммунологической армии все клетки животного Б являются чужими, и они начинают войну против них, несмотря на то, что сами после пересадки живут на их территории. Эта пересаженная иммунологическая армия подобна десанту, заброшенному в тыл врага. «Десантники», извлеченные из своей «страны» и заброшенные в чужую, продолжают хранить верность родине и воевать против чужой «страны», в которой они теперь обитают.

Выше говорилось, что при пересадке чужеродной кроветворной ткани облученным животным смерть от лучевой болезни отменяется. Но пересаженные клетки донорской иммунологической армии начинают свою агрессию. Ведь иммунологическое войско реципиента вследствие облучения уничтожено. В этом отношении облученный организм уподоблен новорожденному: у обоих отсутствует боеспособное иммунологическое войско. Пересаженные клетки не встречают никакого сопротивления. Начинается патологический процесс, получивший название гомологической болезни, потому что возникает вследствие пересадки кроветворной — гомологической — ткани. Смерть наступает через две — четыре недели. Погибает большая часть спасенных от лучевой болезни организмов-химер.

Получается замкнутый порочный круг. Чтобы возникла толерантность, необходимо создать химеру. Но чуждые клетки, живущие в химере, осуществляют агрессию против хозяина и в большинстве случаев убивают его. Если же хозяин победит и клетки будут отторгнуты или разрушены, животное не заболеет гомологической болезнью и не погибнет от нее. Но исчезнет химеризм, а вместе с ним и толерантность.

Вот какую новую трудность воздвигла беспощадная объективность перед проблемой преодоления барьера несовместимости тканей. И можно было бы сдаться, если бы не было примеров преодоления этой трудности. Но они есть. Во-первых, телята Рэя Оуэна: природа находит путь делать химер жизнеспособными в течение нормально долгой жизни. Во-

вторых, среди искусственно создаваемых химер определенный процент не погибает, живет без осложнений.

Следовательно, есть в природе способ, которым пользуются клетки, чтобы прийти к мирному сосуществованию, чтобы химера нормально жила. Цель ясна: необходимо найти этот способ, чтобы сознательно пользоваться им. Нет сомнения, что это — дело скорого будущего. Но нужно много работать, учиться, думать, исследовать, проверять.

### ДИН РИД — гость «юности»

Вот уже несколько лет имя Дина Рида не сходит со страниц американской и европейской прессы.

Газеты 1965 года: «Дин Рид хочет мира», «Двадцатипятилетний Дин Рид не боится рисковать своей карьерой, выступая против правительства Джонсона», «Дина Рида интересуется Восточная Европа», «Дин не боится ехать на Конгресс в Хельсинки», «Дин взял интервью у Валентины — первой женщины-космонавта», «Дину Риду понравились москвичи»...

Газеты 1966 года: «Дом Дина Рида в Буэнос-Айресе обстрелян из пулемета», «Военные угрожают Дину», «Дин — против эскалации войны во Вьетнаме», «Более 25 тысяч поклонников провожали Дина Рида на сессию сторонников мира в Женеву»...

Кто же такой Дин Рид, молодой человек, у которого уже немало врагов и очень много друзей?

В Москве, в июне 1966 года, на встрече с авторами и сотрудниками редакции журнала «Юность», главный редактор журнала Борис Полевой прокомментировал лаконичные заголовки газет. Он рассказал, как советские делегаты на Всемирном конгрессе сторонников мира в Хельсинки познакомились с Дином Ридом.

В огромном круглом зале дома культуры в Хельсинки в перерыве между пленарными заседаниями Конгресса шел митинг. Выступали борцы за мир, известные писатели, деятели искусства. Они требовали прекращения агрессии США во Вьетнаме, предотвращения новой, термоядерной войны.

Один из ораторов — его не знал почти никто — стал говорить излишне резко, грубо и, что называется, не по существу. Председатель безуспешно просил выступавшего, уже давным-давно вышедшего из регламента, уступить трибуну следующему оратору. В конце концов председатель, спокойный, выдержанный финн, перепрыгнул через стол и забрал у оратора микрофон.

Уже не шум в зале, а шквал, ураган. И в этот момент из-за стола президиума встал и пошел навстречу ураганному залу, почти к самому краю сцены, стройный, несколько застенчивый молодой человек. Его лицо было знакомо многим в зале — по портретам в газетах и журналах, но его не сразу узнали: слишком необычной была его застенчивая улыбка; в газетах и журналах, на афишах улыбка этого молодого человека была совсем другой — задорной, что называется, сияющей и даже самоуверенной. В руках у молодого человека была гитара. Он сказал несколько слов о том, что его жена ожидает ребенка и что он сплет сейчас песню — обращение к сыну. Это была песня о мире, песня о счастье. И с каждой песенной строкой становилось все яснее, что человек, исполнявший песню, уже не раз выступал на народных митингах, участвовал в демонстрациях.

Было ясно, что молодой человек, впервые участвовавший во Всемирном конгрессе сторонников мира, уже умеет вести за собой людей на борьбу против поджигателей новой войны.

Молодой человек пел песню, которую после Конгресса он исполнил в Москве для сотен тысяч радиослушателей и зрителей телевидения, а во второй свой приезд в Москву, в июне 1966 года, — для авторов и сотрудников журнала «Юность»:

Хочу, чтоб узнал ты, как туча тиха.

Как речка порою бывает суха,

Хочу, чтобы правды потребовал ты от стиха  
И правду узнал!  
Хочу, чтоб узнал ты, как кожа людей  
Бывает похожей, раз люди в беде,  
А в каждой душе — больше света, чем зла,  
Хочу, чтоб это ты знал!  
Хочу, чтоб узнал ты, как войны страшны.  
Как матери плачут, когда погибают сыны,  
А жизнь не игра, и эпоха грозна.  
Хочу, чтоб это ты знал!  
Хочу, чтоб узнал ты, когда подрастешь.  
Как мать и отец ненавидели ложь  
И сыну открыто смотрели в глаза,  
Хочу, чтоб это ты знал!

Программа Дина Рида, выраженная как в этой, так и во многих других его песнях, мало понравилась аргентинским милитаристам; поэтому-то дом Дина был обстрелян из пулемета, поэтому-то молодой артист вынужден был не раз выслушивать угрозы со стороны военщины, готовившей и осуществившей в июне 1966 года переворот в Аргентине.

Впрочем, здесь надо расшифровать еще несколько газетных заголовков: ведь читатель еще не знает, почему гражданин США Дин Рид оказался в Аргентине, как сложилась жизнь этого молодого американца.

Дин Рид родился в 1938 году в США, в городе Денвере штата Колорадо. Его отец — преподаватель математики, а мать занимается домашним хозяйством.

У Дина два брата: Дейл — профессор Колорадского университета, и Верной, который прошел службу в парашютных войсках американской армии и рассказам которого Дин обязан своей ненавистью к милитаристской политике правительства Джонсона.

Отец Дина — «бэрчист», ненавидит коммунистов и боится их. Фактически из-за отца Дин еще подростком сбежал из дому. С тех пор он писал только матери, делясь с ней своими взглядами и убеждениями.

Еще подростком Дину пришлось поступить на работу на ипподром, где он получал 12 центов в час за обслуживание лошадей; сейчас молодой артист шутит, что он был влюблен в дочь хозяина ипподрома и что это скрашивало его нелегкую работу. После окончания средней школы Дин поступил в Колорадский университет; для того, чтобы закончить образование, ему приходилось выполнять самые различные работы, в частности развлекать туристов на ранчо в Эстет-Парк, в Колорадо.

Как нередко бывает в Соединенных Штатах, первый контракт с будущим известным певцом был заключен случайно: человек, которого Дин Рид подвез на лошади, оказался другом известного музыкального издателя Войла Гилмора.

— Но настоящим своим духовным отцом я считаю кинорежиссера Голливуда Петона Прайса, который два года сидел в тюрьме за политические убеждения, а когда вышел из тюрьмы, снова стал выступать против милитаристской политики Джонсона, — рассказывает Дин Рид.

Мы спрашиваем, почему сам Дин Рид уехал из США. И слышим в ответ:

— Не мог сдерживать себя, как того очень часто требовала обстановка! Начинать спорить со сторонниками Джонсона, даже на улицах, даже в метро, в магазинах. Пожалуй, спорить — не то слово. Все дни у меня были заполнены стычками с бэрчистами, голдуотеровцами, джонсоновцами, стычками, похожими на сражения!

И, однако, молодой артист уехал из США не потому, что боялся сражений, а потому, что буквально рвался на передний край боев.

— Я был уверен, что мне и другим молодым людям с такими же убеждениями, как мои, удастся совершить революцию в Аргентине! — заявляет Дин Рид.

Удивляет ли вас, читателя «Юности», такое заявление? Если удивляет, то только потому, что вы еще не видели и не слышали Дина Рида! Вы поверите в его страстное желание утвердить мир и справедливость на земле, построить мир без войн, без эксплуатации человека человеком, мир равенства и счастья, как только услышите его песни! И хотя молодой артист ошибся в своих политических прогнозах в отношении Аргентины, он уверен, что эта ошибка лишь временная и что справедливость в конце концов восторжествует повсюду на земле! (После военного переворота в Аргентине Дин Рид вынужден был переселиться в Европу.)

В Женеву, на сессию Всемирного Совета Мира, Дин Рид приехал потому, что за год, прошедший после Конгресса в Хельсинки, еще больше убедился в силе движения сторонников мира.

— Я понял, что главная задача сейчас — прекратить американскую агрессию во Вьетнаме и что движение сторонников мира может способствовать этому! — говорит Дин Рид.

Женева славится синим озером и снежным Монбланом, способным превращаться в радугу, когда заходит солнце, славится пышными розами, нарядными отелями, машинами всевозможных фирм и часами знаменитых швейцарских марок. Во всех магазинах тикают часы-кукушки, часы-качели, часы-бусы, часы-браслеты. Так и кажется, будто вся Женева отсчитывает минуты и секунды, тревожные, напряженные дни нашего века, ведет подсчет фактам и событиям.

Кажется, что трудно удивить Женеву, привыкшую встречать дипломатов и туристов, Женеву, которую многие называют выставкой капитализма. Но в один из вечеров, когда во дворце Вильсона был объявлен перерыв между заседаниями сессии Совета Мира, на озере зазвучала и широко раскатилась по городу песня о боях во Вьетнаме. Остановились группы туристов на берегу озера, остановились машины, даже молодые монашенки с зычными голосами, сопровождавшие куда-то колонну ребятишек, замерли на берегу, прислушиваясь к необычной песне. Это пел Дин Рид. Пел о том, что народ Вьетнама победит, что не может не победить народ, который ведет справедливую борьбу.

И в эти минуты Женева была уже не нарядным курортным центром, не выставкой капитализма, а сама как бы стала фронтом борьбы. Той борьбы, которая была начата еще Лениным, писавшим здесь, работавшим здесь.

На встрече с авторами и сотрудниками «Юности» Дин Рид исполнил свою песню о Вьетнаме:

Что ж, опять барабаны бьют!  
А солдаты? Опять поют?  
И опять на земле она?  
Да! Опять ты идешь умирать,  
И опять причитает мать,  
И опять на земле война!  
И политики врут опять,  
Чтоб оружие ловчей скупать...

Мне думается, что так же горячо, как встретил Дина Рида коллектив «Юности», встретит его вся советская молодежь, если этот широко известный талантливый артист приедет на гастроли в Советский Союз (об этом сейчас идут переговоры). Пожелаем Дину самых лучших заголовков в нашей советской прессе:

«Замечательного революционного певца Дина Рида полюбила советская молодежь!»  
«Песни Дина Рида поет Москва!»

Екатерина ШЕВЕЛЕВА



## СПОРТ

Елена Семенова

### ДЕВЯНОСТО ШЕСТЬ

Да, конечно, он явление природы, этот король спринта Омар Пхакадзе. Пришел, увидел, победил — буквально. В 1962 году в первый раз вышел на трек, спустя год стал чемпионом Спартакиады народов СССР, спустя еще два года — чемпионом мира, а недавно, в июне, и мировым рекордсменом.

Хорошо помню его выступление на Спартакиаде. Идет к старту. Большая голова на мощной шее опущена. Громадный кулачище на раме хрупкого гоночного велосипеда. Идет на цыпочках, поцокивая шипами.

Предварительный заезд. Первый круг гонщики обычно проходят спокойно, как бы приглядываясь друг к другу. А Омар ерзает, крутит головой. Что ж, парень впервые среди взрослых спринтеров. Он явно взвинчен и куда больше чем за полкруга бросается наутек, хотя никто не пытается его догнать; Омар зачем-то встает на педали, швыряет машину вперед. Рывок был сильным и неожиданным, даже каким-то «свирепым». Рывок этот намного превышал прочность машины и способность Омара владеть ею. И руль вырывается из рук гонщика, переднее колесо встает поперек, велосипед взвивается на дыбы...

Заезд выиграл тот, кто должен был финишировать вторым. А Омар поднялся с бетона, оглядел велосипед — переднее колесо пополам — повесил его на плечо и заковылял к барьеру. Перелез через него. Тут Омара догнал его тренер Гурам Джохадзе, и они скрылись за высокой стеклянной дверью.

Гурам, мой давний знакомый, рассказывал незадолго до Спартакиады.

— Нашел Омара не я. Нашел его Карло Шенгелия. Он тогда преподавал в нашем тбилисском спортивном интернате. Карло увидел Омара на юношеских соревнованиях в Кутаисском районе, увидел, как он здорово ловил рывки — из любого положения, и решил устроить его в интернат. В тот день, когда Омар приехал, Карло позвал меня поглядеть на него. И вот входит здоровенный парень, под потолок. Вразвалку входит. Остановился, что-то жует, воротник нараспашку. «Застегни, — говорю, — воротник». Покосился на меня. Смотрим — застегивает. И перестал жевать. Потом выяснилось, что никогда раньше он велосипедом не занимался. Попросили „ выступить — проехал. Парень здоровенный... Карло с ним намучился: он и дрался и учился неважно.

Сколько раз его исключали! Карло упрашивал педсовет — оставляли. В последний раз решил так его наказать — не взял на соревнования. Уезжают, грузят велосипеды в автобус. Карло обернулся, а Омар стоит у окна. Он рукой помахал, а Карло не ответил. И вот это помогло. Вообще-то на шоссе от него толку было мало. Но Карло все равно возился с ним: выгонят — что с парнем будет? Мать не справлялась с Омаром, глядела на Карло, как на спасителя... Как-то я говорю Карло: дай попробую Омара на треке. Может, там что получится. И вот Омар катается по верху трека — низ тогда ремонтировали, — а я сижу на барьере, и перед глазами у меня, честное слово, он рвет с места и ото всех уходит, ото всех! Природа в нем резкая, спринтерская... Пришел Автандил Гуния, глядит: хо-хо-хо! Где вы такого взяли? А в следующий раз Омар не хочет на трек ехать. Вот такие слезы из глаз катятся: хочу вместе со всеми ребятами на шоссе. Пришел Карло. Собирайся, говорит, раз на треке будешь, раз на шоссе. Прошло немного времени, совсем немного. Как-то я взял секундомер, засек его время: 12,2 — двести метров! А?! Финишная скорость чемпионов страны!

После падения Омара, когда Гурам вернулся на трек, я у него спросила: зачем, собственно, Омару понадобился тот рывок, когда уже была победа? Что за финт? Работа на зрителя?

— Я виноват... Недоглядел!.. Он чуть не ревет от злости.

- Здорово ободрался?
- Ободрался, как надо... Собирается у всех выиграть.
- Что выиграть?
- Спринт... Спартакиаду.
- Ну?..

Гурам смущенно улыбнулся.

Это уже было нахальством со стороны, несомненно, талантливого, но годовалого спринтера. Спринт — самое сложное, что есть в велосипедных гонках на треке. На его финишных 200 метрах за 11,5 — 12 секунд надо суметь понять, в каком «обществе» ты находишься, как и с кем надо себя вести. Надо суметь вовремя, с точностью до сотой доли секунды, ощутить миг рывка, не дать понять это сопернику, постараться лжерывками и прочими обманными действиями усыпить его бдительность и тем самым навязать ему свой рисунок гонки.

А тут какой-то Пхакадзе, который никогда и не выступал в настоящем взрослом спринте, решил стать чемпионом. Это окончательно заинтриговало меня, и я решила познакомиться с Пхакадзе.

Омар обернулся на мои шаги.

- Сильно ободрался?
- Ничего! — Он жалобно улыбался.
- Как же будешь выступать?
- А что тут? Буду!
- Говорят, у всех собираешься выиграть?
- Ага... попробую.
- Ясно... И у Иманта Бодпиекса думаешь выиграть?
- Попробую. — Омар оживился. — Отличный спринтер Бодпиекс, да? Он мне так нравится!.. Я попробую выиграть и у Иманта.

Омар сидел в углу, у окна, вытянув ободранную ногу, и смотрел на меня своими круглыми глазами, словно ожидая поддержки. Как он был не похож сейчас на того свирепого гонщика, что ломает велосипеды. Теперь, проиграв предварительный заезд, Омар должен был пройти через все утешительные, потом четвертьфинальные, потом полуфинальные заезды. Я поглядела на его черную от запекшейся крови ногу. Всю ночь нога не даст спать. А завтра, когда рана подернется коркой, лучше не двигаться. Иначе корка лопнет, что очень болезненно. Но он же собирается стать чемпионом! И я сказала:

- Ну что ж, попробуй, желаю тебе удачи.
- Спасибо, — жалобно улыбнулся «свирепый» гонщик.

Утром Омар проковылял к старту и спокойно, не ерзая, провел все заезды. И вышел в финал. В самом последнем, решающем заезде Омар снова, как вчера, швырнул машину вперед, рискуя сломать колесо. И я видела, как в первом ряду зажмурилась девочка. Но на сей раз рывок был не только свиреп, но и разумен. Омар мчался к финишу сгустком вихря, тесно прижавшись к бровке, чтобы никто не протиснулся справа, и кося круглый глаз влево, чтобы никто не обогнал. Его никто и не обогнал.

Он финишировал, медленно доехал до противоположной прямой, слез с велосипеда и заковылял с трека. А мы молчали, ошеломленные блестящей победой этого парня, еще вчера неуклюжего, задержанного, а сегодня спокойного, уверенного в себе и знающего все, что должен знать спринтер. Вот тогда мы и поняли: это — явление природы. И Ростислав Варгашкин сказал:

- Этот парень может стать чемпионом мира.

А я вспомнила, как примерно те же слова лет десять назад говорил великий знаток спринта итальянец Гвидо Коста о другом нашем гонщике — Борисе Романове. К тому же Омар Пхакадзе мне очень напомнил Бориса. И умением отдать всего себя мигу рывка, и упрямством, и свирепым спуртом. Борис первым за всю историю русского и советского велосипедного спорта сумел выйти в финал мирового чемпионата, где был четвертым. Это

он привез с зарубежных треков ту самую технику и тактику, которой мы сейчас аплодируем. Он смело бросался вперед, протискивался справа по бровке, атаковал из любого положения в расчете на выдержку и крепость воли.

Все это было в ту пору ново для наших спринтеров. И Романов побеждал всех довольно легко. Единственным его достойным соперником был Ростислав Варгашкин. Трудно представить мягкого, безупречно галантного Варгашкина в жестокой спринтерской схватке, когда летит пополам колесо. Но он был рекордсменом мира в одном из самых коротких гитов, он побеждал и в спринте, когда ему удавалось удрать от Бориса. Но удрать от Бориса, который обладал не только отчаянной смелостью, чутьем рывка, тактической находчивостью, но и наивысшей скоростью на последней прямой, было не просто! Гвидо Коста имел основания называть Бориса Романова потенциальным чемпионом мира.

Почему же сбылось предсказание Ростислава Варгашкина и не сбылось — Гвидо Косты? Почему Омар Пхакадзе стал чемпионом мира, а Борис Романов не стал? Здесь дело не только в спортивном счастье. И не в том, что Омар — явление природы, и еще какое явление!

Спорт, как и искусство, не терпит нивелировки! Талантливый спортсмен столь же индивидуален, как и художник. В спорте, как и в искусстве, диктат авторитета опасен. А в пору расцвета таланта Бориса Романова авторитет в лице государственного тренера по велосипедному спорту Л. М. Шелешнева решил «помочь» гонщику. Четвертое место на первенстве мира Борис считал своей первой удачей. Шелешнев же считал, что это — поражение, и предложил спортсмену уменьшить свою передачу, которая была равна девяноста шести. Инженер Борис Романов взял эти девяносто шесть сантиметров не с потолка: он продумал их, рассчитал.

— Вы говорите, сменить передачу? — спрашивал Борис. — А вам не кажется, что тогда я просто не смогу соперничать с такими корифеями, как итальянцы? Не успею поймать их рывок? Итальянцы же в тысячу раз техничнее меня. Ведь тренер-то у них — Гвидо Коста.

Шелешнев обиделся и решил проучить своенравного гонщика.

Симферополь. Чемпионат страны 1957 года. В финале Романов встретился с Варгашкиным. Борис избрал тактику, которая уже принесла ему первые победы на мировой арене. Ростислав не выдержал натиска: съехал в траву, упал. И тут в нарушение всех правил финал был перенесен на другой день. Варгашкин протестовал, говорил, что признает победу Бориса. Называл его настоящим спринтером и, несомненно, самым сильным. Но Шелешнев откопал где-то стародавние правила и под сплошной почти футбольный свист трибун настоял на дисквалификации Бориса Романова. Это было только началом травли — не боюсь этого слова — талантливого гонщика...

Не подумайте, что Шелешневу не нужна была победа Романова в мировом спринте. Совсем наоборот: эта победа была ему, пожалуй, даже нужнее, чем самому Романову. Но Борис Романов был горд и упрям, а авторитет не мог позволить, чтобы кто-либо усомнился в его непререкаемости.

Однако всему свое время. И хотя методы руководства нашим спортом меняются куда медленнее, чем, к примеру, методы руководства экономикой, все же наконец был развенчан непререкаемый авторитет Шелешнева в велосипедном спорте, а доброе имя Бориса Романова восстановлено. Тут и появился Омар Пхакадзе — спринтер с замашками «еще хуже» романовских. Вовремя появился.

Но вот беда: в отличие от инженера Бориса Романова, который мыслил и тренировался самостоятельно, Омар Пхакадзе даже не знал толком, «что такое хорошо и что такое плохо». И опять возникла потребность авторитета, но уже в подлинном, самом лучшем смысле этого слова. И надо сказать, что новому тренеру сборной страны по спринту Ростиславу Варгашкину здорово тут помог Гурам Джохадзе, тот самый Гурам, рассказ которого я приводила.

Он совсем не великий знаток спринта, Гурам Джохадзе, но он умеет извлечь из Омара все то доброе, что дала ему природа, и умеет избавить его от того, что ему мешает. Авторитет в лице Гурама Джохадзе внушает, например, Омару, что спринтер должен быть благородным рыцарем. И не только на треке, конечно. Омар свято верит Гураму, настолько свято, что тот иногда теряется...

— Понимаешь, — рассказывал мне недавно Гурам, — отпустил его одного в Бакуриани, а он там машину, что называется, угнал. Возвращается домой вечером, видит: на дороге девчонки! Над ними оказывается «подшутили»: завезли и бросили. А автобусы уже не ходят. Омар видит: чей-то автомобиль стоит. Открыл его, посадил девчонок и отвез их домой. Когда приехал обратно, чтобы поставить машину, там уже переполох начался. Милиция! Машину угнали!.. Попало ему... А он говорит: что я должен был, бросить девушек? И сейчас уверен, что все сделал правильно. Поди поговори с ним.

А горнолыжники в Бакуриани мне рассказывали: глядим, кто-то летит с самой вершины Кохты, да напрямик, да на простых жиденьких деревянных лыжах!.. Омар! Как он жив остался? Отругали его, а он опять- с вершины... И на тренера ссылается — дескать, тренер ему сказал, что спринтер должен быть смелым!..

Нелегко приходится авторитету в лице совсем не великого знатока спринта Гурама Джохадзе. Одно утешение: все же подвел он Омара к пьедесталу почета. А подняться на высшую ступеньку пьедестала мирового чемпионата Омару помог уже Варгашкин. Когда Омар проиграл первый полуфинальный заезд французу Марелону («Я шел первым колесом. Дернул — хотел его понервировать перед рывком. Думал, он у меня с колеса не сойдет, захочет, чтобы я его привез, захочет с моего колеса выиграть. А он — как выстрелит! И привет. И я его не поймал... Пошел к Варгашкину, посоветовался...»), то авторитет в лице Ростислава Варгашкина никаких директивных указаний ему не дал, полагая, что дважды одну и ту же ошибку Пхакадзе не повторит.

И последнее: помните эту злополучную передачу — девяносто шесть? Так вот, я спросила Омара после первенства мира: — На какой передаче ты шел?

— На девяносто шести.

## ПЫЛЕСОС

Г. Рыклин

## ЕГО ЛЮБИМОЕ ЗАНЯТИЕ

Он стоял на берегу Черного моря и с подозрением глядел на воду, на чаек, на скалы, на людей — плавающих, ныряющих, отдыхающих, загорающих, бутерброды поедающих.

Вдруг он сердито плюнул в набежавшую волну и тяжело вздохнул раз и другой — каждый вздох был силой минимум в два балла.

— Что с вами? — участливо спросил я незнакомца и тут же поспешил подарить ему добрый совет: — Не падайте духом.

— Не падаю, — ответил он. — Но трепещу и содрогаюсь, взирая на прибрежные просторы. Сколько всякого народа, сколько всяких людей! И каждый лезет в море. Распушенность — и больше ничего. Будь моя власть, я бы всюду на берегу вывесил дощечки: «Посторонним вход в море строго воспрещен».

— Для кого же эти строгие указания? Кто посторонние?

— Были бы указания, а посторонние найдутся.

И он еще более сердито плюнул в Черное море, угодив прямо в широкую пасть грозного девятого вала.

Незнакомец сразу понравился мне: незаменяемый тип для сатирического рассказа! Мы разговорились. Нетрудно было распознать в нем осколок недавнего прошлого, безвозвратно (будем надеяться!) ушедшего от нас.

Его любимое занятие — запрещать. Он в жизни ничего не выдумал, ничего не создал, ничего не сотворил, ничего не открыл. Он только запрещал — для этого у него вполне хватало таланта. Тем более, что для сей полезной деятельности мало требуется ума и таланта.

Ревет ли зверь в лесу глухом, поет ли дева за холмом — запретить! Впрочем, зверя можно не трогать: его репертуар на уровне. Но холм, но деву, но песню — изъять из обращения!

Но наш герой вынужден ограничиться скрежетом зубовным и горьким брюзжанием на тему: то-то и то-то надлежало бы всемерно осудить, запретить, закрыть, похерить!

Вдруг из-за утеса появилась чайка. Чувствуя, что люди любят ее, она красиво взмахнула крыльями и с чувством собственного достоинства опустилась на воду.

— Запретить! — проворчал незнакомец.

— Не позволить птице летать? — спросил я.

— Не позволить называть ее чайкой! Вам непонятно? Сейчас прокомментирую. Машину, на которой разъезжают многие номенклатурные товарищи, именуют «Чайкой». Спрашивается, на каком основании это имя присваивают рядовой птице, какой-то мокрой курице?

Я было подумал, что он смеется надо мной. Но вскоре понял, что он давно не только другим, но и самому себе запретил смеяться. Ведь смеяться, право, не грешно над тем, что кажется смешно. А ему никто и ничто не казалось смешным. Он отнесся серьезно даже к тому, что в свое время его назначили каким-то начальником и что некий невзыскательный литератор поинтересовался его мнением о своем романе.

На берегу за нашей спиной возвышались кипарисы. Знаменитые крымские красавцы. С негодованием взглянул на них мой собеседник. Этот взгляд, как мне показалось, спрашивал: кто разрешил им быть такими высокими, гордыми, непреклонными, не обращающими внимания, откуда ветер дует? Кипарисы и им подобных надо вырывать с корнем! Чтоб никому не повадно было тянуться к свету, к солнцу, к недозволенным высотам.

Вечер не заставил себя долго ждать. С гор подул ветерок. Потемневшее небо начало застегиваться на все свои светлые пуговицы. Особенно много звезд скопилось над притихшим пляжем, где на смену неистовым транзисторам застрекотали задумчивые цикады.

— Будь моя воля, — сказал незнакомец, — я бы запретил такие сборища. На небе тоже надо навести порядок. А тут этакое скопление звезд на одной территории. О чем они подмигивают друг другу? На какую тему шепчутся? У какого-то поэта сказано: «Звезда с звездой говорит». А о чем говорит, умолчал, не заявил. А надо бы знать.

После короткой паузы:

— Ну, хватит. Пойду в клуб на вечер вопросов и ответов. Запретить бы! Вопросы можно оставить, пускай спрашивают. А вот ответы — побоку. Надо ли отвечать? Не надо. Особенно ежели вопрос с подковыркой.

Я пошел вместе с ним. Дорога лежала через парк. Здесь природа решила похвастать и показать, на что она способна в курортном сезоне. Все росло, все цвело, все благоухало, все шелестело обильной листвой.

Навстречу нам из-за мощных каштанов выкатилось знакомое светило. Имеется в виду не кто-либо из отдыхающих в ближнем санатории, а луна.

Незнакомец нервно пожал плечами.

— Гм... Ведь обо всем этом, что мы тут видим, можно писать.

— Заявления? — спросил я. Мой вопрос он оставил без ответа.

— Можно писать стихи, рассказы, повести, романы. Можно, но не должно. Поменьше бы, скажу я вам, таких сочинений. Спокойней было бы. В особенности, ежели...

— Ежели кто с огнем...

— Не понимаю.

— Если произведение не серое, не скучное, а с искрой, с огнем. Унтер Пришибеев записывал и начальству докладывал о тех, «кто с огнем сидит». Извините меня за откровенность: чувствую, что вам тоже претит всякий человек с огнем, всякое произведение с огнем.

— А кто этот унтер Пришибеев?

— Чехов написал о нем замечательный рассказ.

— Запретил бы я такое зубоскальство.

— Антон Павлович Чехов — классик. Его нелегко запретить.

— А о Пришибееве он писал, когда был классиком или раньше того? Всякого писателя надо делить на две части: до того, как он стал классиком или лауреатом, — дуй его в хвост и в гриву, а стал классиком или лауреатом — хвали его до потери сознания. Ежели Пришибеев написан классиком, — молчу и благоговею. А ежели не классиком, — считаю вполне возможным запретить!

Мы подошли к мощному платану, который неплохо сохранился, несмотря на свой преклонный возраст. Здесь скрещивалось несколько аллей.

— Я иду прямо, — сказал я.

— А я направо.

— Как всегда?

Не ответил. Отойдя несколько шагов, я обернулся. Он стоял хмурый и суровый. При свете луны я прочел на его лице взволнованный вопрос: «А что бы еще запретить?»

Феликс Кривин

## МАЛЕНЬКИЕ НОВЕЛЛЫ

### ОТРЕЧЕНИЕ ГАЛИЛЕЯ

— Между нами говоря, дорогой Галилей, я и сам думаю, что она вертится. — Отец-инквизитор покрутил пальцем, показывая, как вертится Земля. — Но одно дело — думаю, а другое — говорю. Вы взрослый человек, неужели вы до сих пор не поняли разницы?

— Нет, я понял, — сказал Галилей. — И именно поэтому я говорю, а не только думаю.

— В таком случае говорите так, чтобы вас никто не слышал. А то ведь — я не хочу вас пугать — у вас могут произойти неприятности... Вспомните Джордано Бруно.

Галилей вспомнил.

«Я уже стар, — подумал он, — и у меня впереди большая работа. Это очень важная работа, и не хочется умереть, не закончив ее...»

Святая церковь пышно праздновала отречение Галилея. Рекой лилось вино, приготовленное из крови спасителя. А когда был провозглашен тост за дружбу науки и религии, отец-инквизитор подмигнул Галилею и шепнул:

— А все-таки она вертится!

### ПРОИСХОЖДЕНИЕ

— Питекантропы! В наших жилах течет древняя кровь; это ложь, что мы приходим от обезьяны!

Услышав, что они происходят не от обезьяны, питекантропы почувствовали себя сиротами. Они стали на четвереньки и ткнулись носами в траву.

— Выше головы, питекантропы!

Питекантропы доверчиво подняли головы.

— Кто происходит от обезьяны, тот не питекантроп!

Ах, вот оно что! Тогда действительно... Если б питекантропам сказали об этом раньше...

— Пусть встанут те, кто происходит от обезьяны!

Питекантропы смотрели друг на друга. Интересно все-таки: кто? Неужели есть и такие?

Никто не вставал. Все стояли на четвереньках. Каждый твердо верил в свое происхождение...

## ВЫБОР ПРОФЕССИИ

Было тихо. Было темно.

В темноте — сквозь окно — светились желтые зрачки звезд.

В тишине за окном притаились какие-то шорохи. Мышка сказала:

— Когда я вырасту большой, я обязательно стану кошкой...